ЮРИЙ РЫТХЭУ



СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕГЕНДЫ

ЮРИЙ РЫТХЭУ

СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕГЕНДЫ





СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
Ленинградское отделение

1980

Р 2
Р 93

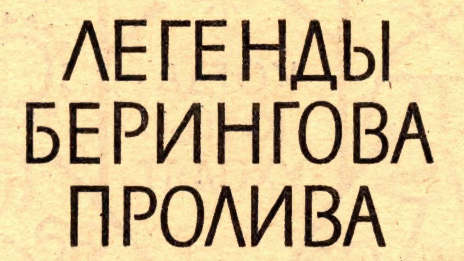


Новая книга Юрия Рытхэу необычна по своему построению и содержанию. Она то переносит читателя в современные поселки и города Чукотки и Аляски, то вдруг повествование уходит в историю, близкую и далекую.

Страницы новой книги Юрия Рытхэу проникнуты горячей любовью к родине, полны беспокойства о сохранении уникальной природной среды тундры и арктического побережья.

ХУДОЖНИК МИХАИЛ НОВИКОВ

Р $\frac{70302-383}{083(02)-80}$ 67—80 470201200



ЛЕГЕНДЫ БЕРИНГОВА ПРОЛИВА

*

КОГДА КИТЫ УХОДЯТ

*

ТЭРЫКЫ





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Нау искала глазами этот неожиданный блеск, который к берегу становился ясно различимым — фонтан бил высоко, и солнечный свет в нем искрился разноцветной радугой.

Нау бежала по прохладной сырой траве. Прибрежная галька щекотала босые ноги, и тихий смех девушки смешивался со звоном перекатываемых прибоем отполированных голышей.

Нау чувствовала себя одновременно упругим ветром, зеленой травой и мокрой галькой, высоким облаком и синим бездонным небом.

И когда из-под ног выбегали спугнутые птицы, евражки, летние серенькие горностаи, Нау кричала им радостно и громко, и звери понимали ее. Они смотрели вслед высокой девушке с развевающимися черными, словно крылья, волосами.

Она никогда не смотрела на себя со стороны и не задумывалась, чем отличается от жителей земных нор, от гнездящихся в скалах, от ползающих в траве. Даже угрюмые черные камни были для Нау живыми и близкими.

И ко всему, что она видела — живому, имеющему свой голос и свой крик, безмолвному, но движущемуся, и пребывающему в вечном покое, — она относилась одинаково ровно и спокойно.

И так было с ней до тех пор, пока она не приметила приближающийся китовый фонтан, высокий и слышный у берега, пока не увидела длинное, блестящее, упругое тело морского великана — Рэу.

Кит подплывал к берегу, и галька под его тяжестью скрипела. Поднятая им волна накатывалась, обжигая холодом босые ноги Нау.

В первые дни что-то удерживало девушку и она остерегалась подходить близко. Сильное и властное останавливало ее у прибойной черты, на той линии, где от малейшего прикосновения рассыпались в прах засохшие ракушки, где лежали просоленные в морской воде обломки древесной коры, а то и целые стволы деревьев.

Нау издали смотрела на кита, на громадное черное тело, в котором глубоко отражались солнечные блики, и ей казалось, что кит светится изнутри собственным светом.

С громким журчанием в пасть вместе с мельчайшими красными ракушками, медузами втекала вода, и над головой Рэу рождалась в водяной пыли солнечная радуга.

Она манила девушку, звала, заставляя переступать безмолвный запрет, невидимый порог, отмеченный намытой волнами грядой разноцветной гальки. Ей хотелось приблизиться к радуге, чтобы на ее тело упала хоть одна капля, в которой сверкало маленькое солнце.

И однажды Нау так близко подошла к киту, что фонтан окатил ее с головы до ног.

Это было неожиданно, но все было так, как она предчувствовала, — капли были теплые, блестящие, и Нау ощущала, как солнечные лучи обволакивают ее, по всему телу разливается новое, незнакомое чувство мягкой ласки, какого-то стеснения в груди. Частое дыхание прерывалось, кружилась голова, будто Нау долго смотрела с высоты на бегущие по воде тени облаков.

А кит купал ее в теплых струях, пронизанных солнечным светом, лаская мягкими, ласковыми ударами и тихим журчанием фонтана.

Нау чувствовала, как у нее в груди растет ее маленькое сердце, заполняя грудь, мешая ровному дыханию. Кровь согревалась, вбирая тепло китового фонтана, и де-

вушка в растерянности стояла неподвижно, не зная, что делать. А ведь раньше она совсем не задумывалась над тем, что делала. Как ветер, волны, облака, пробивающаяся трава и прячущиеся в ней цветы, как евражки и летящие птицы, плывущие по морю звери и рыбы... Она была частью этого огромного мира, живого и мертвого, сверкающего и тонущего во мгле, убаюканного тишиной высокого неба и одеялом мягких облаков, ревущего, когда неожиданно сорвавшийся ураган раскачивал морские волны и они обрушивались на берег, стремясь достичь трав, в которых прятала свои озябшие ноги Нау.

А теперь что-то другое накатилось на нее. Будто она только что проснулась, и мгновение пробуждения затянулось, и она как бы заново видела небо, синее море, холмы с зелеными травянистыми склонами, и впервые слышала писк суслика, звон птичьего базара под скалами, журчание ручья... Будто она вдруг открыла, что морская вода отличается вкусом от той, что в ручье, а утренний холод исчезает по мере того, как над морем поднимается солнце.

Теперь, когда Нау бежала по тундре, упруго отталкиваясь от пружинящих кочек, она вдруг останавливалась и склонялась над крохотным голубым пятнышком цветка, словно осколком неба, упавшим с зенита. Голубой глазок качался на тонком зеленом стебельке, и Нау слышала пронзительный, уходящий вдаль звон.

Мир звуков разъялся, как и видимый, и теперь Нау знала, откуда идет грохот бьющих о скалы волн, шелестящий звук ветра, гладящего невидимой огромной ладонью тундровые травы, плеск мелких волн в лагуне, журчание воды в ручье, бегущем по каменистому склону.

По-разному заговорили птицы и звери.

Черный ворон каркал черными звуками, и звук этот был темный и холодный, будто тень на том берегу, куда не достигали солнечные лучи и где лежал вечный снег, темный и рыхлый от старости.

Летние лохматые песцы тявкали, словно выплевывая застывшие в глотке мелкие косточки морошки, остро и пронзительно свистели суслики, как бы окликая Нау, призывая ее взглянуть на черные глазки нор, вырытых под защитой камней.

Звенели морские птицы, гнездящиеся на прибрежных скалах, и порой, когда они разом взлетали, потревожен-

ные росомахой, в их гвалте тонули все остальные звуки, и мир становился уныло-однообразным, серым и плоским.

Нау открыла, что звуки могут быть приятными для уха и такими, от которых хотелось бежать и укрыться куда-нибудь подальше. Зато птичий гомон над утренним ручьем Нау была готова слушать сколько угодно. В нем было что-то схожее с радугой над китовым фонтаном, и птичье щебетание рождало в душе светлое ожидание предстоящего чуда.

День ото дня тундра становилась ярче и цветистей. Ноги Нау чернели от сока ягод. Старая тундровая волчица лизала их и смотрела в глаза Нау преданными и тоскливыми глазами. Она чуяла приближение зимы, а для себя еще и смерти, потому что она уже ни на что не годилась: трудная жизнь и возраст стерли все ее зубы...

В этот день, как всегда, солнечные лучи разбудили Нау.

По яркости они были такими же, как прежде, однако в них уже не было того всепроникающего тепла, что раньше. В их прикосновении к закрытым векам Нау почувствовала предостережение, отзвук приближающегося ненастья.

Нау окончательно проснулась и утолила голод пригоршней морошки.

Чуткие уши ловили привычный шум морского прибоя, птичий звон над ручьем и шелест травы.

Нау поднялась на ноги и двинулась к морю.

Роса была непривычно студеной. Нау бежала, чтобы согреться и стряхнуть с себя остатки сна. Суслики свистели ей вслед, испуганные куропатки вспархивали из-под ног, но Нау не останавливалась, движимая каким-то тревожно-радостным предчувствием. Обычно на последней галечной гряде, намытой волнами, Нау подбирала плети морских водорослей, добавляя их к скудному завтраку. Но на этот раз она даже не замедлила шага.

Ей уже слышался в прибойном гуле знакомый свист возносящегося к небу китового фонтана.

Блеск моря слепил ей глаза, и Нау не могла как следует рассмотреть берег.

И вдруг она увидела необычное... Подумалось, что это просто видение ослепленных блеском воды глаз.

Да, был фонтан, в котором дробилось солнечное сияние, и кит, приткнувшийся к берегу. Но, по мере того как Нау всматривалась в морского великана, он становился

все призрачнее, как бы растворялся в облаке мельчайших капелек воды...

Нау моргнула несколько раз, чтобы рассмотреть кита.

Но его не было.

Не было и фонтана с солнечной радугой.

Вместо всего этого она видела на пенной оторочке прибоя человека.

Он стоял и смотрел на нее черными, как у нерпы, глазами. Нау кинула быстрый взгляд на море. Там было пустынно. Ничто не указывало на то, что кит, который только что был у берега, уплыл. На гребнях прибоя сидели морские кулички и дергали острыми головками. Стаи перелетных птиц низко стлались над водой.

Нау чувствовала, как холодно вокруг. Студеная галька жгла ноги, холоден был воздух, и даже сами солнечные лучи уже не грели. Человек сделал шаг навстречу, и Нау показалось на миг, что за его плечами мелькнула радуга. Его лицо вдруг переменилось: глаза сузились, рот полуоткрылся, и от всего его облика повеяло необычным теплом. От него исходило ласковое, греющее даже на расстоянии тепло, зовущее, заволакивающее мягким облаком.

Нау тоже сделала шаг навстречу, неожиданно почувствовав желание прижаться к груди незнакомца, спрятаться в нем от холода.

Мужчина взял Нау за руку.

Он шел легко, перешагивал мелкие лужицы, перепрыгивал через потоки, и поступь его была подобна полету птицы. Нау неслась словно на крыльях развевающихся черных волос за незнакомцем.

Утренний холод улетучился, стало даже жарко, и ноги горели, будто она бежала не по прохладной траве, а по раскаленным летним солнцем песчаным берегам тундровых рек.

Блеск солнца мчался вслед за ними по глади лагуны, по струям речушек и ручейков, по многочисленным лужам и озеркам.

Что же это?

Неведомая, огромная, сравнимая только с солнцем радость. Легкость и тревожно-сладкое ожидание, теплое стеснение в груди от мысли, что он рядом, тот, в котором слилось все, что пришло этим летом, — и огромный кит, и удивительное тепло, и неожиданное открытие того, что

она чем-то отлична от птиц и зверей, от трав и волн, от неба и земли...

Что же это такое?

Они поднялись на тундровые холмы, покрытые мягкими, чуть пожелтевшими травами. Под травами лежал подсохший светло-голубой олений мох — ягель, толщей своей защищающий растения от губительного воздействия вечной мерзлоты.

С высоты холмов открывалось море, уже далекое, с еле слышным приглушенным прибоем.

Мужчина остановился, не выпуская руки Нау.

Он повернулся лицом к морю, и девушка вместе с ним посмотрела в синюю даль.

За белой оторочкой прибоя резвились киты. Стая приблизилась к берегу, расцветив радужными фонтанами волны и спугнув куличьи стаи.

И лицо его вновь озарило выражение, от которого исходило тепло, и в его нерпичьих больших черных глазах зажегся теплый желтый огонь.

Мужчина взял ее вторую руку и чуть потянул к себе. Тепло казалось невыносимым, обжигающим, но зовущим. Слегка кружилась голова, и Нау вспомнила, как взбиралась на высокие прибрежные скалы и оттуда подолгу глядела на море, на движущуюся рябь, на чередующиеся волны... Вот так же кружилась голова и крутая даль тянула к себе, вызывая сладостную дрожь в ногах...

Но это совсем другое, лишь отдаленно напоминавшее зов бездны.

И снова это тепло, нежное, мягкое, как мягкий пух в гнезде гаги на холодных скалах, обращенных к морю, вечно обдуваемых ветром и смачиваемых солеными брызгами...

Лицо его было близко, и оно менялось, как меняются тундра и море под ветром с облаками, то открывающими, то закрывающими солнце.

От него пахло морским ветром и водорослями.

Да, она ждала именно его, вот такого, близкого, понятного, сильного и нежного одновременно. И вся ее тревога по утрам, беспокойство по вечерам, когда солнце уходило за морской горизонт, и ощущение радости, когда кит приплывал к берегу, было предчувствием именно этой встречи, ожиданием счастья.

Рэу опустился на траву, увлекая за собой Нау. Кружилась голова, все казалось окутанным радужной дым-

кой, и тело словно было погружено в теплый китовый фонтан, обволакивающий, ласкающий прикосновением своих нежных струй.

Иногда Нау казалось, что она летит высоко над поверхностью земли и мягкие светлые облака несут ее вслед за легким ветром. И одновременно с этим ощущением росло и другое: хотелось слиться воедино с мужчиной, и это желание было таким сильным, что Нау чувствовала боль от этого желания. Иногда боль наполняла все нутро ее, стараясь вырваться наружу, но не находила себе выхода.

Нау хотелось кричать от рвущихся изнутри воплей, но она не знала... не знала еще, что это и есть самое высокое женское счастье, от которого рождается песня, нежность и новая жизнь...

Нау слышала шум китового фонтана, взрывающего воздух над морской волной... Р-р-р-э-у!..— чудилось ей.

— Рэу, Рэу, Рэу,— произнесла она несколько раз и открыла глаза.

Лицо Рэу было совсем близко, и большие его черные глаза вбирали в себя девушку, топя ее в мерцающей, жаркой черноте.

Теперь Нау не чувствовала ни страха, ни тревоги. Она еще и еще раз убеждалась в том, что именно этого ей не хватало, именно этого она и ждала. Она только не догадывалась, что это придет к ней в облике мужчины, вышедшего из кита.

И вдруг словно солнечный раскаленный луч прошел через все ее тело. И первая мысль ее была: разве боль может быть радостью? И тут же ответ: да, боль может быть самой высокой радостью, от которой хочется кричать и плакать светлыми, горячими слезами. Луч бродил по ее телу, зажигая его, рождая невидимый огонь, и хотелось только одного — чтобы это продолжалось бесконечно долго, вечно...

Когда Нау пришла в себя, то в первое мгновение она испугалась того, что все это ей показалось или приснилось.

Но Рэу — так она мысленно назвала мужчину — сидел с ней рядом и держал в руках ее черные волосы, переливая пряди из одной руки в другую. Он улыбнулся, и лицо его озарилось необыкновенным светом.

Он рассматривал Нау, приближая свое лицо к ней, касался кончиком носа ее носа, и это прикосновение снова разжигало теплившийся в сердцах огонь.

— Разве боль может быть радостью?

— Высшая радость приходит через боль, — ответил Рэу.

Вместе с его словами Нау ощутила знакомые запахи моря — соленой пыли, водорослей, мокрой гальки и распыленных по берегу красных морских звезд.

Перед заходом солнца Рэу встал с примятой травы и зашагал в сторону моря.

Нау шла рядом.

И чем ближе был шум морского прибоя, тем тревожнее становилось в ее душе. Впервые в жизни она без радости подходила к морю.

Вот уже прибой и куличьи стаи на его изломе.

Рэу остановился.

Солнце падало в воду. Над линией, где соединялось небо с водой, оставался верхний край диска, и от него по воде бежала звонкая светлая дорожка, упиравшаяся в мокрый галечный берег.

Рэу ступил на эту дорожку, шагнул в воду, и на том месте, где только что был человек, мелькнул на мгновение китовый фонтан.

Нау в порыве шагнула в воду, но что-то сильное и властное вытолкнуло ее обратно на берег.

А кит уходил все дальше, и вскоре его фонтан померк вместе с последним отблеском погрузившегося в море солнца.

2

Когда солнце вставало над лагуной, достигнув своей высшей точки, Нау спускалась на берег и стояла, пока вдали не начинала играть радуга.

Радость ее росла по мере того, как к берегу приближался кит и громче становилось его взволнованное дыхание.

Обратившись в человека, Рэу брал Нау за руку и шел вместе с ней на мягкие тундровые травы.

Они мало говорили. Многое из того, что нужно было передать друг другу, само собой изливалось через взгляд, прикосновение и даже просто через долгое молчание.

Проходили дни, полные счастья, невидимого и неслы-

шимого полета души. И однажды Нау увидела, что дальние горы покрылись снегом.

— Что это?

— Это то, что погонит нас в другие моря, — ответил Рэу.

— Значит, ты покинешь меня?

Рэу промолчал.

С каждым днем свидания укорачивались, потому что солнце торопилось уйти в воду, сокращая свой небесный путь. В воздухе закружились белые снежинки. Падая на землю, на лужицы, в бочажки, они превращались в холодную воду.

Неуютно становилось на земле.

Птичьи стаи уходили на юг, оглашая опустевшую тундру печальными криками.

Умолк звонкий птичий гомон над ручьем, и сама вода в нем потемнела, загустела от частых дождей.

Нау бродила по тундре и разрывала мышиные норы, чтобы достать из них сладкие корешки. Бывали дни, когда она не могла приблизиться к морскому берегу: огромные волны бились о скалы, накатывались на галечную косу, кидаясь на одинокую девушку, стоявшую на высокой галечной гряде.

В такие дни Нау боялась, что Рэу не приплывет.

Но он приплывал.

Однако в его ласках появились тревога и нетерпение.

— Почему ты не остаешься со мной до утра?

— Потому что, если я не вернусь с последним лучом, я навсегда останусь на земле, — ответил Рэу.

— А ты этого не хочешь?

— Не знаю, — ответил Рэу.

Еще совсем недавно, по весне, когда он, молодой и сильный, резвился в морской упругой воде, он мог с уверенностью сказать, что никогда и ни за что не променяет вольную морскую стихию на земную твердь. А теперь...

Он и не подозревал, что есть в мире такая сила, которая превращает кита в человека и держит его на берегу, заставляя забывать о великой опасности навсегда остаться на земле человеком.

Братья-киты предостерегали его. Отец показал на белую пелену на горизонте. Она с каждым днем приближалась к берегу. Скоро это холодное и белое скует морскую воду и закроет путь к живительному воздуху. Уже ушли в теплые края первейшие враги китов — морские

косатки, уплыли моржи, тюлени, и даже мельчайшие морские обитатели, которыми кишели прибрежные отмели, последовали за большими зверями. Все пустыннее и молчаливее становились берега северного моря.

Наступил день, когда за каменным мысом появилась полоса белого льда, и от него ощутимо потянуло холодом и резким студеным запахом. Рэу приплыл не один. Остальные киты держались у кромки льда, пуская высоко в воздух хорошо видимые в стылом тумане фонтаны. Их было так много, что испуганные бакланы поднялись и улетели.

Рэу медленно приближался к берегу, сопровождаемый братьями. Они словно придерживали его, не давая ему коснуться прибрежной гальки. Но Рэу пробился к пенному прибою и вышел на берег.

Он тяжело дышал, и грудь его высоко поднималась.

— Нау, — сказал он, — я пришел к тебе.

— Навсегда?

— Навсегда, — ответил Рэу, и как бы в ответ на эти слова в воздух взметнулись десятки китовых фонтанов, раздробив солнечный свет и заглушив все остальные звуки.

Рэу взял за руку Нау и повел за собой в тундру, подальше от морского берега, от разъяренных китов-сородичей. Он торопился уйти, боясь, что переменит решение и уйдет вместе со своим китовым племенем далеко в южные теплые моря, подальше от надвигающихся льдов.

Они прошли тундровым зеленым берегом лагуны и углубились в холмы, где трава уже не была такой мягкой, а в земле чувствовалось приближение вечной мерзлоты, притаившейся от летнего теплого солнца за толстым слоем мха и прошлогодних трав.

Они уселись на пригорке и долго сидели молча.

Рэу был печален, и на лице его был туман, как в эти осенние утренники.

Нау дотронулась до его щеки пальцем.

Рэу вздрогнул и вздохнул.

— Что будем делать? — спросила Нау.

— Жить будем, — коротко ответил Рэу. — Новой жизнью, жизнью людей.

Нелегко пришлось в первые зимние дни. Рэу вырыл земляную нору и соорудил над ней свод из жердин, подобранных на берегу. Сверху свод покрыл дерном и су-

хой травой. Он смастерил копье из расщепленной кости моржа и заколол дикого оленя. Шкуру постлали на ложе, чтобы защитить себя от подземного вечного холода.

Нау вспоминала беспечные дни, как красивый сон, как то, чего на самом деле никогда не было. Иной раз ей даже казалось, что и Рэу никогда не был китом, потому что больше не было открытого моря, и, сколько охватывал глаз, простиралась белая пустыня, покрытая искореженными обломками торосов, вздыбленными ледяными полями, которые светились пронизывающим холодным мерцанием. Ветер бродил меж льдов, выбирался на берег и тщательно заметал все темное снегом, в ярости накидываясь на низкую пещеру-землянку, стараясь сровнять ее с белой равниной. Ветер ярился, обнаруживая каждое утро чернеющее отверстие, из которого поднимался пар живого дыхания людей.

Хотя усталость валила по вечерам с ног первых обитателей косы между лагуной и морем, они были счастливы, и большое, высокое и вечное, которое соединяло Нау и Рэу, горело с постоянством и силой летнего незаходящего солнца.

Охотничья удача сопутствовала Рэу, и оленьих шкур теперь хватало не только на подстилку, но и на то, чтобы защититься от холода.

Нау сучила нитки из сушеных оленьих жил и иглой, выточенной из кости косатки, сшивала высушенные и выделанные шкуры. Чтобы тело Рэу не терлось о шершавую мездру, Нау на полу тесной хижины мяла оленью шкуру твердыми пятками своих сильных ног.

Горел огонь в каменной плошке, словно маленькое солнце поселилось в занесенной тяжелыми снегами землянке.

Темнота подступала ближе и плотнее. Солнце показывалось лишь узкой красной полоской, но в сердцах Нау и Рэу была твердая вера в то, что обязательно придет новый настоящий день, который будет еще лучше вчерашнего, точно так, как прекрасными они находили друг друга каждое новое утро.

Прошлого как бы не существовало для них, потому что главным, от чего зависела жизнь, тепло в хижине, огонь в каменной плошке, было настоящее. И от настоящего зависело то, что будет завтра.

Часто дули ураганы. Слежавшийся снег поднимался в воздух, и плотная пелена мокрого снега и упругого ветра валила человека с ног, прижимала к земле.

Прислушиваясь к громыханию снега по крыше землянки, Нау вдруг ощутила толчок внутри себя.

— Что там? — встревоженно спросила она, приложив ладонь к животу.

Рэу положил руку на смуглую теплую кожу жены чуть выше темной точки пупка.

И почувствовал биение живого.

— Это будущая жизнь! — радостно сказал он. — Это новое утро нашей жизни! То, ради чего мы вместе!

— Это будущая жизнь, — тихо повторила Нау, прислушиваясь к себе.

Когда утихла пурга и Нау с Рэу вышли на волю, из-за дальних гор показалось солнце.

— Оно вернулось — источник тепла!

Они кричали от восторга и смотрели друг на друга счастливыми глазами.

Солнце еще было низко, и лучи его окрашивали снег в алый цвет на всем протяжении до горизонта, который с трудом просматривался вдали.

Рэу мастерил разные орудия. Глядя на него, на падающие на его лоб волосы, Нау припоминала что-то смутное, неправдоподобное, волшебное, что приключилось с ней неизвестно когда — то ли во сне, то ли наяву. Был ли вправду он китом?

На рассвете Рэу уходил на морской лед.

Нау с нетерпением ожидала его. Смотрела на торосы. Иной раз ей чудилось открытое море, зеленые волны и радужные блики вдали. Что это было? Сердце билось сильнее, жаркое волнение поднималось в груди, и становилось так тепло, что она откидывала капюшон оленьей кухлянки.

Рэу приходил с добычей, и Нау больше не вспоминала о странных мыслях и видениях, занятая разделкой добычи, приготовлением пищи.

Солнце оторвалось от Дальнего хребта и поплыло по небу.

Однажды Рэу заметил на южной стороне большого тороса щетинку еле видимых глазом крохотных сосулек.

Знакомая птичья песня разбудила Нау. Поначалу она не могла уяснить — это у нее внутри поет или же за стенами хижины.

Маленькая серенькая полярная пуночка прыгала на тоненьких озябших ножках и звонко щебетала, подбирая остатки пищи. Она верещала и маленьким острым глазом лукаво посматривала на Нау, как бы поздравляя ее с приходом поры Большого Света.

Нау заметно отяжелела, тело ее округлилось. Она с трудом носила большой живот. Вместе с теплом в прибрежные разводья приплыли жирные нерпы. Они вылезали греться на солнце, и тут их настигал охотник. Иной раз за день он добывал сразу несколько нерп и в последующие оставался дома, поправляя жилище, побитое жестокими зимними ветрами.

Устроившись на солнечной стороне, где уже стаял снег, люди разговаривали о будущем.

— Пройдет время, — задумчиво говорил Рэу, — и рядом с нашей хижиной вырастут другие жилища, и род людей, который мы начали, распространится по морскому побережью. Здесь есть простор, море кишит зверьем, в тундре бегают олени — можно жить и ждать радостей, которые сулит завтрашний день...

— Как хорошо смотреть в будущее, — отзывалась Нау. — Когда глядишь вперед, кружится голова, будто смотришь с большой высоты.

На лагуне подтаял снег, и поверхность ее теперь была похожа на плешивую от сырости оленью шкуру.

Как-то Рэу, вернувшись с сопки, откуда он высматривал приближающиеся стада диких оленей, возбужденно сказал:

— Я видел открытое море.

— Открытое море? — тревожным эхом отозвалась Нау.

— Лед сломался, — сказал Рэу. — И большие птичьи стаи летят к этой воде через нашу косу.

— Откуда столько живого приходит на нашу землю? — спросила Нау.

— Должно быть, где-то есть иная земля, — ответил Рэу. — И, быть может, такие, как мы с тобой, существуют еще где-нибудь. Мы только еще не знаем их, еще не встретились с ними.

Теплый ливень разбудил обитателей хижины. Когда они вышли на волю, то увидели, что от льда на лагуне осталось лишь несколько плавающих кусков, которые,

повинуясь течению, плыли у берега, отдаляясь к проливу. А в море свободная ото льда вода уже была видна с порога хижины, и полузабытый запах моря снова щекотал ноздри, рождал смутные желания.

Рэу смастерил сеть из оленьих жил и натянул на круг из гибкой ветви. Он поднимался на прибрежные скалы и ловил сетью красноклювых топорков.

Последние льдины ушли из лагуны.

Нау непонятно и неудержимо тянуло к воде, и она была готова целыми днями сидеть, глядя на ровную поверхность, следя за толстыми бакланами-рыболовами, за снующими в прозрачной воде серыми бычками и плоскими рыбами, плотно прижимающимися к каменистому дну.

Это случилось ранним утром, когда солнце уже было высоко над мысом и собиралось двинуться в долгий путь над тундровыми холмами.

Она спустилась на прибрежный лужок со свежей, блестящей травой у устья ручейка, сбегающего с горы.

На ее крик прибежал Рэу.

— Подтащи меня ближе к воде, — попросила Нау.

Маленькие китята появились, когда ноги Нау наполовину оказались в воде. Новорожденные поплыли, пуская маленькие фонтанчики.

Нау повернулась лицом к Рэу и счастливо улыбнулась.

— Я рада, что они похожи на тебя.

Нау вошла в воду, и набухшие от молока груди оказались в воде. Китята подплыли и начали шумно сосать, касаясь грудей мягкими толстыми губами, меж которых розовели еще нежные, пушистые зачатки китового уса.

3

Рэу охотился на непрочном ледовом припае, добывая нерп и лахтаков.

А Нау почти не уходила с берега, возилась со своими детьми, которые росли, набирались сил и уже отваживались уплывать на середину лагуны, на самую глубину.

И тогда Нау тревожно окликала их, зовя именем отца:

— Рэу! Рэу! Рэу!

Китята высоко взметывали фонтанчики, торопились к ней, тыкались мягкими губами в распластанные на воде

груди и долго и смачно вбирали в себя жирное материнское молоко.

В вечернюю пору, когда солнце покидало сушу и отправлялось в море, чтобы окунуться после долгого дневного перехода в прохладные воды, приходил отец и играл с детьми. Он кидал разноцветные камешки далеко в воду, китята бросались за ними, отыскивали их на дне лагуны.

У лагуны становилось шумно: всплески воды, шипение и свист китовых фонтанов, крики Рэу и Нау — все это смешивалось с щебетанием птиц над ручьем, с хлопаньем крыльев бакланов, удирающих от стремительно плывущих китят. На кочках стояли суслики и одобрительно посвистывали.

С заходом солнца китята отправлялись спать, а родители укладывались здесь же, на берегу, подстелив под себя оленьи шкуры.

Нау среди ночи часто просыпалась, прислушивалась к плеску воды, чтобы услышать сонное дыхание своих детей. Широко открытыми глазами она смотрела на светлое небо, где еще не было звезд: они зажгутся тогда, когда укоротится солнечный день. Лежа так, без сна, Нау чувствовала себя легким ветром, медленно парящим над сонными травами и цветами, над волной, плещущейся у уреза, чувствовала себя частью каменного берега, у которого текла студеная океанская вода, облаком под острым краем бледной луны. . . Она была всем, что вокруг нее, что являлось огромным миром, заполнившим все видимое пространство. Она знала, что с наступлением рассвета, когда солнечные лучи ударят в мокрые скалы у мыса и перепрыгнут на галечную косу, заиграют на утренней ряби лагуны, все это исчезнет, она как бы заново превратится в существо, отличное от окружения. Именно днем приходили трудные мысли о том, что вот китята, будучи ее детьми, плоть от плоти ее и Рэу, все же китята и они не могут даже взойти на берег и войти в родительскую хижину. . .

Нау утешалась слабой надеждой, что со временем китята превратятся в людей, как это случилось с Рэу.

Порой Нау хотелось поделиться тревожными мыслями с Рэу, но тот, казалось, не видел никакой разницы между собой и китятами. Видимо, ему и в голову не приходило, что они — отличные от него существа. Может быть, это оттого, что Рэу сам был китом в обличье человека. . .

В дневное время Нау снова становилась обыкновенным человеком. Ей приходилось напрягать разум, чтобы понять, чего хочет старый ворон, взобравшийся на побелевший от времени, отполированный ветрами моржовый череп, ей надо было задуматься, чтобы догадаться о смысле пения пуночек и свиста евражек. Это рождало тревогу и мысли, раздумья о происходящем.

Рэу был занят с утра до вечера.

Еще весной он загарпунил на льду несколько моржей и показал Нау, как нужно расщеплять кожи, чтобы они стали тонкими и упругими. Эти сырые кожи он долго держал в мелкой воде лагуны, и, пока они там мокли, собирал плавниковые жерди, подбирая их друг к другу. Нау казалось, что Рэу мастерит скелет какой-то неведомой гигантской рыбы. Он обтачивал дерево заостренными ножами из камня, полировал, сверлил трубчатыми костями и потом крепко связывал лахтачьими ремнями. Когда все было готово, Рэу достал из воды моржовые кожи и обтянул ими деревянный скелет.

— На этой лодке, — объяснил Рэу, — можно уходить далеко от берега.

Первое плавание совершили по лагуне.

Упругая вода била в днище, вызывая звонкий гром, ветер наполнил парус, сшитый из тонко выделанных нерпичьих кож, и лодка мчалась по лагуне. Дети-китята плыли вслед, радостно выпрыгивая из воды, стараясь высоким фонтаном обрызгать родителей.

Лодка шла вдоль галечной косы к проливу, соединяющему лагуну с открытым морем.

Нау громко окликала детей, и ей казалось, что они отзываются ей, лопочут детские слова, радуются вместе с ней изобретению отца.

Рэу, гордый тем, что сотворил такое чудо, выкрикивал сильное, громкое, приятное слуху. Толстые бакланы нехотя уступали дорогу, долго махая крыльями, чтобы подняться над водой, чайки с тревожными криками носились над лодкой, пересекая ей путь, а нерпы выныривали и долго смотрели вслед, не понимая, что случилось, стараясь уразуметь, что за неведомое чудище появилось в их водах.

— Теперь мы стали ближе к детям, — радостно сказала Нау, когда они приплыли обратно и вытащили на берег лодку.

— Завтра выйдем в открытое море, — сказал Рэу.

Море ласково приняло лодку. Нау чувствовала, как сильно и могуче оно, как велики волны, незаметные с берега. Они легко несли на могучей спине кожаную лодку. Сильный и ровный ветер наполнял парус, и вода легко журчала за бортом уходящей от берега лодки.

Глянув на Рэу, Нау удивилась: она никогда не видела на его лице такого выражения. Рэу словно бы слился с лодкой и был единым существом с ней. Каждый удар волны, каждый порыв ветра отражался в нем. Вздымаясь на гребень волны вместе с лодкой, Рэу как-то странно придыхал, словно выпускал из себя китовый фонтан. Ветер шевелил его волосы, обвевал напрягшееся, сузившееся лицо и выжимал слезы из широко открытых глаз.

А потом Рэу стал громко и протяжно кричать, и в этом крике были удивительные слова, словно окрашенные радугой:

Ветер, сильный ветер,
Смешанный с пылью морской воды!
Подними на могучую спину свою
Кожаную ладью и вознеси
На тропы морских родичей моих,
Чтобы свиделся я с ними и
Сказал, что есть великая сила
В природе, что делает кита
Человеком и дает жизнь
Новому, доселе небывалому
В природе...

Нау, невольно поддавшаяся очарованию ритмичного крика, вдруг обнаружила, что кричит вместе с Рэу, и новорожденная песня людей звенит вместе с ветром, ударяясь о парус.

Галечная коса давно скрылась с глаз, и скалистые мысы, разноцветные вблизи от наростов лишайников и мхов, кое-где покрытые зеленой травой, стали синими, и расстояние смазало их очертания, уменьшило размеры. Теперь огромная водная ширь отделяла кожаную лодку от земли, и это волновало Рэу, наполняя его новой силой.

А Нау вдруг почувствовала страх.

Твердая, надежная земля оставалась уже далеко. Маленькой хижины нельзя было рассмотреть.

— Куда мы плывем, Рэу? — спросила Нау.

Рэу прервал пение, и последний звук унесся поверх паруса, смешавшись с шипением зеленых волн.

Выражение лица Рэу переменилось, словно туча нашла на него, и он тихо ответил:

— Не знаю.

Он сел на дно лодки, на частые переплетения деревянных планок, на которые была натянута моржовая кожа.

— Я вспомнил давние годы, — сказал Рэу. — Я был молодым и любопытным и часто отрывался от своих. Уходил далеко, чувствуя себя частью моря, ветра и синего неба. Меня предостерегали. Но я не слушал слова старших. Однажды на меня напали косатки. Они преследовали меня яростно и долго, стараясь прижать к берегу. Но я сумел уйти от них и воссоединился со своей стаей. В другой раз я оказался среди плавучих льдов, из которых едва выбрался, ободрав до крови все тело... И сегодня, выйдя в море, я снова почувствовал себя молодым и полным сил...

Рэу развернул лодку к берегу.

Когда впереди тонкой полоской обозначилась коса, рядом с лодкой взметнулся китовый фонтан и из глубины показалась голова кита.

— Это мой брат! — обрадованно закричал Рэу. — Гляди, Нау, а вон еще один! Другой позади нас! Они пришли ко мне! Нау, они радуются свиданию с нами!

Киты осторожно подходили к кожаной лодке и толкали ее вперед, придавая ей новую скорость. Их разинутые пасти, украшенные темным частоколом плотного китового уса, казалось, улыбались Нау.

Рэу стоял во весь рост и радостно смотрел на своих братьев.

— Как жаль, что они не понимают человеческого разговора, — сказала Нау.

— Понимать-то понимают, — ответил Рэу, — только говорить не могут. Чтобы иметь речь, надо стать человеком, надо полюбить женщину, как это случилось со мной... Так мне говорила мать, когда она вызнала, почему я так стремлюсь к берегу, отчего я так долго не возвращаюсь к стаду. И еще она говорила: все, кто живет на побережье, произошли от китов, которых преобразила любовь...

— Значит, мы не одиноки на берегу? — спросила Нау.

— Может быть, — ответил Рэу.

— Тогда почему я родила китят?

— Потому что я — кит, — ответил Рэу, и, словно в от-

вет на эти слова, братья, следовавшие за лодкой, взметнулись вверх, выпрыгнув из воды почти во всю свою огромную длину.

Поднятые ими волны едва не захлестнули кожаную лодку, но Рэу только смеялся и кричал громкое, радостное своим братьям.

Вместе с ним радовалась и Нау, и спокойствие возвращалось к ней по мере того, как приближался берег и издали уже можно было различить белую оторочку прибоя.

Рэу направил лодку в узкий пролив, соединяющий лагуну с морем.

За отмелью дети встретили кожаную лодку и пристроились к бортам, сопровождая ее, пока она плыла от пролива вдоль зеленых тундровых берегов.

На закате Нау покормила детей, и они отплыли на середину лагуны, где обычно проводили ночь.

За вечерней трапезой Рэу сказал:

— Мои братья признали меня. Они увидели, что я возвратился в море, остался верен ему.

Когда росы стали холодными и в тундре налились соком ягоды, Нау стала замечать, что детям все труднее подплывать к ней — они выросли.

На рассвете Нау уходила на зеленые холмы, пересекая низкую, болотистую луговину, на которой алела спелая морошка. Она собирала в кожаный туесок черную шикшу, голубику, морошку. К полудню возвращалась в хижину. А Рэу все не было: он уплывал в кожаной лодке к Одиноким скалам, торчащим далеко в море, и там охотился на нерпу, гарпунил моржей и встречался со своими братьями.

Нау смешивала ягоды, сдабривала их нерпичьим жиром и ставила на холодок, чтобы угостить лакомством возвратившегося охотника.

На морской стороне галечной косы она ждала возвращения Рэу.

Сначала показывался парус. Он медленно рос, покачиваясь под ветром. Над парусом летели птицы, указывая путь к берегу, а рядом плыли братья-киты.

Нау смотрела на приближающуюся лодку. Вот уже можно различить сидящего в ней охотника, его разве-

вающиеся на ветру черные волосы. По бокам лодки были привязаны нерпичьи и моржовые туши.

На этот раз Рэу приволок большую тушу моржа.

Желтые клыки животного торчали под водой. Рэу и Нау пришлось изрядно потрудиться, чтобы вытянуть на берег гигантское животное.

— Большая кожа у этого моржа, — сказал Рэу. — Мы сделаем из нее покрышку для новой хижины, чтобы нам было просторно в ней.

Он давно заметил, что Нау снова собирается стать матерью, и радовался этому.

С приходом темных ночей подросшие китята перестали подходить к берегу — мели не пускали их. Нау уже не кормила их своим молоком, и дети сами добывали себе еду.

— Им тесно в лагуне, — сказал Рэу и спустил лодку в воду.

Он посадил Нау в середину, сам устроился на корме, чтобы править парусом и рулевым веслом.

Китята ждали родителей на глубоком месте.

— Следуйте за мной! — крикнул им Рэу. — Плывите вслед за нашей лодкой!

Китята пристроились к корме. Они радовались, как всегда, свиданию с отцом и матерью.

Рэу направил лодку в пролив.

Нау молча смотрела на плывущих следом китят. Они издали поднимали головы, и в их глазах, блестящих и ясных, Нау видела невысказанную нежность и сыновнюю преданность. Теплом наполнялась грудь, и хотелось очутиться в воде и рядом с ними плыть широкой водной дорогой в открытое море.

В проливе китята чуть замешкались, как бы прощаясь со своей колыбелью — лагуной.

Впереди расстилалось море — широкое, могучее, глубокое, полное новых тайн, друзей и родственников.

Еще издали Нау увидела братьев Рэу, которые поджидали своих родичей.

Лишь только дети выплыли из лагуны, киты двинулись навстречу и окружили их, победно трубя фонтанами воды.

— Теперь я спокоен за них, — сказал Рэу. — Они в своей родной стихии, среди близких и родных.

Нау с грустью смотрела на уходящих в море детей.

— Не печалься, — сказал Рэу, дотрагиваясь до ее

плеча. — У нас еще будут дети... Но дети, вырастая, всегда уходят из родного гнезда в собственную жизнь.

Дети Рэу и Нау еще много раз подходили к берегу, на свидание со своими родителями. Всем своим видом они показывали, что им хорошо и вольготно в море и они помнят отца и мать.

Когда кромка льда показалась на горизонте, Нау родила мальчиков-близнецов. Они лежали по обе стороны счастливой матери и орали во все горло.

Склонившись над ними, Рэу всматривался в новорожденных, и трудно было по его лицу догадаться, доволен он или нет.

Только вчера старшие ушли в теплые края, где будут зимовать вдали от острых льдин и смертельной стужи. Всем стадом они приплыли прощаться и долго резвились возле самого берега, пугая стаи перелетных птиц.

Опустел берег. На него, зловеще потрескивая, надвигался лед, шурша по мелководью. Свирепел ветер, гоня по галечной косе ледяной дождь, превращающийся на глазах в снег.

В хижине кричали два мальчика, оглашая близкую окрестность и вплетая в вой ветра человеческий голос.

Нау склонялась над ними, и почему-то на память приходили безмолвные первенцы, родившиеся китами и уплывшие в далекие моря. Какое счастье быть матерью!

Рэу строил большую ярангу.

Он воткнул колья полукругом и обтянул их нерасщепленной моржовой кожей. Затем соорудил коническую крышу и тоже покрыл кожей. Она еще была свежей, не потемнела, и дневной свет проникал внутрь. В теплом желтом свете было уютно. Но для настоящего тепла еще надо было сделать полог. Нау сшила его из шкуры белого медведя.

Кожаные туеса и деревянные кадки были заполнены моржовым жиром, в земляном хранилище был достаточен запас мяса. Впереди была зима, но люди не страшились ее, потому что их было уже много на этой занесенной снегами Галечной косе у Китового моря, скованного льдами.

Весной киты приплывали к берегам Галечной косы, Показывая на них, Нау говорила своим двум мальчишкам:

— Вон плывут ваши братья!

Братья-киты близко подплывали к берегу, почти касаясь головами гальки. Они плескались, ныряли и вдруг неожиданно всплывали, обдавая Нау и мальчиков брызгами теплой воды.

Мальчишки носились по берегу, и матери порой приходилось силой оттаскивать их подальше от прибоя.

Возвращались домой мокрые с головы до ног, и Нау сушила детскую одежду, шила новые торбаса и кухлянки, потому что одежда на ребятишках изнашивалась с невероятной быстротой.

Киты сопровождали Рэу и часто помогали, если добыча была тяжела и лодка едва шла по воде.

Киты и люди — это один народ!
Соединившись, земля и море
Родили людей, чье пастбище —
Волны и пучина морская,
Торосы в зимнюю пору!

Рэу пел, и мальчишки затаив дыхание слушали его мощный голос, доносящийся из морской дали.

Волны морские, застыв,
Обратились в тундровые холмы,
Поросли травой, испещрились ягодой;
И все живое, что есть на тундре,
Имеет братьев в волнах морских...

Мальчишки подходили ближе к воде и пели уже вместе с отцом:

Киты и люди — один народ!
Мы — братья моря и земли!
И рождены для вечной дружбы!

Люди вытаскивали добычу на берег, разделывали ее, и чайки с громкими криками ликования носились над кусками мяса и жира. Волна тихо плескалась у ног, слизывая кровь, а вдали сверкали китовые фонтаны, прочерчивая небо, дробя солнечный луч.

Чередовались зимы и лета. Росли сыновья-первенцы, рождались другие дети, но уже не было больше китят в роду у первых поселенцев Галечной косы.

Ранней весной, как только острым южным ветром отрезáло от берега припай, тот, кто первым видел на горизонте китовый фонтан, приветствовал его радостным криком:

— Братья идут! Братья к нам плывут!

Старели Нау и Рэу, но росли люди, рожденные и вскормленные ими. И не только мужчины были среди них, но и женщины.

Рядом с первой поднимались другие яранги, зажигались новые очаги, и девственный камень покрывался копотью огня, зажженного человеком.

Старел Рэу.

Он уже не выходил в море, и вместо него охотились сыновья — сильные и смелые люди.

Они носили имена, которыми различали друг друга, ибо похожи они были, как схожи их предки — морские исполины.

Двух старших звали Тынэн — Заря и Тынэвири — Спустившийся с Рассвета. Остальных сыновей тоже нарекли, сообразуясь с их характерами или же по близкому к их появлению событию. Одного звали Вуквун — Камень, другого Кэральгин — по имени северо-восточного ветра, дувшего с особенной силой в день его рождения... Девочек тоже назвали: Тынэна — Зорька, Тутына — Сумеречный Свет...

Но наступает осень не только в природе, но и в жизни человеческой. Рэу попросил Нау сшить ему штаны из белого камуса, снятого с ноги матерого зимнего оленя. Это означало, что старик готовится уйти сквозь облака и навсегда оставить этот мир.

В один из ненастных вечеров, когда дождь бил по мокрым моржовым крышам и ветер шарил по стенам, отыскивая вход внутрь жилищ, Рэу собрал своих детей.

— Мне скоро предстоит покинуть вас навсегда, — сказал он спокойно, оглядывая всех и на мгновение задерживаясь на каждом лице. — Как только рассеются тучи и путь в ясное небо будет открыт, я отправлюсь в дальнюю дорогу... Но прежде чем уйти, я хочу поговорить с вами... Самое главное — никогда не забывайте, что у вас есть могущественные родичи в море. От них вы ведете свое происхождение, и каждый кит — это ваш родственник, родной ваш брат. Быть братом другому — это не значит внешне походить на него. Братство в другом. Когда вы поднимаетесь на высокие скалы над морем, у вершины вы видите каменные обломки, многие из которых напоминают человека. Не приходит же вам в голову называть их своими братьями и вести свое происхождение от холодного камня... Мы пришли на землю,

потому что есть высшее проявление живого — Великая Любовь. Она сделала нас людьми, сделала меня человеком. И если вы будете любить друг друга, любить своих братьев, — вы всегда будете оставаться людьми... Любовь всесуща. Я думаю, что в этом мире мы не одиноки. В старинных преданиях китового племени говорится о таких, как я... Может, где-то есть другие Галечные косы, на которых стоят яранги и ваши братья ловят нерп, добывают моржей и поют песни о море... Ищите и умножайте себе братьев, потому что только в единении вы будете сильны... И еще прошу вас помнить: моя дорога сквозь облака лежит через море...

В этот год у берегов Галечной косы было необыкновенное скопление китов, словно каждый из них хотел попрощаться с родичем своим, уходящим сквозь облака. Они приближались к берегу, где в безмолвии сидел Рэу. Иногда рядом садилась Нау, и оба они вспоминали молодость, когда на пустынном берегу Великая Любовь соединила кита и человека.

Рэу думал о тех, кто оставался в море и на берегу после него. Что же, он не сетовал на судьбу. Наверное, он был счастлив, потому что именно ему выпало стать человеком, познать Великую Любовь, о которой говорилось в древних китовых легендах. И всем казалось, что случившееся с Рэу могло происходить только в сказках... Значит, сказка — это правда, в которую иногда перестают верить...

Как это прекрасно — жить вместе с Нау!

Весь мир, со всей его красотой и нежностью, уместился в этой женщине, чье сердце больше неба и чья внутренняя теплота может соперничать с теплом солнца. Она и сделала Рэу человеком своей Великой Любовью.

Рэу повернулся к Нау.

Годы нанесли снега на черные волосы, положили морщины на лицо. Но она была прекрасна и сегодняшней своей красотой.

Как тепло делается в груди, когда смотришь на нее, видишь ее лицо. Да одна мысль о том, что она есть, существует на свете, наполняет сердце нежностью и благодарностью... Но ведь она будет с детьми. А потом придет время, и она соединится с ним в вечности.

— Мне было хорошо с тобой, — сказал Рэу.

Он угас, когда лед сковал море и первый снег припорошил трещины и разводья.

Сыновья совершили обряд печального прощания.

Обрядили Рэу в белые погребальные одежды, крепко завязали малахай на голове и зажгли костер у порога. Пронесли над очистительным огнем тело покойника и положили на нарту. Сыновья впряглись в нее. Нарта, скрипя полозьями по свежему снегу, двинулась в сторону моря.

Нау, в кэркэре из темного меха, стояла у стены яранги и печальным взглядом провожала своего мужа в вечность.

Она не плакала. Ведь Рэу дошел до конца своего пути, ушел достойно, как подобает человеку, завершившему все свои земные дела.

Ясный день стоял над Галечной косой, похолодавшее зимнее солнце скупо освещало тянущих похоронную нарту через прибрежные торосы на ровное ледяное поле, где уже была приготовлена широкая прорубь.

Нау смотрела вслед.

Невольная слеза катилась по щеке, холодила кожу и с верхней губы падала на нижнюю, вкусом похожая на крохотный обломок соленого морского льда. Как велик и печален мир! Мыслью своей пытаешься измерить протяженность жизни от далекого прошлого, начала которого не помнишь, а будущее теряется в тумане никем еще не испытанного пребывания в ином, заоблачном мире, где нет смерти, где нет сопоставления этого и другого мира. . . И все это — жизнь, которая сильнее и длиннее в бесконечности, чем просто бытие в этом мире. . . Как велик и печален мир!

Сыновья молча тянули нарту, стараясь выбирать среди нагромождений торосов ровный путь, чтобы ничто не тревожило навеки уснувшее тело.

Вода у краев погребальной полыньи то поднималась, то опускалась, выдавая взволнованное дыхание моря, словно оно и водная его глубина, где обрел жизни первое дыхание Рэу, понимали случившееся. В проруби образовалась ледяная кашица. Один из сыновей взял черпак, сделанный из тугого оленьего рога и переплетенный лахтачьим ремнем. Отчерпав шугу, прояснив зеленую, почти черную в глубине воду, он остановился и посмотрел на братьев.

Они без слов отвязали тело отца и положили на лед ногами к воде.

Постояв некоторое время, они слегка толкнули тело, и оно неожиданно легко и быстро скользнуло в воду.

За телом опустили в воду нарту, и она тотчас пошла ко дну, словно была сделана не из легкого дерева, а из моржовой тяжелой кости.

Старший из братьев приблизился к воде и заглянул. Там отражалось небо и виднелось уходящее вдаль улыбающееся лицо Рэу — словно он кидал прощальный взгляд сыновьям, остававшимся на земле.

А в небе, низко над горизонтом, сияло солнце. Тишина стояла в природе, будто все сущее, все живое затаило дыхание в удивлении и благоговении перед Великой Любовью.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Эну сидел у костра и внимательно слушал Нау. Смеяться над ее рассказами о чудном происхождении приморского народа с некоторых пор вошло в привычку жителей Галечной косы и окрестных селений. Старуха стала местной достопримечательностью, и среди прочих новостей, которыми обменивались путники, обычно сообщалось о здоровье удивительной старухи, ее рассказах и поучениях.

Однако Эну не показывал виду, что не верит старой Нау. Да и кто знает, может быть, она права, несмотря на то, что говорила чудовищно неправдоподобные вещи: будто бы она в ранней молодости была женой кита и первые ее дети были киты. Никто не знает, сколько ей лет. Даже древние старики утверждали, что в годы своей юности они знали Нау уже глубокой старухой с теми же всем изрядно надоевшими рассказами о китовом происхождении приморского народа.

В общем-то, все, что рассказывала Нау, было давно, еще с детства, известно Эну.

Он вглядывался в сморщенное, словно печеная моржовая кожа, лицо старухи, в ее удивительно светлые и глубокие глаза, отливающие зеленью морской глубины, и ему становилось не по себе.

Нау не имела своего жилища. Она приходила в любую ярангу Галечной косы, устраивалась как у себя

дома и жила несколько дней, а то и месяцев. Она утверждала, что все живущие — ее потомки. Кто знает, может быть, это действительно так? Никому никогда не приходило в голову отказать старой Нау в крове и пище. Но, когда она уходила жить в другую ярангу, люди облегченно вздыхали и не удерживали ее.

Несмотря на молодость, Эну почитался в селении мудрейшим человеком. Он знал все, что полагалось знать искусному врачевателю, предсказателю погоды, хранителю древних сказаний и обычаев. Но одного Эну не мог определенно утверждать: правду ли говорит старая Нау о происхождении приморского народа? Да, люди Галечной косы чтят морских великанов, как возможных своих предков, но уж больно разнятся между собой киты и люди. Мало того, что они живут в воде, киты к тому же огромны и бессловесны, даже голоса своего не имеют... Такие предки несколько неудобны для почитания. Однако вслух никто сомнений не высказывал, и культ китового предка соблюдался на протяжении многих поколений.

Старая Нау смотрела бездонными глазами на огонь, и Эну видел, как отблеск огня тонул в их бесконечной глубине.

— Через меня, — продолжала глухим голосом Нау, — соединились земля и море, во мне родился человек таким, каким живет он нынче вокруг нас.

— А как же слово? — осторожно осведомился Эну. — Как мысль?

— Когда я была юна и бегала, как молодая оленуха, по студеным, напитанным водой упругим тундровым кочкам, я и не задумывалась, кто я — песец, птица, волк или росомаха?.. Мне было все равно, кто я, пока не приплыл Рэу и не озарил меня Великой Любовью. Сама Великая Любовь была тайной, потому что неведомо, откуда она сошла на нас. И тайна родила мысль. Потому что, пока есть тайна, человек всегда будет пытаться разгадать ее и разум будет деятелен...

Нау замолчала.

— Выходит, пока есть тайна, будет жив и разум? — учтиво спросил Эну.

— Да, — ответила Нау.

— А речь откуда? Как человек научился разговаривать и общаться с другими? — продолжал спрашивать Эну.

— Нам с Рэу очень хотелось поговорить. Вот мы и заговорили...

Эну с выражением недоверия поглядел на Нау: слишком как-то все просто.

— Вещи ведь живут отдельно от человека вместе со своими названиями и именами, — продолжала Нау. — А слово приходит из всех живущих на земле только к человеку. И речь делает нас людьми...

Эну прислушивался к словам старой Нау не только разумом, но и чувствами своими. Что-то было в ее словах действительно весомое, мудрое. Мир для нее в самом главном всегда оставался единым. Наивысшим существом для нее всегда был кит...

— А откуда появились другие боги? — осторожно спросил Эну.

— Других богов в природе не существует, — сердито ответила Нау. — Их придумали себе люди. Из страха перед тайной. Когда нет желания разумом отгадать тайну, начинают делать богов. Сколько тайн, столько и богов, на которых легко свалить все. Когда человек проявляет слабость, он часто объясняет это вмешательством непонятных сил. А порой и силу свою начинает приписывать им... Это уже совсем недостойно человека!

— Однако мы все же чтим кита как предка своего, — напомнил Эну.

— Кит — не бог, — решительно сказала Нау. — Он просто наш предок и брат. Он просто живет рядом с нами, готовый прийти на помощь.

Эну шел по берегу моря, встревоженный разговором со старухой. Он наклонялся, брал обрывки морской травы, бездумно жевал их. Сырой морской ветер, пропитанный резким запахом водорослей, птиц, рыб и зверей, мешал мыслям. Какая-то неумолимая, но пугающая правда чувствовалась в словах старой Нау о том, что человек создал множество богов от страха перед непонятным и неведомым. С этим и боязно согласиться, и в то же время соблазнительно. Но как тогда быть с установившимися обычаями? Отказаться от привычного трудно, а тем более от богов... Разумная мудрость подсказывает, что не следует резко менять представления человека, если даже они и ложны...

Старая Нау... Ее имя обросло легендами, слухами и покрылось тайнами... Она говорила, что тайны побуждают человеческий разум к деянию. В этом она права.

А разум устроен таким удивительным образом, что он часто удовлетворяется готовой отгадкой, видимостью истины, пусть непрочной, со множеством прорех от сомнений и непоследовательностей.

Сколько же Нау живет на земле?

Она говорит, что с самого начала была совсем одна и не знала, кто она — песец, волк, росомаха или евражка... А может быть, тогда она была каким-нибудь животным? Это вполне может быть и согласуется с древними легендами о родстве людей с разными животными.

Но вот ее сожительство с китом...

С китом, который силой Великой Любви превратился в человека.

И еще: память племени хранила множество рассказов о том, как киты помогали приморским людям добывать пищу, охотиться, уберегали от несчастий. Эти рассказы никто не подвергал сомнениям. Но вот превращение кита в человека... Почему этого больше не случается? Ведь становится же оборотнем охотник, унесенный на льдине в море. Его долго носит во льдах, ветер и буря треплют его одежду, и наконец он остается нагишом на холоде. Но природа не дает ему погибнуть. Иные неожиданно обрастают шерстью, короткой и жесткой, как у лахтака, обретают тюленьи черты, теряют речь и спасаются... Они потом бродят по тундре невдалеке от людских поселений. Они воруют еду, руша земляные мясные хранилища, похищают сушеное мясо с вешал и, случается, нападают на женщин. Потом рождаются странные люди с обилием растительности на лицах, порой немые и глухие или лишенные зрения. Но от китов больше никто и никогда не рождался на этом берегу...

И все-таки с дальних сумеречных лет идет почитание китов и трепетно-священное отношение к великанам моря. Да и как не уважать и не благоговеть перед теми, чьи огромные тела поднимают большие волны и чье дыхание взлетает ввысь? Остальные морские звери стараются держаться подальше от человека, боятся его, но киты никогда не уплывают, когда кожаные байдары приближаются к ним. Наоборот, они стараются держаться поблизости, и Эну был не раз свидетелем тому, как киты вели за собой охотников на места, богатые тюленями и моржами.

И все же, как уловил Эну, у жителей Галечной косы не было твердой и безоговорочной веры в рассказы старой Нау о ее жизни с китом. Это была сказка, придуманная выжившей из ума старухой. Однако существовала молчаливая договоренность между всеми: никогда не выражать сомнения самой Нау. Это было бы кощунством...

Старая Нау не занималась врачеванием и предсказаниями, но, если кто-нибудь обращался к ней за помощью, она никогда не отказывала. Лечила она только травами и настоями крепких бульонов, сдобренных кореньями, а ее предсказания поражали точностью, которая почему-то пугала людей. Может быть, потому, что она с одинаковым равнодушием предрекала и беду, и будущую радость. И оттого, что она не скрывала правды, мало было желающих обращаться к ней. Наоборот, остерегались ее острого языка и о важном и главном старались с ней не говорить, полагаясь в таком случае на Эну, который мог и утешить уклончивым ответом, и вселить надежду туманным, неопределенным обещанием.

Сколько живет на земле Нау?

Или она вечна, как скалы, холмы и скалистые берега? Но ведь она состарилась... Значит, жизнь и время накладывали на нее свой отпечаток. Если она помнит время первых людей, то как же она стара, ибо нынче люди расселились по всему побережью и по тундре...

Рассказывала Нау, что, когда был жив Рэу, олень был дик и на него охотились крадучись. А ныне оленьи стада пасутся спокойно, и человек ходит за ними, не скрываясь. Люди даже ездят на оленях, запрягая их в нарты. А ездовых собак тогда не было, утверждала Нау, и только похожие на них волки бродили по тундре, воровали мясо из земляных хранилищ и страшными голосами выли в лунные тихие ночи.

Плескалось море у берегов, загадочное, великое, называемое в песнях Китовым морем.

Там, в пучине, иная, отличная от земной жизнь, и ее признаки слабо доходят до приморских жителей в виде студенистых медуз, красных морских звезд с игольчатой кожей, раковин, мелких рачков и моллюсков.

Но и мир звезд и неба тоже загадочен!

Звездное зимнее небо, когда невесть откуда появляются небесные огни — полярные сияния, — заставляет

трепетать душу и вселяет в сердце благоговейный ужас. В светлом круге луны видятся то человеческое лицо, то тени умерших родичей, то живущие люди, которые охотятся, едят точно так же, как и обитатели земли. Можно ли после всего этого не задуматься о множественности миров, о том, что все эти миры пронизаны неведомыми загадочными силами, имя которым боги-кэлет?

Да, пусть киты остаются предками, но нельзя пренебрегать и другими богами.

Не каждому дано чувствовать неведомую силу и знать многое. Судьба выбирает из множества людей особенных и отмечает их даром прозрения и проникновения не только в суть окружающих вещей, но и за грань понятного. Может быть, сам отмеченный и не может объяснить многого, но его способность предчувствия и предвидения сама по себе благая ценность, которая должна служить людям.

Но вот как быть с Нау?

Быть потомком кита почетно и благородно, и это возвышает человека и дает ему гордость, стремление быть сильным и независимым, как сильны и независимы эти огромные морские животные. Но вера в кита должна быть благоговейной, покрытой некоей тайной. К этой тайне может иметь доступ лишь достойный и избранный судьбой. И чем больше неясного и непонятного в потемках прошлого, тем выше тот, который может объяснить многое.

В таком случае Нау — именно тот человек, к которому должны быть обращены почести. Но личность сама должна быть достойна положения, которое уготовила ей судьба. Не только облик, но и образ жизни, поведение должны соответствовать этому.

А Нау ведет себя так, что лишь отвращает от себя людей. Зачем посвящать каждого в такие подробности, которые только подрывают веру в китовое происхождение людей? Зачем рассказывать о том, что́ любил есть и как храпел по ночам Рэу? Зачем утверждать совсем неправдоподобное, будто сама Нау рожала китят и среди плавающих в море есть ее прямые потомки? .. Зачем такое говорить и каждый день твердить об этом, вызывая раздражение у людей?

Да, пусть китовое родство людей — далекая правда, но эта правда должна быть величественна, высока и доступна не каждому, без унижающих ее подробностей.

Она должна сиять на расстоянии, как вершины дальних гор.

А как быть с Нау?

По всему видать, осталось ей жить недолго.

Она стара, это правда. Но вот что удивляло: она никогда не жаловалась на свои недуги, не кашляла, не задыхалась, как другие старухи.

Но ведь не вечна же она!

Эну остановился, вглядываясь в море.

Он видел, как недалеко от согбенной фигурки, в которой издали можно было узнать старую Нау, за линией пенного прибоя резвились два кита, высоко поднимая головы из воды и пуская шипящие, расцвеченные солнечной радугой фонтаны.

2

Охотники уплывали вдаль, в море.

Упругий ветер звенел в парусе из тонких нерпичьих кож, выдубленных и выбеленных в крепкой человеческой моче.

Охотники зорко всматривались в морскую поверхность, стараясь не упустить круглой головы нерпы, лахтака или усатой головы моржа.

На носу сидели два гарпунера, держа на коленях длинные орудия с острыми наконечниками из хорошо отполированных пластин обсидиана — вулканического стекла.

Наконечник был хитроумно устроен: впиваясь в кожу морского животного, он отскакивал от рукоятки и под натяжением ремня поворачивался в ране поперек, накрепко застревая и давая этим возможность держать добычу как бы на привязи.

На корме сидел Эну, одетый в непромокаемый плащ из хорошо выделанных моржовых кишок. Чуть желтоватая, шуршащая поверхность плаща хорошо предохраняла от любой сырости, особенно от морской, соленой, оставляя сухой внутреннюю одежду из пушистых оленьих шкур, снятых ранней осенью. Одной рукой Эну держал рулевое весло, а другой — конец, прикрепленный к парусу. С помощью руля и паруса Эну хорошо управлял лодкой и мог держать скорость даже против ветра.

В эту пору на морском просторе оживленно: откормившиеся на летних пастбищах птичьи стаи, выраstив-

шие новое поколение крылатых, собираются вместе, чтобы отправиться в неведомые земли.

Эну предполагал, что там, куда они улетают, не кончается лето, нет зимних холодов и, по всей видимости, там и море не замерзает.

Если проследить за направлением полета птиц и дорогой уходящих китов, легко увидеть, что все они направляются в сторону полуденного солнца. В середине зимы красная заря указывает на присутствие солнца именно там... Значит, в ту сторону вслед за солнцем уходят и птицы, и киты, и другие морские звери. Немногие остаются здесь, чтобы переждать долгое холодное время...

Что же там за земля, где в зимнюю пору не замерзает море? И вдруг догадка пронзила Эну: так ведь когда солнце возвращается на эту землю, оно уходит оттуда, и, значит, там приходит черед зимних холодов!

Он уже хотел было раскрыть рот, чтобы рассказать товарищам о своем открытии, но воздержался — зачем? Они все равно не поймут всей глубины откровения. Ведь если дальше рассуждать, то, идя за солнцем и возвращаясь вместе с ним, можно жить в вечном лете, точно так же, как это делают киты... Эну от волнения вспотел. Вот оно — счастье человеческое, дорога к постоянному и теплому времени! Ведь главная забота здешнего человека — это уберечься от губительного дыхания холода. Только наступает лето, как женщины вытаскивают зимние пологи и начинают их латать, пришивая на прохудившиеся места новые лоскутки шкур белого медведя. К осени собирают сухую траву, обкладывают ею полог, чтобы теплый воздух дольше сохранялся в жилище. Но главное — это огонь, который нужно все время поддерживать в жирнике. Тепло — это жизнь, и тот, кто знает дорогу к постоянному теплу, тот настоящий спаситель людей...

Занятый своими размышлениями, Эну совершенно потерял интерес к охоте.

Как удивительно устроено человеческое мышление: стоило наткнуться на одну дельную мысль, как она потянула другую, за ней — третью. Если судить по времени холодной поры, которая длится очень долго, в отличие от короткого лета, солнце в полуденной стороне находится гораздо дольше, чем над здешними берегами. Значит, там лето дольше и зима короче!

Вот бы найти путь туда, дорогу к долгому теплу!

Вспотевшей рукой Эну сжал рулевое весло и не сразу сообразил, что кричат ему гарпунеры.

Они увидели стадо моржей и просили повернуть туда байдару.

Эну круто развернул кожаное судно, едва не зачерпнув воды накренившимся бортом.

Дорогу к долгому лету укажут киты. Если они настоящие братья, то они не откажут в помощи.

А может быть, старая Нау знает ту дорогу? Иначе откуда она пришла сюда? Не родилась же она от камней, от волков или росомахи. . . Может быть, она — заблудившаяся жительница теплых краев? А кит пришел ей на выручку, чтобы она не погибла здесь от холода?

Мысли обгоняли друг друга, выстраивались в стаи, разлетались и снова собирались вместе. Они волновали Эну.

Моржовое стадо уже было близко, и вода кипела, как в гигантском котле.

Спустили парус. Длинные деревянные весла в деревянных уключинах заскрипели, и послушная им байдара устремилась к моржовой стае.

Вот они уже близко. Они поворачивают оснащенные огромными желтыми клыками головы и с ненавистью смотрят на приближающуюся байдару.

Вожак моржового стада — старый самец с обломанным левым клыком, покрытый бугристой, в морских паразитах и шрамах кожей, вдруг развернулся и пошел на байдару.

Может быть, в другое время Эну успел бы отвернуть байдару, чтобы избежать удара. Но на этот раз, отвлеченный размышлениями, он какое-то мгновение промедлил.

Эну видел, как обломанный клык мелькнул внутри байдары, меж ног впереди стоящего гарпунера. В байдару хлынула вода, и кожаная лодка стала оседать.

Ужас охватил охотников.

Никто не умел плавать, и единственное спасение было в том, чтобы держаться за надутые пыхпыхи, которые, к счастью, уже были приготовлены.

Разъяренный морж долбил и долбил байдару, и она только беспомощно содрогалась, погружаясь по самые борта в ледяную воду.

А родной берег был далеко.

В байдаре — пять человек. А пыхпыха — четыре. За один ухватились двое — Эну и юноша Кляу, в глазах которого застыл ужас. Ведь Кляу хорошо знал, что делает в таких случаях старейшина байдары. Когда нет надежды на спасение, когда родной берег лишь синеет туманной полоской на горизонте, тот, который сидел на руле, вытаскивает свой охотничий нож, закалывает товарищей, а потом — себя самого... Это делается для того, чтобы избавить людей от ненужных мучений.

Кляу это знал и видел перед собой лицо того, кто заколет его первым, потому что именно он оказался ближе всех. Когда бросались в воду, не было времени выбирать пыхпых, надо было спасаться...

Как прекрасна жизнь! Даже жалкие мгновения, оставшиеся до вечного забвения. Казалось бы, какая разница: быть заколотым чуть раньше или позже, и все-таки Кляу хотелось сейчас быть возле другого пыхпыха, подальше от Эну. Неужто не дрогнет рука у человека, которого в селении Галечной косы почитали мудрейшим, источником знаний и полузабытых обычаев? Он знал, как надо встретить новорожденного и проводить в последний путь умершего. Он знает, как избавить от лишних мучений...

Эну медлил, не решаясь приступить к печальному долгу. И все же это необходимо сделать. Им все равно не добраться до родного берега...

Как неожиданно и просто кончается жизнь! Кто-то другой найдет дорогу к незамерзающим морям, к земле, где долго тянется теплое лето и солнце высоко стоит в небе, где зимуют киты и другие теплолюбивые существа.

Товарищи Эну, зная о своей участи и стараясь отсрочить неминуемую смерть, старались отплыть от него подальше, незаметно отгребая в сторону.

Пусть первыми простятся с жизнью те, кто постарше. Вон Опэ. Он смотрит на берег. В глазах его горе и страх перед неизбежной смертью. На Галечной косе у него остаются жена и шестеро детей. Они еще малы, и общине придется взять на себя заботу о них. Так ведется исстари. Нет обделенных пищей и кровом, но есть те, кто потерял близких... Рэрмын... Тоже дети останутся у него да красивая жена. Однако она перейдет под покровительство старшего брата, оставшегося в живых...

Комо... Все хорошие добытчики, сильные мужчины, веселые, искусные в громком пении и радостных танцах.

Эну крикнул:

— Эй, сближайтесь ко мне!

Хорошие люди были на байдаре. Все они откликнулись и даже те, кто старался отгрести подальше, смирившись со своей судьбой, подплыли к старейшине байдары, который уже нащупывал в намокших кожаных ножнах охотничий нож с длинным, хорошо заточенным лезвием.

Комо подплыл первым.

Эну не сразу стал кончать его, справедливо полагая, что вид крови может поколебать решение остальных.

Когда все сгруппировались недалеко от затопленной байдары, Кляу вдруг звонким голосом крикнул:

— К нам плывут киты! К нам плывет целое стадо китов!

Все враз глянули туда, куда показывал рукой юноша.

Словно осевший на воду туман, пронизанный радугой, приближался к терпящим бедствие.

Киты плыли с шумом, разрезая осеннюю студеную неподатливую воду.

— Они идут к нам на помощь! — кричал возбужденный юноша. — К нам плывут наши братья! Значит, старая Нау права — они наши кровные братья!

Эну налег на пыхпых, чтобы приподняться над водой, и тоже увидел китов. Они шли, как флотилия волшебных кораблей из старинных сказаний о великанах, как огромная песня, надвигающаяся из морских глубин.

Страх и надежда боролись в душе Эну.

Нарушение обычая может вызвать наказание. Но кто будет наказывать? Кто истинные вершители судеб приморского народа?

Приближаясь, киты плыли тише, явно стараясь не повредить людям. Они окружили потерпевших бедствие, повели их к синеющему вдали берегу.

Охотники старались держаться ближе друг к другу, ибо так китам было легче вести их.

Вот уже можно различить яранги и струйки синего дыма, тянущиеся к небу.

За линией прибоя киты остановились.

На берегу стояли люди и в изумлении смотрели на

своих земляков, обессиленных, но счастливых своим чудесным избавлением от неминуемой гибели.

Кто-то догадался бросить ременной линь, и Эну ухватил конец.

Охотники встали в ряд перед старой Нау, и вода струилась с их мокрых одежд.

Старуха молча смотрела на них, часто переводя взгляд на стадо китов, медленно удаляющееся от берега.

— Брат всегда поможет брату, — тихо сказала она и пошла к ярангам.

В самой большой яранге, где обычно собирались мужчины Галечной косы, гремел бубен, сделанный из высушенного моржового желудка.

Обнаженный по пояс Эну в сопровождении Кляу исполнял новый танец, названный им танец Кита.

Другие чудесно спасенные подпевали чуть охрипшими голосами, вознося хвалу морским братьям, и звуки новой священной песни уходили через дымовое отверстие к небу, растекались и скатывались к берегу, к невидимому в темноте морскому горизонту, где, затаив свое шумное дыхание, слушали киты.

Повинуясь ведущему Эну, люди взмахивали расписанными веслами, и там, под потолком, где вялились прошлогодние оленьи окорока, пропитываясь пахучим дымом, в отблесках костра, в волнах теплого тумана, плыло чучело кита, искусно вырезанное из темного плавникового дерева.

Человек только тогда человек,
Когда брата он имеет, и душа
Его жаждет отдать добро брату.
Смерть отступила от нас,
Черным крылом задев.
Киты спасли нас.
Возносим хвалу им
И благодарность...

В полутьме яранги песня стучала крыльями о просохшие моржовые шкуры, словно в гигантский бубен, и жители Галечной косы, прислушиваясь к ней, возносились ввысь душой, преисполненной благодарности к морским братьям.

Иные с затаенным чувством стыда вспоминали, как посмеивались над словами старой Нау о братстве с китами и воспринимали ее рассказы о стародавних временах как причуды угасающего от старости разума.

Священный танец Кига возвестил о рождении нового обычая в жизни обитателей Галечной косы и укрепил веру в их необычное происхождение.

Эну пел и чувствовал, как слова новой песни сами рождаются в его душе без усилия с его стороны, и он дивился этому своему состоянию, словно кто-то иной, новый поселился в нем и пел через него. . .

Брат — это не только тот,
Кто просто похож на тебя.
Брат — это тот, кто сочувствует
Твоему несчастью и приходит на помощь. . .

3

Когда Айнау вносила кусок синего льда в теплый полог, вместе с ним входило холодное облако, остро пахнущее стужей, щекочущее нос. Лед потрескивал как живой. Ребятишки украдкой прикладывали палец, смоченный слюной, и лед кусался, прихватывая кусочек кожи, белесой пеленой приклеивающийся к поверхности голубого излома.

В эту пору на воле все было темно-синим от сумерек и мороза, от темного неба, на которое робко выползали яркие зимние звезды, дрожащие и мерцающие от всепроникающего холода.

Стылую синеву нарушали лишь пятна желтого света, падающие на снег у порога жилищ: в ярангах ждали возвращающихся с зимнего промысла охотников.

Они шли с торосистой стороны моря, медленно обходя высокие льдины. За ними тянулся замерзающий след с яркими вкраплениями красной крови.

Люди держали путь на желтые пятнышки теплого света от горящих в жиру моховых фитилей.

Тишина висела над Галечной косой, над маленькой кучкой полузатопленных в снегу жалких в этом огромном мире яранг.

Кляу поднял глаза: на закатной стороне занималось полярное сияние — начинался веселый праздник богов, и отблеск их гигантских разноцветных костров отражался небом. Как плотно населен мир, кажущийся отсюда таким пустынным! И просторное небо, и дальние горы, и даже мрачные нагромождения скал — все полно жизни, неведомых существ, волшебных сил!

Кляу глубоко вздохнул и пошел быстрее, торопясь к своему жилищу, где его ждали жена и трое детишек — два мальчика и девочка. Он мысленно воображал детские личики, их ожидающие взгляды, особенно пристальные и пытливые глаза старшего, Арманто, ласковое спокойствие жены, и все его нутро, промерзшее на ветровом студеном льду, наполнялось теплом, идущим от самого сердца.

Айнау взяла ковшик из тонкого гибкого дерева, зачерпнула воды, захватив льдинку, и вышла из яранги. Она встала у порога, держа в поле зрения мелькающего меж торосов охотника. Из десятков людей она узнавала его по походке на любом расстоянии, которое только может охватить взгляд.

Сердце женщины омылось нежностью и теплом от мысли о мужчине, о ее Кляу, который с добычей шел домой. Отсвет Великой Любви, которая вызвала к жизни приморский народ и сделала кита человеком, лежал на счастливом лице Айнау.

Охотник медленным, неторопливым шагом приблизился к порогу жилища, молча скинул упряжь, на которой тащил убитую нерпу.

Айнау облила морду убитой нерпы водой, давая «напиться» зверю, отдала остаток воды мужу и втащила добычу в ярангу.

Детишки с радостным гомоном окружили нерпу, положенную на кусок разостланной на полу моржовой кожи. Но нерпа еще была мерзлая, и должно пройти время, прежде чем она оттает и мать начнет ее разделывать.

Пока Кляу тщательно выбивал снег из торбасов, развешивал охотничье снаряжение, Айнау толкла в каменной ступе мерзлое мясо, смешивала его с жиром, сдабривала квашеными зелеными листьями.

Это, конечно, еще не настоящая еда. Большое пиршество будет, когда сварится свежее нерпичье мясо.

Когда нерпа достаточно оттаяла, Айнау разрезала тушу, отделив шкуру с жиром.

Ребятишки, глотая слюну, ожидали своего череда.

Наконец мать вырезала из усатой головы два глаза, надрезала их и подала мальчикам. Причмокивая, постанывая от восторга, мальчишки отсасывали нерпичьи глаза, время от времени давая попробовать и сестренке.

Кляу снял с себя всю одежду и остался совсем наги-

шом, лишь бросив между ног клочок шкуры прошлогоднего молодого олененка.

Пока Айнау разделывала нерпу, в ярангу заходили соседки, и каждая уходила с куском мяса, и это наполняло радостью обитателей яранги, потому что считалось: делиться радостью, добром и едой — первейшая и приятная обязанность потомков китов.

С вершины зимы трудно представить, что наступит лето, и на Галечной косе не будет снега, и холмы за лагуной, покрытые глубокими снегами, зазеленеют травой, свободная вода потечет с гор широкими ручьями, и безмолвие полярной ночи огласится звонким птичьим щебетанием. Море очистится ото льда, и к берегу приплывут киты. . .

Когда сладкая боль первого насыщения прошла и легкая дремота мягкой пеленой накрыла тела распластанных на мягких оленьих шкурах обитателей яранги, глава семейства начал повествование. . .

Так водилось в каждой яранге. Дети должны знать свое прошлое, чтобы не чувствовать себя одинокими в этом огромном мире.

Голос Кляу глуховато звучал в теплом пологе, переполненном запахом свежей крови, теплого мяса, горящей в каменном жирнике нерпичьей ворвани. . .

— Раньше холод и мрак покрывали пространство, в котором не различались ни земля, ни небо, ни вода. . . Все было одинаково темно, как в пургу, — повествовал Кляу, а вокруг него затаив дыхание лежали его детишки, внимая рассказу о прошлом народа Галечной косы.

Луч солнца не пробивал темных туч, из которых вечно сочилась холодная влага. . . Но вот появилась женщина. Теплыми босыми ногами прошла она по холодной земле, и там, где ступала, вдруг выросла зеленая трава. Оглядевшись, она улыбнулась, и солнце, пробив черные, сочащиеся влагой тучи, ответило ей ослепительным светом, разогнавшим мрак и залившим все однообразное пространство теплом. И женщина увидела — есть земля и море, небо и скалы, есть Галечная коса, которая отделяет лагуну от моря. В норах живут евражки, песцы бродят меж зеленых холмов, птицы летят над морем. . . А само море — само море полно жизни, полно плавающих и ныряющих. И ходила женщина по берегу, корми-

лась ягодами и морскими травами. И не знала, что сама была человеком, ибо не было с ней никого рядом, с кем бы она могла говорить.

Пока не пришла к ней Великая Любовь.

Великая Любовь сделала из кита человека, и он взял в жены ту женщину.

И родила женщина маленьких китят. Росли они поначалу в лагуне, а когда возмужали, то их колыбель-лагуна стала им тесна и через пролив Пильхын они отправились к своим родичам в открытое море.

Потом женщина родила детей уже в человеческом обличье. И эти дети — наши предки, от которых мы и ведем наше происхождение.

Кляу приумолк и потом торжественно сказал:

— А та самая первая женщина и есть Нау! Она живет среди нас, и мы воздаем ей хвалу!

Последние слова Кляу дети слушали в полусне, и им чудилось далекое неправдоподобное время, когда кит мог превратиться в человека, а человеку для пропитания было достаточно ягод и морской травы.

Эту легенду они уже не раз слышали, как и рассказ самого Кляу о чудесном спасении китами.

Они видели танец Кита и с детства учились ему, чтобы в торжественные минуты, когда благодарные чувства рвались наружу, можно было исполнить его в Большой яранге, где собирались отважные ловцы морских зверей.

Каждое утро уходил Кляу на морской лед. За спиной оставалась Галечная коса, яранги, утонувшие в снегу и напоминавшие о живой жизни лишь тоненькими струйками дыма.

Синева зимнего дня чуть розовела, и огромное зарево на южной стороне неба вот-вот готово было проклюнуться первыми лучами солнца.

Кляу обходил торосы, осторожно проходил по морскому льду на только что замерзших разводьях и думал о вечном, о том, что всегда волновало его.

В то, что кит может превратиться в человека, все же можно поверить. . . Но почему то, что произошло давно, никогда не повторяется?

Много было неясного и непонятного в старинных сказаниях. Когда-то Кляу обратил на это внимание Эну, но тот строго сказал, что так и должно быть: чем больше

неясного в старинном сказании, тем оно достовернее и тем больше в него надо верить.

Но почему мир не может быть так ясен, как чист и свеж утренний воздух после душного и теплого полога?

Звездное небо тоже населено множеством существ, охотниками, девушками, оленями... Воображение соединяло невидимые линии созвездий и рождало картины небесной жизни. Казалось бы, это та самая жизнь, куда уходили умершие. Но нет! Умершие уходили через облака, это верно, но жили совсем в ином мире, о местоположении которого затруднялись говорить даже такие мудрые люди, как Эну. Но Кляу видел только звезды — светящиеся точки на небе — и по-своему думал, что небо — как бы гигантский рэтэм, натянутый поверх всего мира, в нем множество дыр, через которые изливается дождь, сыплется снег. И где-то под этим гигантским шатром живут иные народы. Дым от их костров в виде облаков поднимается в небо, затмевая свет и вызывая ненастную погоду.

Почему окружающий мир так отличен от того, о котором говорят предания? А не нарочно ли мудрецы все затуманивают, чтобы скрыть собственное незнание?

Чем дальше в море уходил Кляу, тем шире открывался захватывающий дух вид на хаотическое нагромождение синего льда.

До самого стыка земли и неба громоздились торосы, Среди них виднелись огромные обломки ледяных гор, голубые, словно светящиеся изнутри собственным светом. В ледовых пещерах было удивительно жутко и слышалось тихое потрескивание, словно кто-то невидимый таинственно брел по ледовой крыше в мягких, подбитых шкурой белого медведя торбасах.

Морской вид на первый взгляд однообразен, но это однообразие кажущееся. Вблизи торосистое море полно неожиданностей. А подальше от берега, где сильное морское течение постоянно ломает лед, в черных, курящихся на морозном воздухе белым паром разводьях тихо плывут нерпы, глядя огромными глазами на бело-голубой мир.

С моря, даже с высокого тороса, уже не различить темные пятнышки яранг. Жалкие, маленькие точечки, словно заяц наследил. За ними — закованная в лед лагуна, границы которой невидимы. Но к югу, где холмы поднимаются и, как морские волны, бегут к синеющим

вдали горам, простирается твердая земля, такая же бесконечная, как море.

За зубчатыми вершинами Дальнего хребта бродит зимнее солнце.

Что там, за этим хребтом?

У подножия гор кочуют оленные люди, дальние родичи приморского народа, отколовшиеся еще в стародавние времена, которые хорошо помнит лишь старая Нау.

Еще недавно Кляу думал, что с возрастом все тайны откроются ему и все недомолвки взрослых людей — всего лишь попытка оградить юнца от того, что полагается знать только зрелому, настоящему охотнику.

А ведь незнание разжигает любопытство и гонит человека в неизведанное.

Как Эну.

Некоторые даже говорили, что тот сошел с ума, ибо здравомыслящему человеку не придет в голову говорить о далекой земле, где солнце вчетверо дольше светит в небе и лето такое долгое, что не успевает оно кончиться, как наступает новая весна.

— Это не сказка, — говорил Эну, — я уверен, что есть такая земля, и мы с тобой ее найдем... Помнишь тот страшный день, когда мы едва не погибли? Вот тогда и пришла мне в голову мысль о теплой земле. Кто знает, может, сами киты вложили в меня это открытие...

Кляу слушал Эну, и в душе его росла решимость последовать за ним.

4

На ноздреватом льду, изъеденном весенними жаркими лучами солнца, стояла большая байдара. Она просвечивала новой, только что натянутой кожей, и, когда кто-нибудь прикасался к ней, она гудела, как огромный ярар.

Вместе с Эну в удивительное, давно задуманное путешествие отправлялся Кляу.

Третьим плыл Комо, лентяй и шутник, однако искусный в том, что изображал на окрестных скалах все, что видел глазами.

Среди провожающих была старая Нау.

От весеннего солнца ее лицо еще больше потемнело, как покрышки яранг, пережившие зимние холода, снегопады, метели и яростное весеннее солнце.

Кляу никогда не думал, что расставание с родными и близкими, с женой и детьми, с Галечной косой, с привычным видом из яранги, окрестными холмами, скалами так мучительно больно, что хочется закричать в полный голос, потому что боль такая, словно на сердце упал тяжелый камень.

Этот камень не отпускал все то время, пока байдара плыла вдоль ледяного берега, еще не успевшего отойти от земли, мимо высоких скал, с которых Кляу зимой любовался широкими просторами, окружающими селение, и думал о том, что за теми дальними зубчатыми хребтами. Теперь им придется не просто убедиться в чьих-то давних рассказах, а самим увидеть дальнюю землю, где много солнца и где живут предки приморских жителей — киты.

Трудно было расставаться с женой, но еще труднее — с детьми. В последние мгновения почему-то припомнились прекрасные дни, когда он собирался увести Айнау к себе в ярангу, бродил с ней вдали от селения, по тундровым холмам, где так мягки и ласковы травы...

Люди смотрели вслед уходящей байдаре, которая становилась все меньше, растворяясь в пространстве, как угасающий человек растворяется в бесконечном протяжении времени.

Многие именно так и думали, глядя вслед скрывающейся из поля зрения байдаре.

Все молчали.

Старая Нау поглядела на людей и громко сказала:

— Это зов предков. Ибо киты — вечные странники, вечно путешествующие в огромных морях. И человек не может долго жить на одном месте. Сначала он изобрел байдару, чтобы покорить морскую стихию, вернуться к изначальному...

— А потом возьмет да полетит в небо, — усмехнулся кто-то.

— Почему бы и нет? — задумчиво произнесла старая Нау. — Может и такое случиться... А пока пусть плывут сыновья китов по морю и ищут новое и непознанное. Только так человек почувствует себя настоящим жителем земли...

И еще долго говорила старая Нау.

Пока свежи были воспоминания об уехавших, ее внимательно слушали.

Но проходило время. Другие события затмевали

троих безумцев, отправившихся искать долгое лето, и только родные вспоминали их в ряду навсегда ушедших сквозь облака.

А речи старой Нау стали назойливыми. Слушали ее только из священной обязанности быть внимательными к старухе, пережившей само время.

Выросли дети Кляу, и лишь очень редко, в ряду полузабытых сказок, кто-то вспоминал о трех безумцах, отправившихся в далекое путешествие.

Никто тогда не мерил время, потому что оно и так было видно, отпечатываясь на облике людей, отмеченное родившимися и выросшими детьми, состарившимися и ушедшими сквозь облака.

Однажды в ясный зимний день с низким холодным солнцем, протянувшим свои озябшие лучи далеко в торосистое море, на залагунной стороне, где вдаль уходили волнистые холмы, показались три точки. Они медленно увеличивались, приближаясь к ярангам. Еще издали можно было догадаться, что это не кочевники, походка у них была иная. Это не были и гости с дальней стороны: те ездили на собаках и шумно приближались к селению.

А эти шагали очень медленно и даже несколько раз останавливались, как бы издали изучая берег.

Все люди Галечной косы высыпали на волю.

А незнакомцы все приближались, рождая смутную тревогу в сердцах встречающих.

Путники выглядели причудливо, их одежда была совсем непохожа на ту, что обычно носили жители Галечной косы. И эта одежда была отмечена печатью долгого, нелегкого путешествия. И еще одно обстоятельство внушало тревожные мысли: эти люди были далеко не молоды, уже в том возрасте, когда без особой нужды не отваживаются пускаться в дальний путь.

А путники все приближались, и на их изможденных, прорезанных глубокими морщинами лицах светилась радость.

Старик, одетый в белые оленьи штаны — знак готовности уйти сквозь облака, — спросил путников:

— Кто вы и куда держите путь?

Долго не отвечали пришельцы. Они жадно всматривались в лица встречающих, словно стараясь найти в них знакомых.

И вдруг старушка, которая долго всматривалась подслеповатыми глазами в одного из спутников, закричала страшно и громко:

— Кляу! Это мой муж, Кляу! Я узнала его!

И все поняли: это те, о ком рассказывали только в полузабытых преданиях, о ком вспоминали как об одержимых несбыточной мечтой познать пути китов.

— Значит, вы вернулись, — сказала старая Нау и пошла к Эну, седому тихому старичку.

Глаза его светились мудростью и теплом.

Путников повели в яранги, а они шли, жадно вбирая в себя заново облик родного селения, ибо это им грезилось в тоскливых сновидениях.

— Мы прошли по тем удивительным землям, о которых знали только по сказкам, — повествовал Эну. — Мы видели огнедышащие горы и дивились тому, что живущие у их подножий понимали нас и тоже почитали китов своими предками. Они утверждали, что именно там, под этими горами, находились жилища китов и эти горы есть их гигантские яранги, с вершин которых струится дым домашних костров. Множество рассказов о жизни китов мы слышали от дальних родичей. Будто в домашней жизни киты мало отличаются от нас и ведут такие же разговоры на своем, пока нам непонятном языке. У них даже случаются и ссоры, правда, очень редко. Тогда содрогается земля, дым из гигантских костров густеет и иной раз даже раскаленные камни взлетают над вершинами гор — жены китов, занятые ссорой, перестают следить за очагом.

Путники рассказывали по очереди. Когда один уставал, вступал другой, потом рассказ подхватывал третий. Вместе со всеми слушала рассказы старая Нау, и каждый из вернувшихся дивился тому, что она пережила многих и оставалась такой же крепкой, какой они оставили ее много лет назад.

— В тех краях мы не видели наших привычных зверей, на которых мы здесь охотимся, — вел рассказ Кляу. — Моржей нет, и белый медведь не заходит в те льды. Да и льдов настоящих там не бывает. На зиму образуется лишь небольшой припай, а за ним всю зиму плещется темное море. Люди живут там оленеводством и ловлей рыбы. От такой еды они малосильны и ростом небольшие. Зато этой рыбы там несметные косяки. Вода

в реках кипит от нее. Не только сами люди питаются рыбой, но и собак своих кормят ею...

— Мы шли за солнцем, — продолжал Эну. — Ибо главная наша цель была достичь той земли, где солнце долго светит и тепло держится дольше, чем на нашей земле.

Мы видели настоящие деревья, покрытые зелеными листьями, шумящие ветвями, словно живые великаны. Они покрывают огромные пространства, и трудно представить, как человек живет в этом зеленом сумраке, как находит дорогу к рекам и к морскому побережью. Мы остерегались углубляться в леса и старались всегда держаться моря, ибо знали, что китовые тропы — это дороги морские.

— Сначала мы подумали, что дошли до китовых пределов, когда увидели огнедышащие горы, — сказал Комо. — Однако надо было найти вход в них. Нас удивило, что поблизости мы не видели китов. И пошли мы дальше, переправляясь через водные преграды с помощью тамошних жителей, ибо наша байдара давно обветшала и стала непригодной. Потом нам встретились люди, которые уже не понимали нашего разговора. Большинство почитали нас своими братьями, не обижали...

— Но не везде было так, — вздохнул Эну. — В одной стране, где живут, собирая выросшие за лето растения, и разводят животных, чье молоко пьют, словно это простая вода, схватили нас вооруженные люди и заперли в сумеречный дом. Там они держали нас очень долго, несколько лет. Уже стали мы понимать их речь, а они все опасались нас и говорили, будто мы какие-то оборотни, пришедшие на их землю, чтобы причинить ее жителям вред. Однако остерегались нас лишать жизни, боясь еще большего несчастья.

Кормили нас всяческой травой, от которой мы поначалу сильно ослабели, но потом попривыкли и стали снова обретать прежнюю силу.

И вот однажды вывели нас на солнечный свет, от которого мы отвыкли так, что первое время не могли держать глаза открытыми, и повели в огромную ярангу, сложенную из больших камней. Там сидел важный человек, который хотел знать, откуда мы появились и что за намерения у нас.

И ответили мы этому любопытному человеку, что происходим мы от китов и идем по их тропам, чтобы по-

знать земли, где много тепла и мало холода, где зимует солнце и перелетные птицы.

Внимательно выслушал нас важный человек и спросил, откуда мы знаем о своем происхождении. Тогда мы сказали, что живет в нашем селении прародительница наша — старая Нау, которая родила наш народ...

Сильно взволновали мы этим сообщением жителей теплой земли.

И сказал тот человек, что и они ведут свое происхождение от китов, однако предания старины они понимают как волшебные сказки и многие уже не верят тому, что где-то существует прародительница приморских людей.

— И рассказали они нам легенду о своем происхождении, — продолжал поседевший Кляу, в котором счастливая старая жена видела молодого мужа, уходившего в дальний путь. — Слушали мы ее, и словно звучал голос старой Нау, и перед нами воскресало наше собственное детство. И сказали те люди нам, что издревле им завещано: пока брат будет чтить брата, помогать ему, беречь его жизнь, пока любовь и согласие будут царить между людьми, до тех пор где-то будет жить прародительница людей, жена Кита, человеческая женщина, мать всех приморских жителей.

— Мы шли дальше, потому что хотели познать вечное тепло, — заговорил Комо. — Мы продирались через гигантские травы и брели реками, вода в которых была горяча, как кровь только что убитого моржа. Солнце всегда стояло высоко, и снег выпадал только на одну ночь. Утром он таял. Тамошние люди все же страдали от этого, считая это страшным холодом. Они дивились нам и толпами собирались, когда видели, как мы обливаемся пóтом при таком тепле, которое для них жестокий мороз...

— А дорога китов шла еще дальше, — продолжал Эну. — Они уходили в теплое марево, блистая фонтанами. А у нас сил оставалось только на обратный путь, ибо понимали мы, что узнанное нами принадлежит не только нам, но и вам, потому что мы — часть одного целого, что называется приморским народом. Мы увидели многое и достигли края земли. Мы уже знали из рассказов тамошних людей, что дальше зимы нет, одно нескончаемое лето. Но та жизнь уже была не для нас, и мы повернули обратно.

— Мы торопились, — подхватил рассказ Кляу, — ибо нам хотелось увидеть родные лица, услышать полузабытые, но дорогие нам голоса, которые мерещились нам во снах... Мы торопились на свою родину, как спешат ранней весной киты, возвращаясь в студеные воды.

Несколько долгих вечеров рассказывали путники о своих приключениях, встречах с незнакомыми народами, обычаями, странной пищей и чудными зверями. Затаив дыхание, жители Галечной косы внимали словам о том, как в иных землях люди никогда не видят белого снега и с трудом верят в то, что вода может обретать твердость камня, а дождевые капли падают сверху в виде мягких белых хлопьев.

Когда иссякли рассказы и утомленные долгим повествованием путники все чаще и чаще стали замолкать, старая Нау спросила:

— Вы увидели новые земли, незнакомые народы и странных зверей, скажите нам, какая земля показалась вам самой прекрасной?

Путники переглянулись между собой.

И ответил Кляу:

— Это верно, что мы увидели много. Но мы познали великую истину: нет ничего прекраснее своей родины, родной земли, где ты появился на свет, где живут твои родные и близкие, где звучит родная речь и знакомые с далекого детства старинные сказания...

Эти слова прозвучали в притихшей яранге как звук крыльев волшебной птицы, принесшей важную весть.

И старая Нау сказала:

— Я именно об этом и думала: прекрасное — это то, что рядом с тобой. И киты всегда возвращаются с уходом льдов, потому что эти берега — их родина и родина нашего народа.

Эну был уже дряхл и немощен.

Комо мог только изображать на скалах еще не стершиеся из памяти картины, и лишь Кляу удалось сочинить и исполнить танец Путешественника.

Сколько лет они провели в пути — никто не мог сосчитать. И все же, несмотря на то, что он был сед, Кляу еще был силен.

Он пережил своих спутников и скончался в глубокой старости, оплакиваемый родичами. Обряжала его в последний путь вечная старуха Нау. Седая, крепкая, с чер-

ным, словно дубленая моржовая кожа, лицом, она пришла в ярангу, где поселились горе и печаль. Готовый отправиться в последний путь, Кляу лежал в белых камусовых штанах, в белой кухлянке.

Нау молча прошла к пологу и откинула с покойника лоскут медвежьей шкуры.

У Кляу было просветленное и спокойное лицо.

Старуха попросила принести выквэпойгын.

Принесли отполированную, чуть согнутую палку с углублением в середине, куда вставляется каменный нож для выделки шкур.

Старая Нау угнездила конец палки под голову покойного и шепотом начала беседовать с ним.

Она задавала пространные вопросы и ждала, что ответит умерший. Ответы Кляу были односложны, но значительны. Он пожелал взять с собой крепкие торбаса и копье, которым он добывал пропитание.

Старая Нау тихим голосом передавала пожелания покойного, и у головы покинувшего этот мир вырастала кучка вещей, которые он брал с собой в последнее путешествие сквозь облака.

Мужчины понесли Кляу на Холм Усопших.

А жизнь продолжалась. Наступала новая весна, и поднявшееся над снегами солнце щедро освещало тундру и ледовитое море.

5

Внук Эну, Гиву, хрупкий и задумчивый юноша, пришел к старой Нау и спросил ее:

— В чем тайна твоего бессмертия?

Старуха удивленно посмотрела на него.

Об этом не полагалось спрашивать. Это было дерзко и кощунственно.

— Нет тайны, и нет бессмертия, — ответила Нау.

— Но ты живешь всегда, — возразил юноша. — Значит, есть бессмертие и есть тайна.

— Я живу, — задумчиво ответила Нау и почувствовала, что этот ответ пришел неведомо откуда. — Я живу, потому что существует Великая Любовь.

— Значит, если ее не станет — ты умрешь? — спросил юноша.

— Но Великая Любовь вечна, — ответила Нау.

Гиву задумался.

Нау смотрела на него. Отчего он такой? Или его мучает значение собственного имени? Быть Вездесущим по имени нелегко. Ведь нарекают человека не просто так, а стараясь дать ему направление жизни. Сама Нау давала это имя, ибо рождался мужчина, который вел свое происхождение от самого Эну, человека, в чьей голове родилась идея пройти тропами китов в поисках истины и теплой земли.

— Много сомнений, — вздохнул Гиву. — Они мучают меня.

На прощание старая Нау посоветовала:

— Ты меньше спрашивай, больше старайся узнать сам.

Осенью, когда моржовое стадо вылегло под скалами мыса, несколько дней Гиву наблюдал за спариванием животных и дрожал от возбуждения, сдерживая себя, чтобы не кинуться на первую попавшуюся женщину. Они как раз невдалеке собирали ягоды, ворошили кладовые в поисках сладких кореньев. Но Гиву боролся с собой. Он решил не поддаваться страсти, смутно чувствуя, что ответы на его вопросы не там.

Он ушел в тундру.

Бродил в тишине прохладного дня и подолгу смотрел в прозрачные потоки, где плыли рыбы, медленно шевеля плавниками. Серо-голубые тела водных обитателей казались ожившими картинками, выбитыми на скалах Комо, одним из путешественников древности.

Гиву утолял жажду в речках, разглядывая свое отражение. На юношу смотрело худое удлиненное лицо с большими, широко открытыми глазами.

Кто-то говорил ему, что таким был в молодости его знаменитый дед Эну. Но Эну нашел выход своему ненасытному любопытству и отправился в путешествие, которое заняло у него всю жизнь.

Если Гиву пойдет по его следам, он увидит лишь то, что видели Эну, Комо и Кляу.

Куда идти?

И откуда все это — беспредельность мира, облака над тундрой и зеленая трава, которая каждую осень желтеет?

Откуда эти цветы, словно брызги небесной голубизны, красные ягоды морошки и потоки вод, в которых плывут

молчаливые, полные спокойствия рыбы? Откуда звери, птицы, морские обитатели? Неужто тайна происхождения жизни людей объясняется так просто, как говорит об этом старая Нау?

И, наконец, почему так мучительно настойчивы эти вопросы, которые будят среди ночи, лишают сна, толкают на безумные поступки, рождают мысли об убийстве старой Нау?

Упругий устойчивый ветер гладил тундру, и волны по желтой траве напоминали морские.

Гиву шел по тундре, перескакивая неустойчивые моховые кочки, перепрыгивая через бочажки и мелкие ручейки. Он не чувствовал усталости, и легкий ветер казался ему собственными крыльями, несущими его над землей. Он ожидал появления такого ощущения, которое было у Нау, когда она была молода и еще не знала Кита Рэу. Гиву ожидал появления чувства слитности с окружающей природой, ему хотелось быть одновременно и ветром, и вот этим ручейком, и сонными рыбами на дне его, травой, упругой качающейся кочкой, облезлым линяющим песцом, стройным журавлем, вышагивающим на покрытом морошкой болоте, евражкой и мышкой, волочащей в нору сладкий корешок пэлкумрэн. . .

Но ничего такого у него не появлялось. Он несколько раз больно ударился о скрытый в траве камень, и боль в ноге все время напоминала о себе, отвлекая от мыслей.

Может быть, такого не было и у старой Нау?

Может быть, все это она выдумала?

И даже не было путешествия в теплые дальние страны, где солнце неутомимо бродит по небу и люди выращивают на земле пищу, питаются, как иные тундровые животные, травой?

Говорят, что сомневающиеся всегда были. Тот же Эну, предок Гиву, оттого и отправился в дальнюю дорогу, что сомневался.

Гиву уселся на пригорке.

Запах осенних трав слегка дурманил голову. Потом этот запах вместе с сухой травой на всю зиму поселится в яранге и в зимние оттепели будет усиливаться, напоминая о зеленом мире, полном тепла и ласкающих глаз цветов.

Большинство людей живет спокойно, не задумываясь об окружающем мире, стараясь не доискиваться причин

удивительных природных явлений. Почему эти мысли и сомнения пришли именно к нему?

Гиву снова вспомнил о женщинах.

Странные существа. Почему природа создала их отличными от мужчин? Только ли для продолжения рода и для наслаждений, которые они сулят мужчинам? Почему самая высшая радость, которую когда-либо испытывает человек, связана с будущей жизнью? Тогда что же... Тогда, если убить другого человека? Что тогда испытывает тот, кто совершает это? Нечто противоположное радости? Но ведь жизнь светлее и радостнее смерти.

Гиву огляделся просветленными глазами. Одно открытие уже есть. Оно лежало совсем рядом, стоило только протянуть руку чуть дальше.

Обрадованный, Гиву прыжком поднялся и побежал в селение, черневшее приземистыми ярангами на другом берегу лагуны, с ее морской стороны.

Гиву не терпелось проверить открытие.

Он увидел женщину у ручья. Она сидела на корточках и набивала листьями кукунэт кожаный мешочек. Отчего это зеленые листья называются точно так же, как и сокровенное женское? Гиву остановился чуть поодаль. Он следил загоревшимися глазами за каждым движением женщины и мысленно приближался к ней, дотрагивался до нее горячими руками, срывал с нее меховой кэркэр...

А потом, не в силах удержать рвущееся наружу желание, он большими прыжками, словно тундровый бурый медведь, подбежал к женщине, заставив выронить кожаный мешочек, который скатился вниз по откосу.

— Ты меня испугал, — сказала женщина, когда Гиву отпустил ее со стоном разочарования, чувствуя, что он не ощутил той великой радости, которая бы свидетельствовала о том, что он зачал новую жизнь.

— Ты мне скажи, что ты почувствовала, когда я тебя взял? — спросил Гиву.

— Я же тебе сказала — испуг, — повторила женщина. — Ты мне не дал ничего почувствовать, кроме испуга.

— Значит, я виноват, — разочарованно протянул Гиву, поднимаясь с холодной, жесткой земли.

Отчего это так? Желал женщину сильно, словно горел внутренним огнем. Казалось, готов был ради нее пройти через вершины гор, а насытил огненное желание,

и такое разочарование, будто пытался утолить жажду только что выпавшим снегом.

Он зашагал прочь от женщины, а та, отряхнувшись, медленно пошла вниз по откосу и принялась собирать рассыпанные, примятые кукунэт.

6

После того как забили моржей на лежбище, наготовили копальхена и наполнили мясные ямы, снежницы, сохранившиеся на теневых сторонах долин, выменяли у кочевых людей наполненные жиром кожаные мешки на мясо и шкуры оленя, принялись готовиться к Китовому празднику.

На деревянные обручи, сомкнутые над паром, натягивали хорошо выделанные моржовые желудки, приторачивали рукоятки, выточенные из моржовых клыков. Расписывали ритуальные весла, изображая старинную легенду о том, как киты спасли терпящих бедствие охотников.

Сочиняли новые песни и танцы, шили нарядную одежду и красили оленью мездру кровавой охрой, добытой у подножия Дальнего хребта.

В тот день жители Галечной косы были разбужены привычным гулом приблизившегося к берегу китового стада. Оно заполнило пространство от медленно надвигающейся на берег кромки льда до самых скал, о которые билась загустевшая от холода океанская вода.

На восходе все жители селения со стариками и малыми детьми направились на берег. На блюдах лежали красные креветки, раскрошенные лучи морских звезд, обломки ракушек, клешней, сушеные моллюски, обрывки морской травы. Все было сдобрено жиром нерпы.

Седовласые старики хриплыми голосами пели старинные песни, ведущие свое начало еще от легендарного Рэу. Им подпевали женщины и молодые люди.

От множества китовых фонтанов вода кипела, и в воздухе висела мельчайшая, похожая на пар, водяная пыль.

По знаку старейшего люди разбросали дары в волны, и киты, словно по единому приказу, возблагодарили высокими фонтанами земных братьев и медленно удалились привычной тропой к берегам, где в долгую зимнюю пору не замерзает вода.

Гиву вместе со всеми бросал в волны крошево священной пищи, которую сам бы ни за что не взял в рот, пел

песни, но думал о своем, о том, откуда у человека такая крепкая вера в эти бессмысленные действия...

После захода солнца в большой яранге загремели бубны, и каждый исполнил танец Кита, стараясь превзойти другого в искусстве выражения чувств.

Гиву медленно натягивал танцевальные перчатки: на черной нерпичьей коже силуэтами были нашиты маленькие китята. Когда танцор шевелил пальцами или двигал рукой, китята приходили в движение и казалось, что они плывут по темной морской воде.

Каждый раз, танцуя в такт ударам бубна, Гиву дивился про себя неожиданному ощущению. Он словно бы начинал заново расти, увеличивался в собственных размерах, заполняя просторную ярангу, вылетал через верхнее дымовое отверстие и растекался всюду, по всей Галечной косе, к проливу, за лагуну, в скалистые гроты, забитые прошлогодним снегом, превратившимся в темный лед.

Вместе с ним росло его сердце, легкие, которым уже мало было воздуха здесь, в яранге.

Когда он танцевал, занятый собственными ощущениями, он никого не видел, и звуки бубнов и голоса певцов звучали внутри него самого.

На этот раз Гиву вдруг увидел глаза женщины, которую он взял на берегу ручья и с которой жаждал зачать новую жизнь. Да, он тогда почти и не помнил, как это случилось, желание все затмило — небо, и даже жесткую, покрытую мелкими камнями землю...

Тепло росло изнутри, незнакомое, новое, будто кто-то забрался в грудь и разжигал огонь терпеливо, слегка дуя в маленький костерок.

Руки Гиву трепетали на уровне лица, он видел узор на перчатках, и сквозь него, сквозь тела нарисованных китят, плывущих по темному морю, глаза той женщины. Он с радостным беспокойством прислушивался к растущему теплу, к нежности, к новому чувству, в котором не было того яростного огня желания, а тихое пение, словно колеблющееся пламя на снежном поле.

С первым снегом Гиву поставил отдельную от родителей ярангу и привел в нее ту женщину, которая отныне считалась его женой.

Жаркими ночами Гиву ждал прихода наивысшего счастья, которое ознаменовало бы зарождение, зачатие новой жизни, но, как ни старался он, этого не случалось.

Разочарованный, он уходил в тундру и бродил по пологим холмам, забираясь иной раз так далеко, что домой приходил только к утру.

Он долго размышлял наедине. Мысли роились в голове, как летние комары, появляясь и исчезая помимо его воли. Они были странные и назойливые, и от них уже нельзя было просто отмахнуться. Они требовали ответа.

Старая Нау пришла поздним вечером и устроилась в углу яранги. Она так и продолжала жить, переходя из одной яранги в другую.

Она разговаривала с женой Гиву о выделке шкур, о шитье одежды, о том, из каких жил выходят наилучшие нитки, как вялить нерпичьи ласты так, чтобы кожа снималась легко, как перчатка с руки...

Гиву слушал старуху, и единственная мысль билась, как пойманная в сеть птица: действительно ли она бессмертна?

Среди ночи Гиву проснулся в холодном поту. Он нащупал остро заточенный нож и представил, как лезвие входит в жилистую, со множеством каких-то движущихся частей старческую шею Нау и темная кровь окрашивает белую шерсть оленьей постели.

Он даже слышал, как хрипит старуха, испуская последний дух, и вечная жизнь уносится вдаль, в синее небо, сквозь зимние облака, просвечивающие луной и полярным сиянием.

Гиву не знал, как отвлечь себя, чем отогнать эти страшные мысли. Он прижался к жене, ощутив всем телом мягкую, излучающую тепло кожу. Жена покорно придвинулась к нему, раскрываясь навстречу, как весенний тундровый цветок.

Гиву вдруг почувствовал то долгожданное, сокровенное... Огромную, медленно слабеющую нежность, которая, словно сладкая боль где-то в глубине тела, долго не отпускала... А по мере того как она уходила, странное блаженство охватывало тело, возносило на волшебную вершину, откуда оно стремглав неслось вниз, и ветер так же свистел в ушах, как в те мгновения, когда мальчишкой Гиву на санках из моржовых бивней катился по склону горы, от вершины до заснеженной лагуны.

На этот раз он был уверен в том, что зачал новую

жизнь. Мысль о старой Нау, о ее бессмертии теперь казалась такой маленькой и незначительной, что Гиву усмехнулся про себя и вышел из яранги в ночную свежесть зимней полярной ночи.

Он вышел в тундру, окрыленный радостью и новой песней, которая рвалась из груди, из огромной нежности, облаком заполнившей грудь. А вдруг это и есть та Великая Любовь, о которой толкует старая Нау? И он приобщился к ней, и она осенила его, наградив за терпение и упорство.

Гиву видел перед собой густую синеву, которая постепенно переходила в усыпанное яркими звездами ночное небо. На северной стороне, за спиной Гиву, полыхало полярное сияние, отблески огня пирующих в подземельях китов освещали уснувшую землю морских охотников.

Гиву пересек лагуну и, пройдя через пологие холмы к восходу недолгого солнца, оказался у подножия Дальнего хребта.

Далеко он зашел. Он бы прошел и дальше, но тут вдруг его остановил голос:

— Стой и оглянись!

Гиву покорно остановился.

Все было по-прежнему, и ничего нового и особенного он не увидел. Так же светили в вышине звезды, только чуть поблекли перед восходом солнца, да полярное сияние погасло...

— Как ты теперь видишь?

Голос был странный, словно им было все наполнено вокруг. Он исходил отовсюду — сверху, снизу, куда бы ни поворачивался Гиву. Он не удивился появлению этого голоса, словно так и должно было случиться.

Гиву еще раз, повинуясь невидимому голосу, огляделся и вдруг стал замечать, что видит он и впрямь как-то иначе, словно его глаза промылись, очистились от пелены некоего тумана. Все было удивительно отчетливо: каждая складка отполированного ветром снега, каждый оттенок цвета его, меняющегося вместе с освещением неба, камешек или сухая травинка, торчащая из-под снега. Ноздри чуяли дальние и ближние запахи речного льда, промерзшей насквозь земли, изнемогающей под толстым слоем снега...

— Отныне ты будешь видеть и слышать больше и лучше, чем любой человек!

Так сказал невидимый голос, и настороженное ухо

Гиву уловило, как голос стал затихать, словно горное эхо, уносящееся в пространство.

Из груди рвался вопрос: кто ты? Почему ты избрал именно меня, а не кого-то другого? Почему ты ничего не сказал о тайне старой Нау?

Гиву вернулся в селение, и жена с молчаливым удивлением взглянула на него: она никогда не видела мужа таким просветленным, счастливым, не обремененным какими-то смутными мыслями.

С тех пор Гиву всегда возвращался с добычей, — ноги как бы сами несли его туда, где таились нерпы, вылезающие на снежный покров морского льда.

Заметив его удачливость, жители Галечной косы стали спрашивать его о видах на охоту, и, к собственному удивлению, Гиву отвечал уверенно и давал всегда дельные советы.

И повелось в селении, что к Гиву стали приходить по всякому поводу, даже когда заболевала собака или ребенок.

И Гиву давал советы, снабжал людей лекарствами, сделанными из трав и снадобий, куда входили разные части морских животных, желчь белых медведей и загустевшая черная кровь лахтака.

Иногда Гиву чувствовал необходимость сам вызвать Голос, и тогда он брал бубен, смачивал гудящую поверхность водой, тушил огонь в пологе и начинал петь, время от времени останавливаясь и прислушиваясь.

Слова приходили неведомо откуда, но Гиву ни разу не пришло в голову искать источник этих голосов. Лишь глубокие бездонные глаза старой Нау вызывали беспокойство, но стоило подумать о чем-то другом, как мысли об этой старухе сами собой исчезали.

Незаметно и постепенно Гиву стал самым известным и необходимым человеком в селении, и люди, перед тем как приступить к важному делу, считали своим долгом посоветоваться с ним.

И стали называть его Энэныльын — это означало «исцеляющий».

Жена Гиву родила крепкого коричневого мальчишку, который сразу же заорал громко и требовательно. Старая Нау обтерла его синим весенним снегом, завернула в мягкий пыжик. Присыпала пупок пеплом жженой коры, а каменное лезвие, которым обрезала пуповину, положила в кожаный мешок и спрятала в укромное место.

— Как китенок, — приговаривала старая Нау, любуясь лоснящейся кожей малыша.

Голоса предрекли мальчишке благополучие, и Гиву чувствовал, как в его груди бьется огромное счастливое сердце, переполненное нежностью.

— Наверное, это и есть Крылья Великой Любви, — высказал предположение Гиву за вечерней трапезой.

Старуха молча покачала головой.

— Великая Любовь простирается на всех людей, — сказала она. И еще: — Если в твоем сердце есть удовлетворение от того, что ты сделал, тогда ты можешь сказать — я познал Великую Любовь...

В селение пришла никогда не виданная болезнь.

Люди вдруг начинали плохо видеть, теряли вкус к еде, лежали целыми днями, безучастные ко всему, пока тихо не уходили сквозь облака.

Покойников торопливо свозили на Холм Усопших, но некормленые собаки приволакивали обгрызенные руки, ноги и даже головы умерших.

В ярангу Гиву пришли растерянные жители Галечной косы.

— На тебя одного надежда, — сказали люди.

Гиву молчал, ибо не знал, как ответить несчастным, испуганным людям. Он сам был в полной растерянности и каждое утро со страхом прислушивался к сонному дыханию сына, с тревогой ожидая признаков надвигающейся болезни. Он словно носил в себе хрупкий сосуд, наполненный драгоценной жидкостью, в котором сосредоточилась его любовь к новой жизни, к мальчику.

— Мы знаем, что ты видишь и слышишь лучше, нежели мы, — говорили опечаленные люди, — и вся наша надежда только на тебя.

Гиву тщательно оделся, натянув поверх меховой кухлянки длинный замшевый балахон, украшенный полосками разноцветной шерсти оленя, кусочками замши и меха. На ногах у него были низкие торбаса с тщательно вышитым орнаментом, повторяющим рисунок на ритуальных веслах. На руки он медленно надел теплые рукавицы и взял священный посох из легкого суставчатого дерева с кружком на конце, чтобы не проваливаться в снег.

Стояла удивительно тихая погода. Солнце светило с вершины небосвода, и лучи его, отражаясь от снега, от полированных склонов сугробов, больно били по глазам. Гиву вытащил из-за пазухи кожаную накладку на глаза с узкой прорезью и повязал на лицо. Повязка хорошо защищала зрение и оберегала глаза от мучительной болезни.

Несмотря на хорошую, ясную погоду, Галечная коса поражала пустынностью и безлюдьем. Даже собаки лежали неподвижно, свернувшись у яранг, и равнодушно смотрели на единственного человека, который шел мимо них, широко размахивая посохом из священного суставчатого дерева.

Синяя тень прыгала с сугроба на сугроб, словно стараясь обогнать человека, и тень от священной палки то изламывалась, то укорачивалась.

Гиву прошел последнюю ярангу, прошагал по снежному полю и подошел к подножию скал.

Отсюда, повинуясь какому-то наитию, Гиву повернул в сторону моря и на возвышении, намытом волнами, но нынче покрытом снегом, остановился и огляделся.

Под скалами темнела синяя тень, торосы уходили вдаль, и повсюду кругом царила ослепительная солнечная тишина, от которой в груди росла тревога и сохло в горле.

Здесь пролегала дорога, по которой жители Галечной косы уезжали на собачьих упряжках в море, в гости в соседние селения. В другое время снег в этих местах был бы испещрен следами полозьев нарт, но сейчас это была девственная белая поверхность.

Что это?

Какие-то мухи, комары...

Но разве они могут существовать на снегу? Днем еще можно ощутить солнечное тепло, да и то если долго и неподвижно стоять, повернувшись лицом к свету, а ночью бывает такой мороз, что даже покрытые густой шерстью собаки просятся в ярангу. А тут какие-то насекомые...

Гиву поспешил к мелькающим на снегу темным пятнышкам и вдруг остановился в изумлении. Сердце забилось от ужаса: перед ним стоял человек. В кухлянке, в торбасах, на голове его красовался малахай. Самый что ни на есть взаправдашний человек, с отчетливыми чертами лица, улыбающийся с виноватым видом, но...

величиной с сустав мизинца, а может быть, даже меньше. Гиву уставился на него и похолодел — еще шаг, и он бы наступил на этого человека и раздавил его своими лахтачьими подошвами.

— Ты кто такой? — спросил Гиву, опустившись на колени.

— Мы — рэккэны, — ответил человечек.

И тут Гиву заметил, как отовсюду к нему торопятся, переваливая через снежные ямки, казавшиеся им глубокими рытвинами, такие же человечки. Они широко размахивали руками, и поэтому только вблизи их можно было как следует рассмотреть. Но еще более Гиву удивился, когда увидел мчавшуюся к нему собачью упряжку и запряженных в нее собачек размером чуть больше мухи.

— Что же вы тут делаете? — спросил Гиву.

— Болезнь везем, — ответил человечек. — Знаем, какую беду мы причинили вашему селению. Но такова наша горькая доля. Мы стараемся всегда проезжать вдали от людских селений, но на этот раз пурга запутала нам следы, сбила нас с дороги и мы оказались здесь. Теперь ваши люди будут болеть до тех пор, пока мы не проедем. А для нас, которые намного меньше вас, для наших собачек расстояние от первой яранги Галечной косы до последней — велико. Нам требуется несколько дней, чтобы одолеть его. На ночь мы останавливаемся, отдыхаем, а утром — дальше в путь.

— Так что же нам делать? — с беспокойством спросил Гиву.

— Уж и не знаем, как быть, — вздохнул человечек, и Гиву увидел, как из его крошечного ротика вырвался еле видимый парок.

Голоса у рэккэнов были тонюсенькими, чем-то походили на птичье щебетание, но слова они произносили отчетливо, ясно.

— А много вас тут? — спросил Гиву.

— Десяток нарт, — последовал ответ.

Остальные рэккэны внимательно слушали разговор, а некоторые даже присели на торбаса Гиву и удивленно разглядывали швы, видимо казавшиеся им гигантскими.

— Давайте я вас провожу через селение на своей нарте! — предложил Гиву.

— Это было бы хорошо! — обрадовался человечек. — Только будь с нами поосторожнее — ты же великан!

— Я постараюсь, — пообещал Гиву.

— И еще одно: наше существование — для людей тайна, — многозначительно произнес рэккэн.

— Я понимаю, — ответил Гиву.

Он бегом вернулся к своей яранге, снял с крыши легкую нарту, перевернул ее полозьями вверх и нанес на них тонкий слой льда, чтобы они хорошо скользили по снегу.

Хотел было запрячь собак, но, подумав, решил от них отказаться: кто знает, не поедят ли голодные псы этих маленьких рэккэнов вместе с их упряжками.

Гиву спешил, почему-то боясь, что вот придет он на место, а там ничего такого не окажется: уж очень неправдоподобными показались ему человечки. Эта неправдоподобность, как ни странно, усиливалась еще и тем, что они были такие же точно, как настоящие люди. Гиву вспоминал маленький клочок пара, вырвавшийся изо рта рэккэна, и его охватывало какое-то удивительное волнение.

Рэккэны ждали Гиву.

Они подогнали крохотные нарты с каким-то непонятным грузом, крепко увязанным на них, а мухоподобные собачки еле слышно тявкали, и Гиву сдерживал себя, чтобы не улыбнуться, глядя на них.

Сами рэккэны были очень серьезны. Они попросили Гиву помочь им погрузиться на его нарту, потому что это для них было очень высоко. Гиву снял рукавицы и осторожно, двумя пальцами, стал поднимать рэккэнов и их собачек на нарту. Он чувствовал сквозь кожу пальцев их живые крохотные тельца, ощущал движения их ручек, ножек, одетых в рукавицы, в торбаса, всматривался в их серьезные лица и все ждал, что вот он проснется — и это причудливое видение улетучится, как это всегда бывает после красочного сна. Но Гиву не пробуждался. Он осторожно грузил рэккэнов на свою нарту, пристраивая их так, чтобы они не свалились.

Наконец все было готово, и он впрягся в упряжь.

Он шел кромкой морского льда так, чтобы со стороны яранг его не было видно. Иногда он оглядывался и видел рэккэнов, сгрудившихся на нарте, крепко вцепившихся друг в друга. Он слышал повизгивание крохотных собачек, вскрики человечков и старался идти потише и выбирать путь поровнее, смекая, что маленький для него снежный заструг — для рэккэнов высочайшая гряда торосов и легкий удар полозьев о кусок льдинки может вышибить из них дух.

Гиву прошел последнюю ярангу и взял направление

на юго-запад, чтобы и соседнее селение осталось в стороне от дороги этих рэккэнов, везущих болезнь.

Еще грузя их на свою нарту, Гиву старался рассмотреть, что же это за болезнь и как она выглядит. Но груз плотно был увязан, и ничего нельзя было увидеть.

Недалеко от пролива Пильхын Гиву остановился.

Рэккэн прошел по доске к передку нарты и сказал:

— Отсюда мы поедем сами.

Гиву осторожно поснимал нарты, собачек и самих рэккэнов.

Они хлопотали вокруг упряжек, распутывали постромки, покрикивали на своих собачек, и Гиву снова чувствовал себя странно и неловко, и ему порой приходила мысль о том, что он попросту несказанно вырос, стал великаном.

Рэккэны сели на свои нарточки. Тот, кто первым повстречался с Гиву, подошел к его правому торбасу и сказал:

— Мы едем дальше. Благодарим тебя за то, что ты помог нам. Но еще больше ты помог своим землякам. Мы и так стараемся идти в обход, но плохо знаем землю, и случается иной раз так, что натыкаемся на людское селение...

— А как выглядит сама болезнь? — решившись, спросил Гиву.

Лицо рэккэна перекосил ужас, и он таинственным шепотом сказал:

— Этого не дано никому видеть. Болезни уложены на наши нарты, и мы не смеем распаковывать их. Но оттуда исходит дух, который поражает людей, когда мы проезжаем через поселения...

— А сами-то вы подвержены этим болезням? — спросил Гиву.

— Нас они щадят, — ответил рэккэн. — Иначе на чем бы они ездили?

Рэккэны тронули свои нарты и поехали вперед, оставляя на снегу еле видимый след от полозьев крохотных нарт, который можно было разглядеть лишь низко нагнувшись. Через некоторое время, когда нарты исчезли из поля зрения, Гиву сделал несколько шагов вперед, чтобы догнать рэккэнов, но уже не мог ни увидеть их, ни даже снова найти следы на снегу — они словно растворились в голубом весеннем воздухе, пронизанном солнечным светом.

Гиву медленно возвращался в селение.

Гиву вошел в чоттагин своей яранги и громко сказал жене:

— Болезнь уехала!

Старая Нау заметила недоверие на лице женщины и укоризненно сказала:

— Он сказал правду.

А потом, к вечеру, когда солнце склонилось над розовыми снегами, старая Нау сказала людям, собравшимся в яранге Гиву:

— Правда всегда удивительнее выдумки, и в нее иной раз трудно верить. Бывает, что человек собственным глазам не верит. Но сегодня вы стали свидетелями великой правды — Гиву спас людей. Судьба отмечает таким даром только избранных, способных верить в то, во что никогда не поверит обыкновенный смертный.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Гиву было уже много лет. У него росли внуки, а сын, которого он уберег от болезни, увезенной рэккэнами, прославился по всему побережью силой и удачливостью.

Гиву чувствовал приближение старости, словно притаившуюся за горами зиму. По утрам ему уже не хотелось вставать, и он долго лежал в постели, высунув голову из полога, разглядывая небо в дымовое отверстие, вдыхал свежий воздух и думал о тайне бессмертия. Да, это было так — старая Нау оставалась в точности такой же, как и в годы его детства, юности, зрелости и, наконец, старости — его, самого знаменитого человека, самого уважаемого и почитаемого не только на Галечной косе, но и в далеких окрестностях. Ничто ее не брало — ни голод, который не раз переживали в селении, ни холод, ни дожди, ни снежные бураны.

В Священные Китовые праздники, когда встречали первые стада или провожали их на долгую зиму, старую Нау по-прежнему сажали на почетное место, но обращали на нее столько же внимания, сколько на ритуальное весло, расписанное изображениями китов.

Зато люди не переставали славословить Гиву, большого человека, вездесущего, способного указать места,

богатые зверем, предсказать погоду, вылечить занедужившего.

А что старая Нау?

Кроме сказок о китовом происхождении людей да неправдоподобных россказней о том, что она была женой Кита Рэу и даже сама рожала китят, от нее не было толку. Даже в то, что она живет вечно, никто не верил, потому что проверить это было невозможно.

Но Гиву знал: если Нау и не бессмертна, то, во всяком случае, она живет столько, сколько не живет обыкновенный человек. В редкие месяцы, когда она переселялась в ярангу Гиву, он старался высмотреть нечто особенное, что отличало бы старуху от обыкновенного смертного жителя Галечной косы. Но старая Нау была обычна до скуки. Она ела все, что едят в ее возрасте, остерегалась жесткой и грубой пищи, ибо зубы ее были стерты до самых корней. Она спала чутко и часто просыпалась среди ночи. Разговаривала о совершенно обычных вещах, и, если на нее не находил зуд рассказывания историй о китах, она сплетничала, судачила о чисто женских делах. Стыдно в этом признаться, но Гиву не только внимательно присматривался к привычкам и поведению старухи, но и подсматривал за тем, как она справляла свои естественные нужды. Ничего особенного, все точно так же, как у всех людей ее возраста...

Так в чем же дело?

И снова Гиву спросил ее об этом.

— Не первый раз задают мне такой вопрос, — с оттенком недовольства заметила Нау.

— Людям любопытно, — настаивал Гиву.

— Я не чувствую себя долго живущей, — уклончиво ответила Нау.

— Однако какая ты была в годы моего детства, такая осталась и по сию пору, когда я уже старик, — сказал Гиву.

— Почему ты спрашиваешь о несущественном? — раздраженно заметила старая Нау. — Разве у тебя нет других забот?

— Однако если тебя попытаться убить — интересно посмотреть, умрешь ли ты от телесной раны? — спросил Гиву.

Старуха с удивлением поглядела на него, и две мутные слезинки выкатились из ее глаз.

— Как ты мог такое сказать? — всхлипнула она. — Ты, верно, нездоров... Разве может человек поднять руку на человека? Да он перестанет быть человеком, если только сделает это...

Гиву понял потом, что именно этот неосторожно вырвавшийся вопрос ускорил его уход через облака в другой мир... Как же он мог такое спросить? И после этого Гиву во взгляде старой Нау улавливал глубокое сочувствие и сострадание, хотя старик на вид был крепок, ничем не болел до самой смерти. Только силы от него уходили, словно в середине лета иссякал ручей, по мере того как уменьшался питающий его снежник.

И у старого Гиву напоследок даже не осталось сил, чтобы ненавидеть старую Нау.

Он понял, что, как бы ему ни было хорошо, какие бы почести ему ни воздавались, настоящее счастье у старой Нау, которая и с виду, и по жизни — обыкновенная старуха. Но старуха, которая знает тайну бессмертия и Великую Истину. Да, она говорила о Великой Любви, но все уже относились к ней как к древней сказке.

Поворочавшись в мягкой оленьей постели до полудня, старый Гиву выходил из яранги и садился на большой камень, служивший грузилом для моржовой крыши. Он сидел, и мимо него проходили люди. Они почтительно здоровались с Гиву и по привычке просили у него совета.

После него все останется. И это высокое небо, облака, скалы, море... Его земляки потом умрут, но вместе с вечными горами, облаками, небом и ветром будет существовать и эта старуха — старая Нау.

Подбежал внук — Армагиргин. Он чуть не свалил с камня деда и громко расхохотался, когда увидел, как тот зашатался и стал хвататься за воздух.

— Недобрый ты, — укоризненно сказал ему Гиву. — Разве можно смеяться над слабым и немощным?

— Но это так весело! — уверял его Армагиргин. — Как рыба канаельгин, когда окажется на берегу!

Гиву смотрел на внука и точно себя видел в детстве. Правда, в отличие от него, Армагиргин был крепок телом, оживлен и общителен. Но внутренние особенности Гиву у его внука были выставлены наружу, словно нашитые на кухлянку яркие украшения. Честолюбие, стремление властвовать над другими, сладкое удовлетворение от повиновения других — все это было так знакомо... И если Гиву утолил жажду честолюбия долгим и упор-

ным трудом и размышлениями, то Армагиргин брал все это с ходу.

Многое объяснялось, конечно, тем, что он был внуком такого человека, как Гиву.

Но каково будет разочарование, когда он увидит, что есть человек, через которого не переступить. Даже когда делаешь вид, что Нау не существует, что ее присутствие не волнует, все равно она — как немой укор, как олицетворение совести. Эта старая Нау, вечная старуха, которая живет как бы вне времени с одной и той же сказкой о китах.

Гиву вспомнил, что сказал Армагиргин, когда услышал о том, что в море плавают его братья-киты. «Не хочу, чтобы эти безобразные чудовища были моими братьями! — кричал мальчишка в истерике. — Они огромные, черные и страшные!»

Старая Нау с ужасом смотрела на мальчика и что-то шептала — наверное, свои китовые заклинания. Тогда с трудом удалось успокоить мальчика. Но с возрастом он не изменил своего отношения к сказкам старой Нау, и на его лице всегда бродила усмешка, когда кто-нибудь при нем начинал рассказывать старую-престарую сказку о происхождении приморского народа.

Когда Армагиргин впервые пошел на молодой лед, только что покрывший море, Гиву дал ему в руки чудесный посох из легчайшего суставчатого дерева и сказал ему:

— Этот посох через многие дальние земли пронес наш предок Эну в поисках Истины.

— И он нашел ее? — торопливо спросил Армагиргин.

— Он сказал, возвратившись из дальнего пути: истина одна — нет ничего лучше нашей земли, родины...

— И это все, что он привез? — усмехнулся Армагиргин.

— И еще — он принес эту палку, которая переходит в нашем роду к достойнейшему, — сказал Гиву.

Армагиргин взял без всякого видимого трепета суставчатую священную палку и подивился ее легкости.

— Пусть она принесет тебе счастье и удачу, — сказал голосом, дрожащим от волнения и избытка любви к внуку, Гиву.

— Прежде всего я сам постараюсь добыть зверя, — сказал Армагиргин и отправился в море вместе со своими сверстниками.

Возвратились они с богатой добычей: Армагиргин тащил трех нерп. Его спутники потом рассказывали, как он удачливо ловил тюленей. Поймав зверя, он уволакивал его подальше от воды, садился на него верхом и с громким хохотом тащился на спине бедного животного к воде. У самой воды он соскакивал снова, оттаскивал тюленя подальше от воды и опять садился на него, пока зверь в изнеможении не клал голову на снег.

Эти рассказы веселили всех, и только старая Нау укоризненно качала головой и шептала свои китовые заклинания.

Когда Гиву почувствовал, что смерть уже стоит у входа в ярангу, он повелел позвать к нему Армагиргина. Внук пришел веселый, нетерпеливый, и, видно, ему не хотелось долго оставаться в затхлости плохо проветриваемого полога, где уже ощутимо пахло тленом.

— Внук мой, — проникновенно заговорил Гиву и крепко взял за руку Армагиргина, словно боясь, что он не даст договорить, не послушает и убежит к своим громогласным друзьям, шумевшим за стенами яранги. — Хочу тебе на прощание сказать: ты многого добьешься в жизни, большего, чем я, — я это чувствую... Только предостеречь тебя хочу: ты никто, пока не разгадаешь тайну этой старой женщины...

— Какой женщины? — удивился Армагиргин.

— Старой Нау...

— Ах, этой! — махнул рукой Армагиргин. — Так она сумасшедшая. И все, что она говорит, всем уже давным-давно надоело, потому что это неправда!

— Армагиргин, — Гиву попытался сжать сильнее руку внука, но тут последние силы покинули старика, и его оставил дух, вознесшийся прямо через широко распахнутое дымовое отверстие и через облака...

2

Да, это был настоящий человек, которым любовались всюду, где только жили морские охотники и оленные люди.

Сильный, красивый, высокий, с громким голосом, от которого рябилась спокойная вода на лагуне, Армагиргин говорил, что все счастье человека в его силе, в том, что человек может все и ему все дозволено.

Он еще в детстве смеялся над теми женщинами, ко-

торые оставляли в мышиных норах часть корешков и еще отдаривали мышей кусочком сушеного мяса.

— От этих маленьких ничтожеств надо брать все! — говорил Армагиргин и костяной мотыжкой разорял мышиные норы, выгребая оттуда последние пэлкумрэт. Если он заводил невод в лагуну, то старался бросить в котел все, до последнего малька.

И при этом говорил и хохотал громко.

Людям было хорошо с ним, потому что каждый мог говорить то, что хотел, делал то, что ему надобно, и удовлетворял свои желания так легко и просто, как спал и ел.

Понемногу люди перестали благодарить морских великанов за помощь в морской охоте. Армагиргин утверждал, что это только кажется, что киты пригоняют морских зверей к берегам. А на самом деле животные приходят сами, по своей нужде.

Осенью, когда за мысом, на галечном пляже, омываемом пенистым студеным прибоем, вылегли моржи, решено было бить их ранним утром, когда выйдет солнце.

Охотники подкрались сверху, тайком спустились и напали на мирно отдыхающих животных. Они кололи всех не разбирая, старых и молодых. Глухой стон моржей и тяжкий дух поднимался над морем, вплетаясь в резкий запах холодного прибоя.

Когда последний морж был заколот, Армагиргин поднял вверх окровавленный нож и крикнул так громко и победно, что с соседних скал поднялись тысячные стада гнездующихся птиц.

А вдали плыли киты и фонтаны поднимались над водой.

— Мы! — кричал Армагиргин. — Мы настоящие хозяева земли! Все, что нам надобно, мы будем брать, не благодаря и не спрашивая об этом никого!

Всю зиму жители Галечной косы валялись в сытой истоме. Подземные мясные хранилища были переполнены. На охоту ходили, лишь истосковавшись по свежему нерпичьему мясу. По вечерам в Большой яранге били в бубны и пели песни о человеческой удачливости, о том, что сильным людям все дозволено и доблесть человека, настоящего мужчины, в том, чтобы суметь ухватить сегодняшнее счастье, словно красавицу за развевающиеся волосы.

Армагиргин взял себе еще одну жену, ибо при таком обилии еды сил у него было столько, что ему уже мало

было одной женщины, а через год, когда было разорено моржовое лежбище, взял и третью.

Певцы сочиняли о нем песни и в танцах изображали его великим человеком, подарившим людям настоящее счастье сегодняшней жизни. Это не было обещанием будущих благ, это не было призрачным утешением, когда несчастный человек кидал крошки сушеного мяса непонятным богам, — это было сытое счастье, от которого человек громко рыгал и смотрел на все сверху, словно неожиданно воспаривший над землей.

На следующую осень моржи не вылегли на лежбище. Они далеко обходили Галечную косу, и людям приходилось гнаться за ними далеко от берега.

Но это только раззадоривало и воспламеняло охотников, которые не знали, куда девать силу, накопленную сытой зимой. Сильными руками они гребли и сообщали байдарам такую скорость, что иной раз пытались состязаться с китами, которые по-прежнему, не опасаясь людей, плавали рядом с их байдарами.

— Эй вы, предки! — кричал им Армагиргин. — А ну покажите, братья, как вы плаваете!

И киты, словно понимая вызов, мчались рядом с байдарами, обдавая сидящих в них брызгами фонтанов.

Когда охотники возвращались к берегу, ведя на буксире убитых моржей, на берегу уже ждали женщины и старики. Вместе с ними стояла старая Нау, ставшая за последние годы очень молчаливой. Она как бы еще больше состарилась, хотя никогда не жаловалась на свои недуги.

Переселяясь из яранги в ярангу, она обходила жилище Армагиргина, но тот только криво усмехался и говорил, что присутствие этой старухи, рассказывающей пустые сказки, навевает на него тоску.

— Разве человек может поверить в то, что эти толстые бессловесные твари, горы жира и мяса, наши братья? — разглагольствовал Армагиргин. — Чтобы выдумать такое, надо обладать болезненным воображением, старческим слабоумием и не верить в великое превосходство сильного человека над всеми зверями!

Люди внимали словам Армагиргина и сначала в душе, а потом и вслух стали с ним соглашаться, ибо то, что он говорил, было ясно и понятно в отличие от странных утверждений старой Нау о родстве с китами.

Они любовались своим земляком Армагиргином и вся-

чески прославляли его, упоминая его имя при всяком случае.

А Армагиргин не знал, куда приложить свои великие силы.

Раз он вышел на охоту в одиночном каяке в Ирвытгы́р — сужающийся залив, отделенный от моря длинной косой с двумя высокими горами на ней.

Он греб маленьким двухлопастным веслом навстречу поднимающемуся солнцу и громко пел:

Я превыше всего на свете!
Сила моя не одолима никем!
Морские пучины, небесные выси —
Все я достану, стоит мне
Только захотеть этого!

Каяк мчался по солнечной дорожке, словно летел поверх воды, обретя невидимые крылья. Вода журчала под кожаным днищем, подпевая охотнику, и каяк на ней подпрыгивал и звенел.

Когда берега скрылись в дымке, Армагиргин остановился и огляделся. Он любил вот так, один, выходить в море, чтобы испытать свою силу, ощутить еще раз, как много может сильный человек, вооруженный острым копьем.

Невдалеке мелькнула голова нерпы. В одно мгновение Армагиргин вонзил в нее гарпун и привязал бездыханное тело к борту каяка. Еще немного времени — и вторая нерпа покоилась в воде у другого борта. Хотелось совершить что-то необычное, потешить себя, поиграть своей силой.

Хоть бы налетел ветер, чтобы побороться с волнами, ощутить силу стихии и выйти победителем в борьбе с ней. После таких испытаний становишься еще сильнее и взор твой как бы пронзает большие расстояния.

Но безоблачное небо и тишина указывали на то, что спокойствие и хорошая погода воцарились на морском просторе.

Армагиргин играл двухлопастным веслом, вертел каяк, переворачивался в нем, но не было никого на огромном пространстве, кто мог бы увидеть и оценить его силу и ловкость. Лишь, как обычно, невдалеке резвились киты, и чувствующий к ним всегдашнюю неприязнь Армагиргин выкрикивал обидные и вызывающие слова в их сторону.

Солнце начало свой путь обратно к горизонту, и Ар-

магиргин поплыл к берегу, медленно рассекая воду веслом.

Когда в поле зрения показались яранги, охотник заметил впереди усатую голову лахтака.

Лахтак почти до ластов высунулся из воды и с любопытством смотрел на проплывающего охотника.

Армагиргин почувствовал, как в нем начинает играть кровь. Он отцепил нерп, которые тут же пошли на дно, и погнал каяк к лахтаку. Но тот нырнул, оставив на воде лишь медленно расходящиеся круги.

Армагиргин с досады плюнул на воду и медленно повел каяк к тому месту, где, по его предположению, мог вынырнуть лахтак.

Зверь показался так близко, что от неожиданности Армагиргин вздрогнул. Лахтак как бы насмешливо посмотрел на охотника и так же издевательски медленно ушел под воду, и Армагиргин отчетливо видел, как отлого вниз, в глубину, уходило серое тело усатого тюленя.

Это окончательно разгневало Армагиргина, и он готов был отправиться в морскую пучину вслед за насмешливым лахтаком.

Охотник подплыл к тому месту, где должен был вынырнуть лахтак, и, как только он показался, Армагиргин быстро нагнулся и двумя руками ухватил его за усатую голову, но... лахтак легко выскользнул и нырнул круто вниз.

Армагиргин крепко выругался и приготовил гарпун.

На этот раз лахтак вынырнул довольно далеко от каяка. Охотник бросил гарпун, вложив в удар всю силу злости. Острие прошило лахтачью кожу, как бы привязав животное к лодке. Армагиргин осторожно потянул к себе ременной линь, медленно приближая раненое животное, чтобы не причинить ему вреда.

Огромными глазами, как бы умоляя избавить его от мучений, лахтак смотрел на Армагиргина, но тот, усмехаясь, громко пел песню и греб изо всех сил. Каяк его шел так быстро, что следом вспенивалась вода.

На берегу, как обычно, стояли земляки и громкими криками приветствия встречали Армагиргина, славя его силу и удачливость.

Армагиргин подтащил лахтака и сказал:

— Не надо его добивать!

С этими словами он выскочил на берег и кинулся с острым ножом на лахтака. Снял с живого зверя шкуру

вместе со слоем жира. Люди никогда такого не видели, и, как они ни уважали и ни боялись Армагиргина, на этот раз они примолкли, охваченные ужасом.

Тело бедного лахтака представляло собой сплошную кровоточащую рану. Со злорадным громким смехом Армагиргин высоко поднял лахтака и бросил в воду, оставив на берегу снятую вместе со слоем жира его кожу.

— Ну, теперь плыви и расскажи своим морским богам о том, как силен и велик Армагиргин! — кричал охотник. — Расскажи им сказку, как рассказывает наша сумасшедшая старая Нау! А где она? Почему она не пришла на берег?

— Занедужила она, — сообщил кто-то.

— Как занедужила? — нахмурившись, спросил Армагиргин. — Она ведь вечная и никогда не болевшая!

И вправду, никто не мог вспомнить, чтобы старая Нау когда-нибудь болела.

Но на этот раз она действительно слегла и не выходила из яранги.

Ободранный лахтак медленно отплывал от берега, и в прозрачной, ясной воде за ним тянулся кровавый след.

Солнце быстро опускалось к воде, и вдруг невесть откуда над горизонтом появились тучи и потянуло ветром. Гладкая морская вода покрылась рябью, и, когда люди поднялись к ярангам, в берег ударила первая волна.

На побережье погода меняется быстро и неожиданно, но такого, как это случилось сегодня, никто не помнил. Порыв ветра сразу же сорвал несколько крыш. Большое кожаное ведро с грохотом протащило мимо укрепленных на подставках байдар. Гирлянды сушащихся моржовых кишок посрывало и унесло за лагуну.

Словно и не было ясного летнего дня: все почернело, потемнело, и с низкого неба хлынул проливной дождь.

Крики людей, укрепляющих жилища, смешивались с воем ветра, гул накатывающихся на берег волн пронзался воем испуганных собак и плачем ребятишек.

В довершение всего мрак осветился вспышками молний.

— Илкэй! Илкэй! — в ужасе кричали люди.

Огненные стрелы прочерчивали небо, и дымовые отверстия яранг освещались синим зловещим светом.

Армагиргин сидел в своей яранге и дрожащими руками сжимал рукоятку священного бубна, оставленного ему покойным Гиву. Он пытался вспомнить слова песнопений,

но на память приходили совсем другие слова, с которыми он привык обращаться к морю, к животным и даже к своим землякам.

Как же они звучат, эти слова добра и любви?

В тщете оставив бубен, Армагиргин выполз из своей яранги и, пригибаясь под ветром, цепляясь за неровности почвы, пробрался в ярангу, где лежала больная старая Нау.

— А, это ты пришел, — слабым голосом сказала старуха.

— Что это? — в испуге спросил Армагиргин. — Неужто в отместку за то, что я сделал с лахтаком?

— Это только предостережение, — слабо произнесла Нау. — Буря пройдет, она вечно продолжаться не может, однако ты должен взглянуть на себя со стороны и увидеть себя другими глазами.

— Какими же? — спросил Армагиргин.

— Глазами Великой Любви.

Армагиргин промолчал: он с детства слышал эту сказку, но даже сейчас, при свете молний и в грохоте бури, он продолжал сомневаться...

— А что делать? — спросил Армагиргин.

— Жить согласно совести, — сказала старая Нау.

— А как это? — не понял Армагиргин.

Старая Нау приподнялась на локте и с удивлением взглянула на Армагиргина.

Армагиргин ушел от старой Нау в непонятном для себя состоянии. Да, он понимал, что своими поступками он вызвал возмущение природных сил. Но, с другой стороны, и раньше бывали сильные бури...

Огромные волны перекатывались через низкие места Галечной косы. Жители яранг, расположенных на морской стороне, покинули свои жилища и, сгибаясь под тяжестью своего домашнего скарба, бежали на другой берег лагуны, куда не могли достать волны.

Армагиргин с трудом добрался до своей яранги.

Волны уже разрушили одну стенку, обращенную к морю, и пенистая вода заполняла чоттагин. Очаг затопило, и вперемешку с пеплом плавали морские звезды и обрывки водорослей. Еще одна волна ударила, и выплыл маленький моржонок с только что пробивающимися клыками. Он смешно бил ластами, пытаясь уцепиться за землю, и жалобно моргал маленькими, спрятанными за толстыми кожаными складками глазами. Ничего особен-

ного в этом моржонке не было бы, если бы не его ярко-красная кожа, которая словно сама горела.

Следующей волной моржонка смыло обратно в море.

К утру ветер стал немного утихать.

Армагиргин выбрался наружу.

Ветер еще был так силен, что море казалось кипящим. Огромные волны светились вершинами, вспененные верхушки отсвечивали, и отблеск их простирался далеко, до самого горизонта.

Молчаливый и подавленный вернулся Армагиргин в свою ярангу.

3

Люди заметили, как сильно переменилась старая Нау после памятной бури, когда едва не снесло яранги Галечной косы. Раньше она хоть и была старой женщиной, но крепкой еще, а теперь она выглядела просто дряхлой, и, наверное, стала видеть хуже, потому что путала людей, и часто отвечала невпопад. Единственное, что она хорошо помнила и всегда рассказывала, — это всем известную сказку о китовом происхождении приморского народа.

Люди прятали усмешку, если она дрожащим от старости голосом повествовала о давней странной жизни в одиночку, когда, босая и счастливая, она бродила по мягкой траве в ожидании Великой Любви, которая явилась ей в образе кита из морской дали.

Когда ребятишки начинали громко дразнить старуху, уже мало кто останавливал их: было не до нее.

Трудно стало жить приморскому народу. Часто случалось так, что к наступлению холодов лишь наполовину были наполнены мясные хранилища, и звонкой студеной зимой людям приходилось вышагивать по морскому льду огромные расстояния в поисках тюленей или белых медведей.

Холодными вечерами, когда скудный огонь освещал внутренность полога, кто-нибудь вспоминал, что было время, когда берега Галечной косы кишели зверьем и охота была больше развлечением и пробой сил для молодых мужчин, нежели тяжким трудом.

Несколько раз на Галечную косу приезжали рэккэны и привозили болезни. Но уже не было такого человека, который бы нашел их и помог им быстрее проехать селе-

ние. Поэтому люди умирали, и дорога на Холм Усопших не заносилась снегом.

Армагиргин не щадил себя. С первыми проблесками зари он уходил на лед и возвращался лишь глубокой ночью. И чаще всего с пустыми руками — морозы сковали всю открытую воду, ветра не было и повсюду в море был лед.

Чаще всего встречались следы белых медведей. Армагиргин смекнул, что если идти по следу хозяина льдов, то иногда можно набрести на полуобглоданную тушу нерпы. В другое время принести такую добычу домой считалось не только кощунственным, но и в высшей степени позорным. Но, когда дома ждали голодные ребятишки да и самому так хотелось есть, что судороги пустого желудка причиняли боль, выбирать не приходилось.

Вот и теперь охотник шел, стараясь не потерять следов белого медведя. Они часто виднелись на снегу, словно в них была налита синева темного зимнего неба вместе с блестками звезд и радужными осколками полярного сияния.

Острый зимний воздух резал легкие, выстуживал последние остатки тепла. Армагиргин старался дышать медленно, берег каждый выдох и шел размеренным, но широким шагом. Медведь выбирал ровную дорогу, обходил высокие торосы и ропаки.

След его был чист, и это настораживало охотника: значит, медведь был без добычи и поделиться с человеком ему нечем.

Когда Армагиргин уже подумывал прекратить преследование, он увидел медведя. Умка стоял на невысоком торосе и смотрел на человека. Он стоял спокойный, уверенный в себе и в своей силе. В его чуть заостренной морде с маленьким черным кончиком носа таилась откровенная насмешка над слабым, голодным человеком.

Армагиргин ощутил в груди гнев.

А почему бы ему не убить белого медведя? Пусть он один, нет у него помощника, который бы отвлек внимание зверя, — так обычно охотились на умку жители Галечной косы.

Но медведю, видно, не хотелось вступать в сражение с человеком. Он не спеша спустился с тороса и так же неторопливо зашагал прочь, загребая выворотом лап сухой, мелкий снег.

Армагиргин с копьем наперевес кинулся на медведя.

Зверь, услышав погоню, оглянулся, и на его бесстрастной морде застыло выражение удивления.

Он остановился и повернулся к охотнику.

Армагиргин подбежал и, собрав все свои силы, вонзил копье под переднюю лапу, в область сердца.

Как-то по-человечески охнув, медведь упал и сломал древко копья. Глаза его, в которых еще светилось выражение удивления, постепенно заволокло туманом смерти.

Армагиргин некоторое время неподвижно стоял над поверженным зверем и чувствовал, как в нем растет огромная горячая лавина радости и гордости за себя.

Не в силах сдержать свои чувства, он закричал дико и громко, и голос его отражался от острых граней торосов, разносился по белой пустыне, загроможденной хаосом битого льда.

— Я один убил умку! Я своей рукой вонзил копье, и вот он, владыка льдов, лежит поверженный передо мной! А ну, есть еще кто в море? Есть, кто хочет помериться со мной силой?

И, только прокричав несколько раз эти слова, Армагиргин принялся разделывать убитого зверя: надо было торопиться — мороз скоро так скует тушу, что никакой нож уже не возьмет. Разделывая умку, Армагиргин то и дело кидал в рот куски еще теплого мяса, с удовольствием чувствуя, как сытость входит в тело, наполняет густым теплом кровь.

Он постарался взять столько, сколько мог унести на себе.

Тяжелая ноша не тяготила его, потому что это было мясо, это была жизнь, которая обещает спокойствие, крепкий сон, уверенность в будущем и наслаждение ощущением своего могущества.

Армагиргина встретили домочадцы и многие соседи, которые еще издали по мелькающей среди торосов тени распознали, что охотник идет с добычей и добыл он по меньшей мере умку, потому что если бы это была нерпа, то он бы тащил ее волоком по снегу.

Армагиргина радостно встретили. Он коротко и точно указал, где остатки умки, и туда бегом на своих быстрых и сильных ногах отправились юноши.

Женщины поставили большие котлы над огнем, и перед рассветом, когда мясо сварилось, в ярангу созвали самых уважаемых и знатных жителей Галечной косы.

— И старую Нау позовите, — напомнил Армагиргин.

Старуха пришла. Седые космы почти скрывали ее изможденное лицо. Глянув на ее руки, Армагиргин подумал, что кожа на них напоминает уже старый, потемневший от дождей плащ из моржовых кишок. Сильно сдала за последнее время вечная жительница Нау!

Старуха пристроилась возле ярко горящего жирника, где было тепло и сильно пахло свежей едой.

— Удача пришла к тебе,— тихо сказала она охотнику.

Армагиргин победно усмехнулся:

— Я ее взял своими руками!

— Да, — кивнула старая Нау. — Удача идет к тому, у кого сильные руки.

— И к тому, кто чувствует себя настоящим хозяином жизни, — добавил Армагиргин.

— И это верно, — согласилась старуха. — Но для полноты жизни надо любить друг друга, любить брата, а не только себя...

— Ну вот, опять ты за свои сказки! — засмеялся Армагиргин. — Давайте лучше будем есть!

Женщины поставили перед собравшимися длинное деревянное блюдо, на котором дымилось и исходило паром мясо умки. Все с нетерпением принялись за еду, и долгое молчание, нарушаемое лишь громким чавканьем и глуховатыми стонами насыщающихся людей, царило в просторном пологе сильнейшего и удачливейшего человека на Галечной косе.

По мере того как желудки наполнялись мясом, развязывались языки, и люди начинали вспоминать времена удачливой охоты, вожделенно мечтали о наступлении лета, когда будет вдоволь моржового мяса и не будет долгих, темных, голодных ночей, как зимой.

— Лето будет трудное, — сказала Нау, кладя на очистившееся деревянное блюдо хорошо обглоданную косточку.

— Откуда ты знаешь? — с вызовом спросил Армагиргин.

— Просто знаю, — спокойно ответила Нау.

— Кто тебе об этом сказал?

— Я сама знаю, — возразила старуха, — зачем мне еще кого-то слушать?

Армагиргин долгим взглядом смерил старую женщину.

— Тогда напророчь нам, чтобы удачи было больше...

— Об этом надо было раньше думать, — ответила старая Нау. — Любить надо не только себя, но и всех людей, но любить бескорыстно. А ведь позвал ты сегодня гостей не оттого, что хотелось тебе поделиться с ними мясом, а единственно из желания похвастаться, чтобы люди видели и знали — вот я каков, Армагиргин!

— А если даже это так, то это не твое дело! — сердито заметил Армагиргин. — Твое дело рассказывать сказки, а не учить людей, как им надо жить.

— Тогда я тебе расскажу другую сказку, — спокойно ответила старая Нау. — Вот послушай...

— Да что нам тебя слушать! — махнул рукой Армагиргин. — Все твои сказки знают даже малые дети. Сказки прошлой жизни...

— Я тебе расскажу сказку о будущем, — возразила старая Нау.

Это насторожило Армагиргина, и он снисходительно кивнул старухе:

— Ладно. На сытый желудок можно и сказку послушать.

Старая Нау поудобнее устроилась возле жирника и начала глуховатым голосом:

— Каждая сказка начинается словами: вот было так. Начало этой звучит иначе — будет так... Будет так... Родится один человек, удачливее и сильнее, чем ты, Армагиргин, хоть у него и будет другое имя. В море он будет добывать самых сильных и жирных зверей, догонять на суше самых быстрых и своими сильными руками сможет душить волков и медведей. Люди будут его всячески славить и даже сочинять сказки и легенды о нем. Но мало ему покажется того, что люди лицезреют его живого и веселого. Он захочет, чтобы он всегда присутствовал в каждой яранге. Искусные резчики вырежут его изображение на моржовой кости, начертают его изображение на белой коже и будут вешать его на высокие шесты... Но этого ему мало будет. Мало будет, чтобы его изображение было в каждой яранге. Он захочет, чтобы и запах его незримо присутствовал в каждом жилище, и заставит всех обнюхивать его, где бы он ни появлялся, и запахом его будут наполнять яранги... И этого мало будет ему. Самые лучшие и новые одежды будут на нем, но он захочет их расцветить, и самые искусные вышивальщицы будут украшать его одежду, он будет сиять, как отражение солнца... Да, да, и с солнцем его будут

сравнивать, но и этого мало ему будет. И захочет он, чтобы настоящие звезды украшали его одежду... И будут посланные люди уходить за звездами, которых пожелал он, и погибать в пути... И останется он одиноким, и снова будет пустынно и дико на морском побережье, как тогда, когда я пришла сюда в молодости...

Старая Нау закончила свою сказку. Молчали и все остальные, потому что много непонятного было в словах старухи.

Широко зевнул Армагиргин и сказал:

— Однако надо и поспать... Мы хорошо поели, выслушали сказку старой Нау... Что нам еще нужно, кроме долгого и сладкого сна?

И все разошлись по своим ярангам.

4

К весне на Галечной косе стало совсем худо: люди выскребывали налипь со стен мясных хранилищ, вымачивали и варили лахтачьи ремни, добывали из-под снега прошлогоднюю зелень. Много было умерших просто от голода, особенно малых детишек, которые тщетно пытались выжать хоть капельку молока из тощих, похожих на сушеные кожаные рукавицы материнских грудей.

Весеннее солнце и пришедшее с ним тепло не принесли ожидаемой подвижки льда, и только с прилетом первых птиц кое-где появились разводья и охотники стали возвращаться с добычей.

Но уже не было изобилия прошлых лет.

Что-то случилось в природе, и никто не мог этому найти объяснения, кроме старой Нау, которая утверждала, что все дело в человеческой жадности и неумении, в неуважении друг к другу, к природе и звериному населению земли и моря.

Эти рассуждения больной старухи вызывали только усмешку у измученных и изголодавшихся людей, знавших, что нерпа никогда сама не идет к охотнику и птицы не ищут сетей, чтобы запутаться в них на радость ловцам.

Удача шла к тем, кто, не щадя себя, проводил дни и ночи на льду.

С уходом ледового припая стало полегче.

Люди охотились на больших байдарах, подкарауливали моржей на их привычных путях, когда они стаями шли через пролив из южного моря в северное. Охотники

настигали их здесь, гарпунили и приволакивали к берегу, где уже ждали женщины с остро отточенными ножами.

Пылали костры в ярангах, и дух вареного мяса распространялся по всему селению, радуя сердца людей, рождая на досуге веселые песни, в которых прославлялась мужская доблесть Армагиргина, человека, который бросил вызов всему сущему.

Люди отъедались за зиму. Не только нерпичьим и моржовым мясом. Открыли, что и птичьи яйца необыкновенно вкусны, да и сами птицы тоже — их можно было сгребать большими сетями, сплетенными из оленьих жил.

В тихие вечера ловили острогами сонных рыб, плывущих по мелководью, отправлялись за голубыми цветочками, смешивали их с нерпичьим жиром и лакомились этой необыкновенно вкусной едой. Старались перепробовать все, вознаграждая себя за долгие месяцы голода. На моржовых крышах раскладывали ребра лахтаков и нерп, и, когда мясо высыхало и чернело и на нем появлялись белые пятнышки личинок, считалось, что оно как раз поспело. В укромных теплых местах держали нерпичьи ласты, потом снимали с них кожу, словно перчатки, и острым ножом резали на мелкие куски мякоть, которая обретала от долгого пребывания в теплом месте необыкновенно острый вкус, будто начинялась массой невидимых жалящих иголок.

Еда стала не просто способом восстановить истраченные силы, а наслаждением, насыщением с изощренным удовольствием. Кто-то догадался начинить очищенные моржовые кишки кусками сердца, печени, легкого, утробным жиром и все это сварить на медленном огне... Так появилось и это лакомство у жителей Галечной косы, охваченных жаждой утонченного насыщения.

Да, люди ели, и ели неплохо, может быть, даже лучше, чем в прежние, славящиеся изобилием, годы. Но за нынешним насыщением чувствовалась неуверенность, какая-то жадная поспешность и стремление набить свою утробу.

Поедали все, что добывали. Но запаса не могли сделать. Когда наступали ненастные дни, сначала съедали немногое, что оставалось, потом принимались за рыбную ловлю, а потом и вовсе подтягивали потуже пояса, терпеливо дожидаясь, пока утихнет ветер и можно будет выйти в море за проходящим моржовым стадом.

Вода у берегов Галечной косы больше не кишела зверьем, как недавно, не торчали столбиками любопытные головки нерп, лахтаков, не резвились птицы и не купались в прибрежном прибое моржи. Все это куда-то ушло, уплыло, улетело. Конечно, и раньше бывали скудные времена, но не такие, как в этот год. Словно звери каким-то образом разузнали о ненасытности приморских жителей и поспешили в другие места. А ненасытность и впрямь была такая, что, несмотря ни на что, жители Галечной косы отличались тучностью и едва умещались в кожаных байдарах. И даже говорить стали меньше, ибо рты чаще всего были заняты разжевыванием какой-нибудь еды.

А тем временем кончалось короткое лето, и на том месте, где раньше вылегали моржи, где жители Галечной косы запасались моржовым мясом на зиму, было пусто и уныло. Прибой полировал чистую гальку, перекатывал старые, оставшиеся от прошлых забоев сломанные моржовые бивни, слизывая покалеченные раковины, и, тихо шипя, откатывался назад, в холодное пустынное море.

И только киты по-прежнему хранили верность этому берегу и стадами плавали на виду у селения, играя высокими фонтанами, в которых дробилось солнце.

Возвращаясь в пустой байдаре, Армагиргин с нескрываемой ненавистью смотрел на них, на их гладкие огромные тела, медленно уходящие в пучину вод, и думал, какие, в сущности, это огромные туши, настоящие клады мяса и жира. Почему надо верить таким фантастически неправдоподобным рассказам старой Нау о китовом происхождении приморского народа? Почему именно киты — их предки? Не моржи и не тюлени? В конце концов, лахтак куда более смахивает на человека, особенно если он лежит на льду и смотрит на охотника. Именно это сходство и оказывается часто роковым для него. Подкрадывающийся охотник подражает движениям лахтака, и усатому тюленю кажется, что к нему приближается его сородич... Или — почему не волк предок человека? Волк живет на суше, ест мясное, как и человек, а эти огромные туши мяса и жира даже неизвестно чем питаются, ибо, насколько это известно людям, киты не едят ни тюленей, ни моржей...

Нет, если поразмыслить здраво, нет никакого сходства между китом и человеком, и, правду говоря, люди-то ни-

когда всерьез и не верили россказням выжившей из ума старухи...

И добыть-то их не составит большого труда, если напасть сразу тремя-четырьмя байдарами.

Так думал Армагиргин, и с каждым днем эта мысль укреплялась в нем.

Потом пришло время поделиться этими мыслями со своими сородичами. Удивительно, но и они признались, что давно думали так же, как и Армагиргин. А что касается сказок старой Нау, мало ли сказок о других зверях, где вороны разговаривают человеческими голосами, моржи поют песни и лисы строят настоящие яранги...

И все же что-то еще некоторое время удерживало Армагиргина. Может быть, то, что изредка все же попадались моржи и тюлени, людям было что есть, а может быть, старая Нау... Она была так слаба, что уже не выходила из яранги, почти не ела и разговаривала шепотом. Но все твердила о том, как родила китят, которые братья ныне живущим людям... Но никто уже всерьез не прислушивался к словам старой женщины.

В этот раз китов у Галечной косы было необыкновенно много. Они бороздили море у самой прибойной черты, обрызгивали радужными каплями тех, кто оказывался поблизости.

Армагиргин все еще надеялся, что моржи придут на старое лежбище и можно будет запастись мясом и жиром на зиму. Но на берегу было пусто, и моржовые стада не просто не вылегали на старое место, но остерегались и приближаться, далеко обходя его.

Каждый раз, проплывая мимо китового стада, Армагиргин мысленно примеривался то к одному, то к другому киту, высматривая наиболее уязвимые места. А на берегу мастерил большие копья и уходил с друзьями в тундру, где из мягкого дерна с глиной было изготовлено чучело большого кита.

Однажды, возвращаясь из тундры, Армагиргин шел мимо яранги, где жила старая Нау. Он услышал стоны старухи и вошел в чоттагин.

Старая Нау узнала его.

— Болеешь? — как бы сочувствуя, спросил старуху Армагиргин.

— Худо мне, — жалобно простонала старая Нау. — Иной раз ничего, а бывает так, словно кто-то колет меня.

Армагиргин вышел из яранги растерянный... Неужто удары его копья отдаются в теле старой женщины? Но ведь это невозможно и неправдоподобно! Может быть, кто-то рассказал о тайных упражнениях Армагиргина и товарищей, и старая Нау пытается предостеречь его от исполнения задуманного?

Китовое стадо паслось недалеко, на виду у селения. Оно было последнее, то самое, которому в предыдущие годы приносились жертвы. Киты ждали этого прощального жеста людей и подплыли ближе, как только байдары вышли в море.

Но вдруг стадо, почувствовав опасность, резко развернулось и двинулось прочь от берега.

— Коли ближнего! — закричал Армагиргин и первым кинул копье вперед, пронзив кожу молодого кита. Брызнула кровь, окрасив воду, и вслед за копьем Армагиргина полетели другие копья.

Но кит все еще был полон сил и быстро плыл вслед за своими товарищами, которые уходили в морскую даль, спасаясь от преследовавших их людей.

Армагиргин направил байдару наперерез стаду и отрезал раненого кита от остального стада. В израненное животное летели копья, уснащенные поплавками из шкур нерпы. Эти поплавки не давали нырять раненому, и кит, обессилевший от потери крови, замедлил ход.

Из многочисленных ран широким потоком лилась кровь, вид ее пьянил людей, и каждый сидящий в байдаре старался вонзить в кита еще что-нибудь острое.

Кит делал последние отчаянные попытки догнать свое стадо, но на пути стояли байдары с кричащими, размахивающими копьями людьми, и он, как бы смирившись со своей участью, остановился.

Тут его и добили. Привязали бездыханное тело к байдарам и поплыли к берегу.

Поднявшийся ветер позволил поднять паруса, и флотилия победителей двинулась к галечному берегу.

Плыли долго. Ночь уже давно накрыла берега, и наступила такая темень, что люди едва различали друг друга. На небе не было ни одной звезды, и даже луна не появилась в эту ночь.

Гордый Армагиргин сидел на корме передней байдары и правил длинным веслом.

На берегу охотников встретили радостными криками.

Армагиргин повелел, чтобы все расходились по своим ярангам.

— Кита разделаем утром, — устало сказал он.

Армагиргин медленно поднимался к себе.

Проходя мимо яранги, где жила старая Нау, он услышал стон. Армагиргин приподнял шкуру, закрывающую вход в жилище.

Старая Нау глянула на него горящими глазами и хрипло произнесла:

— Если ты сегодня убил своего брата только за то, что он не был похож на тебя, то завтра...

И тут голова старой Нау упала, и не стало вечной женщины, которая, по преданиям, пережила всех и смерть не могла справиться с ней.

...Рано утром мужчины с остро отточенными ножами спускались к берегу, чтобы приняться за разделку кита.

Впереди шел Армагиргин. Широко открытыми глазами смотрел он вперед.

Но где кит? Где эта огромная гора жира и мяса, которую они вчера приволокли?

Армагиргин сбежал к воде. У края прибоя виднелось что-то небольшое, омываемое волнами.

Кита не было.

Вместо него лежал человек. Он был мертв, и волны перебирали его черные волосы.

А далеко, до стыка воды и неба, простиралось огромное пустынное море, и не было на нем ни единого признака жизни, ни одного китового фонтана.

Киты ушли.



...И тогда отчаявшийся и измученный, потерявший человеческий облик несчастный, унесенный на льдине в море, превращается в тэрыкы — покрытого шерстью оборотня...

Из старинной чукотской легенды

1

Поднявшись на припорошенную ночным снегом льдину, Гойгой оглянулся. За грядой прибрежных торосов еще можно было различить яранги. На белом поле, окаймленном на горизонте синей зубчатой полосой дальних хребтов, жилища казались темными пятнышками, повисшими между небом и землей.

Каждый раз Гойгой останавливался на этом месте, чтобы кинуть последний взгляд на стойбище. И каждый раз сердце щемило от чувства нежной жалости к такому крохотному знаку жизни в белой пустыне. Так было и поздней осенью, когда только устанавливался крепкий лед, способный выдержать человека, так бывало в середине зимы, когда солнце напоминало о своем существовании лишь долгой, не гаснущей красной полосой на стылом, тусклом, темном небе... Так было и сейчас, в пору длинных солнечных весенних дней, в пору таяния снегов.

Исчезали яранги из поля зрения и как бы переселялись в сердце и в память охотника. На долгом пути к звериным следам, едва заметным на морском льду, он мог их мысленно созерцать.

Гойгой сошел со льдины, приладил к ногам лыжи-снегоступы и зашагал к синеющему вдали морю.

Каждой весной как бы заново начинается жизнь. Этой весной он нашел и познал женщину. Случилось это на прошлогодней траве тундрового пригорка. Вокруг еще лежали чуть просевшие сугробы, вышина неба была полна птичьего гомона, а в толще снегов чуялось рождение живой, текучей воды. Все это мешалось с ощущением необыкновенного восторга, блаженства и горячей нежности к Тин-Тин, к девушке, которая пришла с Дальнего хребта.

Теперь все три брата, трое жителей прибрежного стойбища на самом краю земного пространства, женаты. Старшие — Кэу и Пины — обзавелись семьями еще несколько лет назад.

Братья вели простую жизнь морских добытчиков. Не всегда удачна была охота, особенно зимой, когда мороз сковывал лед, не оставляя ни трещинки для нерпы. Приходилось варить старые лахтачьи ремни, глодать моржовые кости прошлогодней добычи.

Женитьба Гойгоя на дочери племени оленных людей сулила подмогу в трудное зимнее время, ибо, как говорилось, «у кочевых оленеводов еда сама ходит возле яранг».

До того как Гойгой познал женщину, он с радостью уходил в море. Но сегодня, неся в себе тепло недавней утренней близости, помня своим телом мягкость женской плоти, трудно было заставить себя больше не оглядываться.

Как хорошо, что в мыслях можно возвращаться к сладким утренним часам, когда твое дыхание смешивается с дыханием Тин-Тин, когда слияние тел горячо! Знают ли и ведают ли это птицы, звери, камни, реки, облака? Может, только человеку дано такое счастье?

Или нет? Тут не нужны слова: легкий трепет, неведомый ток, струящийся из-за прикрытых густыми ресницами глаз, говорит больше, чем долгие речи.

В воспоминаниях каждый уголок любимого тела волнует мысленным прикосновением, заставляет вспыхивать жарким огнем глубину сердца. Горячая кровь струится по

всему телу, рождая тепло нежности. Но прекраснее всего — глаза. Густая чернота таит в себе огонь, предназначенный только для избранного, круглое лицо, обрамленное черными, тугими, как китовый ус, волосами, меняется каждое мгновение, будто поверхность открытой воды под нежной ладонью весеннего ветра. И глаза, и лицо, и мелкие то появляющиеся, то быстро исчезающие морщинки у крыльев носа, и звонкий, как падающий на лед поток чистой воды, голос — все это вместе с внутренним необъяснимым теплом так хорошо, что голова кружится, будто сам вознесся на высоту и паришь над тундрой, над набухшими, еще не вскрывшимися реками, синими обнажившимися льдами бесконечных озер, над склонами гор с пробивающимися ростками новой травы, над черными камнями скал, на которых никогда не задерживается снег... Летишь над птичьими стаями, облаками, над изборожденным трещинами морским льдом, в благоговейной тишине у края лучей полярного сияния...

Гойгой с Тин-Тин еще не поставили своей яранги и жили у брата Пины, занимая угол мехового полога. Каждый вечер, забираясь в жилище, окутываясь нежным мехом оленьих шкур, они погружались в свой собственный мир, часто забывая о том, что в этом ограниченном оленьим мехом пространстве еще двое живых, быть может не меньше их любящих друг друга.

Но об этом не думалось в объятиях, в сладком слиянии, захватывающем дыхание.

Старшие братья иной раз незлобно посмеивались над своим младшим, и он краснел, стараясь не показать смущения.

Имя ее было Тин-Тин. Так называется прозрачный пресный лед, звонкий и хрупкий, играющий разноцветьем в лучах яркого весеннего солнца. Имя ее — самый прекрасный из всех звуков, какие доводилось слышать Гойгою.

Жизнь Гойгоя до женитьбы была ровной, как полет стрелы, пущенной из тугого лука. Лишь иногда по утрам, когда сознание освобождалось от сонного забытья, полного смутных сновидений, невнятных бормотаний, он чувствовал, что за завесой, отделившей сон от яви, осталось что-то таинственно-прекрасное. Но оно таяло, как легкое облако, оставляя чувство странной неудовлетворенности, напряжение в теле, которое долго держалось, иной раз причиняя настоящую боль. И все же Гойгой радовался

каждому своему пробуждению так, словно он заново рождался и впереди была целая жизнь. По вечерам, когда усталость валила с ног, уже думалось о новом утре, о новом пробуждении. Все радовало Гойгоя: рождение дня, когда яркая красная полоска прорывалась солнечными лучами и безмолвие огромного пространства наполнялось неслышимой торжествующей песней наступающего дня; мягкая моховая подстилка летней тундры, упруго пружинящая под ногами, словно отзывающаяся на твое прикосновение; журчание ручья, плеск волн; первый мягкий, еще ласкающий кожу прохладным прикосновением белый снег; зимняя метель, словно призывающая помериться силой; треск раскалывающегося под бременем набухшей воды речного льда...

Радовали Гойгоя и звери, и птицы, рыскающие, прыгающие, бегущие по тундре, ныряющие в водах рек, озер и морей.

В зимние вечера, когда угасал огонь, трепещущий над кусочком мха в каменной плошке-светильнике, из дальнего угла полога сочился голос старшего брата, повествующий о происхождении приморского народа, охотников на морского зверя, о зарождении племени пасущих оленей, о доблести и смелости настоящего мужчины, кормильца, добытчика, продолжателя человеческого рода среди множества зверья и безмолвной природы.

В ночных сказаниях звери и птицы говорили человеческими словами и утверждалось, что многие из них лишь приняли другое обличье по разным житейским причинам.

В один из пуржистых зимних вечеров услышал Гойгой поразивший его сказ о тэрыкы — оборотнях — бывших людях, превратившихся в волосатых чудовищ.

Повествование изобиловало страшными подробностями, и Гойгой постарался к утру забыть его, чтобы проснуться с радостным и чистым чувством нетускнеющей новизны жизни. Правда, потом, на охоте, когда он подползал с копьем-гарпуном к настороженному зверю, откуда-то из глубины сознания выплывал страшный рассказ и лежащий на льду лахтак казался человеком... Особенно это было поразительно и страшно, когда Гойгой ловил выражение звериных глаз.

С появлением Тин-Тин все эти страхи и утреннее тревожное состояние уступили место другим чувствам, пол-

ностью принадлежащим Тин-Тин, будущей охоте и последующему радостному возвращению, когда любимая ждала у порога жилища.

Гойгой чувствительной кожей лица и обонянием ощущал близость открытой воды. Она была впереди, за обрывающимся ледовым припаем, живая, зеленая, глубокая и таинственная.

Это совсем другой мир, разительно отличающийся от земного, населенный иными существами. Человеческий глаз видел лишь лежащее на поверхности, мысль проникала едва ли на глубину, достаточную для солнечного луча, а дальше был мрак, населенный загадочными существами, соперничающими своей причудливостью с миром, созданным воображением сочинителей волшебных сказок.

Мир морских глубин был враждебным и загадочным для человека. Вот почему морской охотник, очутившись в воде, становился беспомощен, словно иные, неведомые силы брали над ним власть. Мудрые старики утверждали, что это так и есть: оказавшийся в водной стихии уже не рассчитывал на спасение, покорялся своей участи.

Море искрилось под солнечными лучами, освещая бликами низко летящие птичьи стаи.

Чем ближе подходил охотник к воде, тем явственнее чувствовалось мощное дыхание океана, от открытой воды веяло свежим запахом воспоминаний о прошлогоднем лете, когда волны выбрасывали на берег длинные петли морской травы.

Гойгой подошел к высокому ледяному берегу. Вода то поднималась, то опускалась, будто дышала огромная, простирающаяся до самого горизонта грудь, и вместе с водой качались птицы, обломки льдин и лежащие на льдинах моржи.

То и дело выныривали лахтаки и нерпы, но держались далеко от ледового берега, вспугнутые охотником.

Солнце стояло по-весеннему высоко. Лишь на стыке неба с водой плыли то ли отдаленные льдины, то ли отдаленные облака. Воздух не двигался, но тишины не было — кричали птицы, шуршали льдины, плескалась вода, фыркали моржи. Все вокруг жило, радовалось жизни, пробуждению от зимней спячки, приходу тепла, весны.

2

Проводив мужа, Тин-Тин долго стояла возле яранги, наблюдая за отдаляющимся охотником. Гойгой становился все меньше, мелькая между торосов, надолго скрываясь за грядами нагромождений льдин, возникая на фоне чистого неба ясно видимым пятном. И хотя на нем была камлейка из выбеленной шкуры молодой нерпы, она все же выделялась среди льда и подтаявшего снега.

Вот Гойгой поднялся на высокую льдину. Он стоял там долго, и Тин-Тин казалось, что он издали смотрит на нее. Успокоившееся было сердце снова заволновалось, разгоряченная кровь бросилась в голову, затуманивая взор, вызывая сладостное чувство покорной слабости.

И все, что было совсем недавно в жарком меховом пологе, явственно вспомнилось, захлестнуло, как огромная мягкая волна нежности и счастья. Это было так сильно и неожиданно, что Тин-Тин пошатнулась, дыхание перехватило и она едва удержалась на ногах, уцепившись за ремень, на котором висел камень, удерживающий крышу яранги.

Когда глаза очистились от нежданной пелены, Гойгоя на вершине льдины уже не было. Будто его поглотила ледовая даль или он растворился в белизне пространства, как тает кусок белого снега, попавший в воду.

Тин-Тин вернулась в ярангу, взяла кожаные ведра и спустилась на морской лед. В лужах-снежницах с пресной водой отражалось голубое небо и солнце. Прежде чем набрать воды, Тин-Тин долго всматривалась в свое отражение, вспоминала лицо Гойгоя и мысленно разговаривала с ним. Все, что говорилось в стесненном чувствами сердце, никогда не произносилось вслух, ибо это было кощунственно. Множественные боги, расселенные по небесному своду, затаившиеся в горах, в камнях, в травах и цветах, зорко следили за поведением человека, готовые наказать его за невольный промах... А как хотелось сказать эти слова! Сказать, что нет слаще его прикосновений, тепла его мужественного тела, его кожи, лоснящейся, мягко прилипающей к твоей, женской коже, сказать, что нет прекраснее звуков, чем его прерывистое дыхание в мгновение горячего слияния, нет более приятного созерцания, чем бесконечно смотреть в глаза с огненной точкой на бездонной черноте зрачков, на лицо с мягкими, полными, еще сохранившими детские очертания юноше-

скими щеками, пухлые и мягкие, как перезревшая морошка, губы, темный пушок над верхней губой в глубокой ложбинке, лоб, обрамленный густыми черными волосами...

Мысленно наговорившись с мужем, Тин-Тин зачерпнула воды кожаными ведрами, сама испила холодной, ломящей зубы студеной влаги и направилась к яранге, в которой уже просыпались Пины и его жена. По положению младшей женщины в большой семье Тин-Тин обязана была исполнять самую тяжкую работу, но это ее нисколько не тяготило, ибо рождена она была в тундре, в оленном стойбище, где на женщине лежали куда более существенные тяготы — разбирать и укладывать кочевое жилище, собирать дрова для костра, часто с трудом выдирая из-под снега длинные петли стелющейся березки, ежедневно выбивать тяжелый меховой полог на снегу...

В приморском жилище на костре жгли выброшенные осенними штормами куски деревьев, выросших и погибших вдали от этих студеных берегов.

Тин-Тин готовила в холодной части яранги утреннюю еду и тихо напевала:

Ты растаял в ледовой дали угаснувшей искрой,
А тепло все ж осталось во мне.
Улетела гагара в поисках пищи в дальнее море,
Оставив в скалах гнездо.
Теплым своим дыханием я вновь разожгу огонь,
И ты вернешься назад.
И птицы стаей большой, оглашая окрестности криком,
Снова вернутся к гнездам своим...

Заколыхалась меховая занавесь полога, высунулась взлохмаченная голова Пины. Он вслушался в голос молодой женщины. Как она хорошо поет! О чем ее песня? О птицах. О чем же еще петь в эту весеннюю пору всеобщей радости?

Невольное чувство зависти шевельнулось в душе Пины, но он быстро отогнал его, будто непрошено приблизившуюся собаку.

И все же... Как быстро увядает женское тело. Давно ли его жена Аяна была такой же, как эта тундровая пришелица, а нынче уже нет в ней того огня, что не давал ночами спать. Еще совсем недавно Пины этого не замечал, пока в яранге не появилась Тин-Тин.

Может, это оттого, что в тесноте яранги жаркий огонь любви, полыхающий на расстоянии протянутой руки,

опалил его успокоившееся сердце и этот ожог тронул еще живые ткани, способные загораться от нежного прикосновения? Но только не от Аяны, которая не зачинала от мужчины, несмотря на его долгие старания. Груди ее потеряли прежнюю форму, потеряли упругость, обмякли и покрылись складками, как у моржа... С нею было уютно, и только... А вот Гойгою с Тин-Тин...

Пины пристально и ласково посмотрел на Тин-Тин.

Она отозвалась тихой улыбкой и перестала петь.

С ее приходом стало весело и солнечно в бездетной яранге. Звонкий голос вытеснил затхлые хриплые голоса, всем вдруг захотелось говорить чисто, и все, прежде чем сказать слово, старались прокашляться, изгоняя из своих легких ночной мрак.

— Ты пой, Тин-Тин, — сказал Пины. — Твоему голосу радуется и мое сердце.

Тин-Тин снова замурлыкала, но это была уже песня для всех, и в звучании ее не было той сладкой тайны, что в прежней.

Уйдут снега, обнажатся прошлогодние травы.
Зеленые копья новых трав поразят старую...
Новорожденная мышь проложит дорогу и выроет
Новую нору рядом с поднявшимся стеблем...
И яркий цветок улыбнется утреннему солнцу...

Поющая женщина по-своему прекрасна. Песня меняет ее облик, делает ее выше, стройнее. И даже когда она замолкает, песня еще долго живет внутри нее, обещая ласку, жаркие объятья, мягкость, которая убаюкивает и одновременно рождает ответную ласку...

Пины вышел из яранги и по привычке внимательно оглядел небо, горизонт, дальние вершины хребтов, кинул взгляд на морскую сторону, куда нынешним утром ушел Гойгой. Слабый ветер тянул с тундровой стороны, и в его дыхании уже чувствовалось приближающееся тепло наступающего лета, намек на талую землю, покрытую зеленой мягкой травой и яркими цветами.

Внешне ничто не предвещало изменения погоды, перемены ветра. Но опытный Пины знал, что весенняя погода, полная солнечного блеска, обманчива и коварна. Что-то происходит в недрах Природы, управляемой Внешними Силами, невидимое, неожиданное, непредвещаемое. Время такое — пора таяния снегов, пора смены времени года, наступление свободно текущей воды, земли, свободной от

снега, приход нового поколения жизни — растительного и животного.

Вот тянутся птичьи стаи — гагары, бакланы, утки, гуси, лебеди, журавли и всякая летающая мелочь. Они мчатся на весенние, пригретые солнцем скалы, укромные сухие кочки у тундровых озер, чтобы там отложить яйца и все лето терпеливо ждать рождения и возмужания нового потомства.

Лисы и волки в тундре роют норы для своих детенышей.

Олени уже родили телят и нынче пасутся на проталинах, выщипывая в каменистых осыпях свежие былинки, нежные голубоватые пучки ватапа — оленьего мха.

Морские обитатели тоже приноравливают рождение детей к этому времени — и нерпы, и лахтаки, и моржи, и киты, и белые медведи.

Только у человека дети рождаются и в стужу и при ярком солнце.

Пины с удивлением задумался об этом, не обратив внимания на маленькую тучку, повисшую над прибрежным холмом.

Во время утренней еды он думал о будущих дневных занятиях. О том, как они с братом снимут с высокой подставки кожаную байдару, снесут к морскому берегу и обложат ее там отяжелевшим весенним снегом.

Снег под лучами набирающего силу солнца будет понемногу таять, смачивая и смягчая кожу, придавая ей былую упругость и звонкость.

Потом будут принесены жертвы морским богам, покровителям и помощникам морской охоты, и в первую очередь — Великой Прародительнице, Женщине, которая родила людей от Кита Рэу.

Каждый раз, совершая этот древний, теряющийся в туманной дымке изначального существования людей обряд, жители морского побережья вспоминали легенду о своем происхождении, о том дальнем времени, когда древние киты почитались настоящими братьями людей и их запрещалось убивать.

Отголоском прошлого были и весенние жертвоприношения, сказания, и торжественный Китовый праздник, который отмечался каждый раз, когда после удачного промысла байдары притаскивали к берегу огромную тушу морского великана.

Весной один охотник приносил столько добычи, что

остальным не было нужды отправляться на морской лед. Хранилища для мяса и жира были наполнены, и человек шел к открытой воде часто для того, чтобы утолить свою охотничью страсть.

В стойбище было много дел: охотники готовились к летней моржовой охоте, женщины шили непромокаемые сапоги — кэмыгэт, плащи из моржовых кишок, готовили летнее легкое жилище на смену теплому зимнему.

Всем хватало работы. Только ездовые собаки лениво грелись на проталинах: кончилось их трудное время, кончился снежный нартовый путь, и лишь изредка летом их будут запрягать для того, чтобы перетащить тяжелый груз по мокрой тундре...

Пины развязывал задубелые от зимних морозов и ветров узлы ремней, которыми была закреплена байдара, и слышал, как из яранги продолжала звучать нежная песня, песня-зов, песня-тоска, песня-воспоминание о муже, ушедшем на весеннюю охоту.

Ты растаял в ледовой дали угаснувшей искрой,
А тепло все ж осталось во мне.
Улетела гагара в поисках пищи в дальнее море,
Оставив в скалах гнездо.
Теплым своим дыханием я вновь разожгу огонь,
И ты вернешься назад.
И птицы стаей большой, оглашая окрестности криком,
Снова вернутся к гнездам своим...

3

От долгого созерцания воды, ее яркого блеска быстро уставали глаза, и, давая им отдых, Гойгой обращал взор в голубое небо.

Иногда, забыв об осторожности, охотник менял положение тела, поворачиваясь вслед за полетом птичьей стаи к берегу, синеющему вдали. Он видел большой холм, возвышающийся над стойбищем, небольшое легкое облачко над ним. И тотчас все мысли обращались к яранге, к Тин-Тин...

Трудно было потом заново напрячь внимание и вернуться взором на пустынную поверхность моря.

Лахтак вынырнул неожиданно, неслышно вспоров воду.

Охотник застыл в неподвижности, лишь рука привычно сжала древко гарпуна. Все остальное произошло почти

мгновенно, и Гойгой пришел в себя лишь после того, как увидел рядом с собой, на синем льду, в подтаявшем окровавленном снегу усатую голову. Он смотрел в глаза морскому зверю, в которых еще отражалось небо, и они медленно задергивались туманом небытия.

Гойгой выдернул из еще теплого зверя гарпун и оттащил добычу подальше от открытой воды.

Куда же уходит то живое, что наполняет вот эту оболочку из кожи, жира, мяса, остывающих внутренностей и крови? Ведь если смотреть на умершего, будь это зверь, птица или даже человек, поразительно ощущение того, что из телесной оболочки ушло нечто существенное, может быть даже самое главное, что и было по-настоящему зверем, птицей и человеком.

Об этом говорилось в сказаниях, и в том сгустке мудрости рассказывалось, что ушедшие сквозь облака встречаются в новом мире. Они видят давно умерших, говорят с ними, однако мало кому удается вернуться обратно и поведать о виденном по ту сторону жизни...

Гойгой вздохнул и внутренне улыбнулся: он не знал страха смерти, ибо с детства был воспитан в убеждении, что здешняя земная жизнь — это лишь эпизод в вечности, краткое мгновение, которое проводит человек в бесконечных превращениях. Никто, разумеется, не знает, во что обратится он после своей кончины. Может, он станет вот таким лахтаком, который потом послужит пищей, одеждой и теплом будущим потомкам. Может, он станет птицей и будет зимовать в неведомых землях. Выходит, нет разрыва между прошлым, настоящим и будущим и разные обличья его сущности — всего лишь вехи в единстве Времени, у которого тоже нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, ибо Время — едино...

Без этого убеждения, почерпнутого из источника мудрости, невозможна полнота ощущения радости жизни... В этой радости, безбрежной и высокой, есть лишь одно облачко сомнения и беспокойства, как вон то облачко над береговым холмом: мысль о том, воссоединится ли он в новой жизни с Тин-Тин.

Скорее всего — нет. Ибо в этих же источниках мудрости утверждалось, что уходящие сквозь облака хоть и встречаются в новой жизни, но уже без земной, телесной любви. Они равнодушны друг к другу, как две плывущие в глубине холодных волн рыбины, как две травинки или два обломка льдины. Сущее обращается в человека, что-

бы познать любовь, женщину, соединиться с ней, родить потомство. Пребывание в человеческом обличье — исполнение предназначения среди многих других предназначений. Может быть, женщина причина того, что человек цепляется за жизнь, не хочет менять земное пребывание на другое, где блаженство может быть более утонченным и возвышенным, нежели прикосновение обнаженных тел мужчины и женщины?

Гойгой усмехнулся про себя: разве может быть другое блаженство, чем ощущение близости с Тин-Тин? Даже звучание ее голоса рождает в глубинах разума свет нежности, не говоря уже о другом — о томлении, которое переходит в сладкую боль ожидания соития.

Нет, Гойгой не хотел бы уходить из этой жизни ради другого, сомнительного блаженства, из тепла человеческого общения в бестелесное бытие. Быть человеком все же лучше всего, что бы там ни утверждали источники мудрости.

Солнце перемещалось по небу, измеряя негаснущий долгий весенний день. Тени от обломков старых льдин становились длиннее и заполнялись густой синевой, будто в них втекала жидкость, изливающаяся из самой пустоты воздушного пространства.

Тучка над береговым холмом давно превратилась в большое облако, да и неподвижность воздуха давно была нарушена поднявшимся легким ветерком. Но уходить от берегового припая не хотелось.

Рядом с лахтаком лежала молодая нерпа, окрасив яркой кровью лужицу под своей мордой. Гойгой встал с ледового сиденья, вынул костяной нож и сделал надрез на животе нерпы. Он вынул еще теплую, дымящуюся паром печень и утолил голод. В поисках пресной воды Гойгой удалился от края ледового берега и нашел лужицу на льду, образованную растаявшим снегом. Вода была ледово-холодная, вкусная. Гойгой пил и время от времени видел в зеркале воды свое отражение — обрамленное черными волосами круглое лицо, полные щеки, легкий пушок над верхней губой, который никак не хотел превращаться в тугие мужские усы, и темные глаза с горящей точкой посередине зрачка. Он смотрел в собственные глаза и вспоминал подернутые пеленой глаза убитой нерпы... И все же придет время, когда и его глаза затуманятся и он уйдет в другую жизнь, где уже не будет

Тин-Тин... Нет, Тин-Тин там может быть, но они будут как две холодные равнодушные рыбины в глубине темных вод...

Нет, Гойгой не боялся смерти, но все же ему не хотелось умирать ни сейчас, ни завтра, ни в далеком будущем, когда он будет глубоким стариком. Он просто не верил, что придет время и он будет равнодушен к Тин-Тин...

Но даже если случится такое — ради чего тогда жить? Чтобы просто дышать, ходить, поглощать пищу, забываться во сне, а потом пробуждаться?

Гойгой подумал: ведь жил же он раньше, до встречи с Тин-Тин, именно так, даже не подозревая о ее существовании. Именно так и было — дышал, ходил, ел, спал, а потом пробуждался...

Но тогда было ожидание, предчувствие того, что должно что-то обязательно случиться.

Сначала это было неосознанно, смутно... Сны тревожили воображение и даже возникали при бодрствовании так ярко, что пугали.

Когда он увидел Тин-Тин, сразу понял, что это и было то, что смутно снилось в предутренних синих сумерках. Все тревожно-сладкое растворилось в ее облике, в ее голосе, в ее взгляде и даже в ее походке. Что же это? Ведь с виду она обыкновенный человек.

Но только с виду. Разве впервые взглянув на нее, не ощутил в сердце своем жар Гойгой? И эти невидимые глазу лучи, которые, подобно туго натянутым струнам, протянулись между ним и ею, и по этим струнам потекло горячее, невыразимое, что тянуло их друг к другу, пока не бросило их в объятия.

Это — как высота бездны. Глянешь вниз, закружится голова и вдруг ощутишь сладостно-жуткое желание кинуться вниз. Но рассудок держит на краю обрыва. А тут рассудка не было. Был тихий, едва слышимый стон, на который отозвалась пуночка у берега ручья, — не бездна пропасти, а бесконечность неба, бесконечность никогда не испытанного ощущения.

Гойгой мысленно улыбнулся, обмыл ледяной водой испачканные в крови губы и вернулся на край ледового обрыва.

Он представил свое будущее возвращение с лахтаком и нерпой... Вот он идет, пробираясь между нагромождениями торосов, еще издали чувствуя взгляд Тин-Тин. Ее

еще не видно на фоне темных шкур яранги, но она там давно стоит в ожидании, держа в руке священный деревянный ковшик с пресной талой водой.

Она видит Гойгоя, потому что на белом ледовом припае человек заметен издали.

Он устанет от долгого пути по торосистому морю, от тяжелых закоченевших туш, которые придется тащить за собой, но едва увидит Тин-Тин, он почувствует прилив новых сил, словно нет у него больше за спиной ноши.

По мере того как он будет подходить, будет нарастать радость, как растет снежная лавина, сорвавшаяся с обрыва над морем. Она захлестнет все, затопит все, он не будет видеть ничего — ни яранги, ни собак, ни родичей своих — только Тин-Тин, ее солнечное круглое лицо и ее глаза.

Может быть, ради этого и живет человек? И человеческое бытие в череде всех других существований создано именно для таких вот переживаний, для возвышенной, острой до боли радости?

Нет, быть человеком — это прекрасно. Сами по себе очертания человека совершенны в стремлении к прекрасной законченности.

И печально, конечно, что потом наступает неизбежная старость, а за ней и смерть.

Смерть, которую разумом поборол Гойгой. Он ее не боится.

Но зачем смерть, если жизнь человеческая так прекрасна? Разве справедливо уничтожать красоту, ради создания которой природой положено столько сил?.. Неужто там, где творится изначальная сила жизни, никогда не возникает эта справедливая мысль?

И вдруг подумалось Гойгою: а если она, эта мысль, уже воплощается в жизнь и он, Гойгой, будет тем первым человеком, который познает бесконечность жизни, неисчерпаемость счастья... Для чего же Высшая справедливость и Целесообразность соединили его и Тин-Тин? Чтобы потом разрушить созданное? Но это так нелепо и несправедливо, что такого попросту не может быть!

Не может быть!

И Гойгой от этой неожиданной мысли вдруг ощутил такую силу, что готов был голыми руками раскрошить льды, стоявшие на его пути. Как ему хотелось видеть рядом с собой Тин-Тин в мгновение озарения этой мыслью!

Гойгой поднялся со своего ледяного сиденья. Время возвращаться. Лахтака и нерпы вполне достаточно для того, чтобы утолить тоску по свежему мясу.

Тем более и погода начала портиться. Небольшое облачко над холмом давно размазалось по всему небу белесой пеленой, пугающе похожей на то смертельное покрывало, что задергивало глаза убитых животных.

Ветер порывами бил в лицо, заставляя отворачиваться и смотреть на нахмурившуюся рябь с белыми пенными верхушками.

Гойгой связал ремнями лахтачью и нерпичью туши, надел на себя упряжь, взял легкий посох в руку и, пригнувшись, двинулся к берегу, оставляя позади себя начинающее закипать море.

Он довольно быстро прошел до первых торосов. Прежде чем отсюда посмотреть на берег и увидеть стойбище, Гойгой оглянулся: над морем сгущалась мгла, словно в наступивший полярный день неожиданно возвратился зимний мрак.

Но то, что он увидел, глянув вперед, сковало его страхом: все ледовое пространство, казавшееся прочным и незыблемым, теперь находилось во власти волн: припай оторвало от берега.

Гойгой сбежал с торосистой гряды, отцепил добычу и кинулся к воде, отделившей его от остальной части льда, все еще связанного с берегом.

Водная преграда уже была непереходима. До ледового берега невозможно закинуть ремень, чтобы подтянуться. Не было и подходящего обломка льдины, чтобы переплыть на нем рожденный ветром пролив.

Ноги Гойгоя ослабели, будто вдруг размягчились, растаяли кости, и он в бессилии опустился на лед прямо у плещущейся воды.

4

Тин-Тин все еще стояла у яранги.

Она не замечала, как вода лилась из деревянного ковшика, как ветер пытался вырвать из рук легкий деревянный сосуд.

До боли в глазах, до слез она всматривалась в торосы, ощупывая каждую складку ледового берега. Надежда вспыхивала каждый раз, когда взор натыкался на незна-

комое темное пятнышко, а в сердце вместе с ветром, вместе с надвигающейся мглой росла тревога.

Где ты, Гойгой?

Разве ты не видишь, как потемнело небо, как ветер, вырвавшийся из ущелий ненастий, помчался по весенней тундре, нагнал темные тучи, сорвался с берега и понесся к открытой воде, чтобы нагуляться на открытом просторе, где нет препятствий вольному, ничем не ограниченному движению?

Что же случилось с тобой?

Тин-Тин почувствовала прикосновение, обернулась и увидела Пины.

Он тоже был встревожен и, нахмурившись, всматривался в ледовую даль. Разум предполагал самое худшее. Но почему? Есть множество вполне объяснимых причин, которые могут задержать в море охотника. Большая добыча, трудная дорога по припаю, какое-нибудь незначительное недомогание — мог поскользнуться на льду и вывихнуть ногу... Или же дальний путь. Гойгой мог уйти далеко в сторону, к Северному мысу или же под Скалы. Пока оттуда добредешь до стойбища — без сил останешься, измотаешься так, что чуть ли не ползком одолеваешь прибрежную гряду торосов. А то мог попасться и белый медведь, и Гойгой увлекся погоней за ним. Скорее всего так и есть. Гойгой собирается строить свою ярангу, но для постройки ему еще многого не хватало, в том числе и шкур белого медведя для зимнего полога.

Все эти соображения Пины высказал встревоженной Тин-Тин, однако тем лишь усилил свое беспокойство: ветер был такой, что мог запросто оторвать лед, ставший непрочным над взволнованным весенним дыханием океаном.

— Ты иди в ярангу, — сказал Пины. — А я поднимусь на Холм и посмотрю оттуда на море.

Тин-Тин повиновалась. Пока она жила в яранге Пины, его слова, его пожелания были законом точно так же, как для самого Пины высшим законом были слова старшего брата Кэу.

Вот почему, направляясь на вершину Холма, Пины сначала завернул в ярангу Кэу и сказал, что Гойгой не вернулся с моря.

И для Кэу задержка любимого младшего брата означала лишь одно: ветер оторвал кусок припая и несет его в открытое море. Конечно, ветер рано или поздно пере-

менится, подует к берегу, пригонит обратно льдину. Но велика ли льдина, на которой Гойгой, и долго ли будет дуть ветер от берега?.. А если Гойгой разделит печальную участь многих безвестно пропавших в море?.. Кэу вздрогнул от этой мысли и усилием воли отогнал ее.

Он вышел из яранги, кинул взгляд на Холм, по склону которого поднимался Пины.

На первый взгляд в море ничего не изменилось. Лишь под потемневшим небом ледовый припай обрел серый цвет и в обширных пресных лужах от растаявшего снега больше не блестело отраженное солнце. Лед оторвало где-то за второй или даже за третьей грядой торосов.

Об этом даже подумать страшно... Кэу своими глазами никогда не видел тэрыкы... Тэрыкы-оборотня, в которого превращается унесенный на льдине человек.

Есть множество поверий, которые принимаешь, ни разу ни опытом своим, ни жизнью своей не проверив их. Может, все это далекая сказка, оставшаяся в веках, прошедших с начала возникновения приморского народа? Такая же древняя и больше не повторившаяся, как легенда о происхождении племени морских охотников, якобы рожденных от любви женщины по имени Нау и Кита Рэу?

В привычках людских распространять один-единственный случай на всю жизнь, как бы предостерегая людей от повторения... Может, и было такое, когда унесенный на льдине человек превратился в тэрыкы. И тогда решили люди, что отныне всегда так и будет... Да, может, и было раз, но больше такого не будет, как не было больше любви кита к женщине.

Пины поднялся на вершину Холма и глянул в море.

Только вчера вечером он был здесь и хорошо помнил очертания ледового берега, простирающегося от твердой, еще покрытой снегами земли до открытой воды. Теперь картина была иной: будто кто-то огромным, остро отточенным ножом взял и отрезал кусок припая и этот кусок уже успел раздробиться на мелкие обломки, уплывающие в море, кипящее под сильным ветром.

Еще раз взглянув на белые обломки льдин, смешанные на горизонте с низко нависшими облаками, Пины заспешил вниз, к ярангам.

Кэу внимательно выслушал Пины.

— Надо поглядеть в прибрежных торосах... Может, ему удалось пересечь водную преграду... Иди в торосы, Пины.

Прихватив лыжи-снегоступы, палку с острым щупом на конце, Пины зашагал к морю.

У яранги неподвижно стояла Тин-Тин.

Странные, удивительные отношения у Гойгоя с женой. Иной раз, наблюдая со стороны, Пины чувствовал нечто вроде зарождающейся зависти, какое-то беспокойство, смешанное с удивлением. У молодой пары все время шла какая-то своя игра. Они мало говорили между собой, можно даже сказать — больше молчали, но между ними, казалось, шел непрерывный безмолвный разговор, неутихающее мысленное общение.

Тин-Тин еще ничего не сказала, однако Пины видел, как она обеспокоена, как внутренне напряжена, будто в ожидании удара.

Она проводила Пины молчаливым, но молящим взглядом и стояла до тех пор, пока тот не скрылся за первой грядой торосов.

Пины сразу же набрел на следы Гойгоя, ведущие прямо в открытое море. Теперь уже не было никакого сомнения в том, что он направился к кромке льда и теперь, унесенный ветром на льдине, он с тоской смотрит на удаляющийся берег.

Пины поднялся на береговой торос и внимательно оглядел ледовую окрестность: ничего живого не попалось в поле зрения. Во всем видимом пространстве хозяйничал набирающий силу ветер. Если он продлится еще несколько дней, от ледового берега ничего не останется и открытая вода подступит к самому берегу, к Галечной косе, на которой погребенная под тающим снегом лежала кожаная байдара.

В яранге Кэу шли приготовления к вопрошанию морских духов и богов-охранителей.

Тин-Тин мелко нарезала на деревянное блюдо-корытце жертвенное угощение — вялившееся всю зиму оленье мясо.

Кэу облачался в чистые одежды — надел мало ношенную пыжиковую рубашку, сшитые мехом внутрь штаны из камуса — шкуры с ног оленя, поверх всего — белую кухлянку, украшенную бахромой из длинной, крашенной охрой шерсти.

Над костром грелся ярар — бубен, обод с натянутым на него расщепленным моржовым желудком. Время от времени смачивали водой нагретую кожу и осторожно трогали кончиками пальцев, пробуя звучание.

Старший брат Кэу имел доступ к богам, к их тайнам, к помыслам, мог говорить с ними, общаясь не столько словами, сколько через неслышимые мысли... В свое время все это перейдет к Пины, и поэтому он, сказав в двух словах об увиденном в море, принялся помогать Кэу.

Пины прислушивался к заклинаниям, которые Кэу произносил тихим, едва слышным голосом, и кощунственно думал о том, что все эти мольбы, просьбы, увещевания лучше выкрикивать с силой, чтобы их могли услышать на дальних расстояниях, чтобы дошли они до самых укромных уголков, где только могли обитать все эти неземные и невидимые существа.

Кэу принял из дрожащих рук Тин-Тин деревянное блюдо с жертвенным угощением и вышел из яранги.

Усилившийся ветер кинул отросшие волосы непокрытой головы на лоб, закрыл взор, но Кэу хорошо знал, как нужно встать. Поначалу он стоял лицом к Восходу. Оттуда начинается рассвет, и именно на этом краю небосвода Птица-Провозвестница каждое утро проклевывает сначала маленькую дырочку, в которую начинает сочиться утренняя заря, а потом расширяет ее, чтобы Солнце могло выйти из своего убежища и осветить землю.

Зимой Птица-Провозвестница слабеет и долго трудится, прежде чем выклевывает широкую дыру, достаточную для опухшего, замерзшего, красного зимнего солнца... То ли дело весной и летом! Солнце полно силы, и бывают такие дни, когда оно не уходит за горизонт, — едва коснувшись нижней кромкой диска воды, оно снова взмывает в небо.

Одарив священным угощением и Юг, и Закат, и Север, и Восход, Кэу возвратился в жилище и взял нагретый и смоченный бубен.

Сначала тихий звон поплыл по дымным волнам, поднимающимся над костром, выплеснулся в дыру в крыше и растекся, растворился в полном ветра пространстве.

Эта песня своими истоками уходила в сумерки изначальной жизни морских охотников, и некоторые ее слова и намеки не были понятны. Но почему-то именно эти строки и казались обладающими наибольшей силой, воздействующей на богов.

Ветром полно все вокруг, упругим и сильным.
Ввысь возносится лоскут белой нерпичьей кожи,
И солнце, застыдившись вечной своей наготы,
Укрывается им, накинув его меж лучей...

Все живое уходит в норы свои, избегая ненастья,
И лишь человек в наступающей тьме ищет просвет,
Ибо вечная тьма — это гибель ему...
Обиталище разума, вечно движущегося
По Вселенной, меж звезд и земных камней,
Он мечется, не зная своего предназначенья,
И с неответным вопросом уходит в Пространство...
Но дай человеку исполнить назначенное ему на земле,
И если воля твоя такова — не будем громко роптать.

Пины слушал, запоминая каждое слово, и, чувствуя щемящую боль в груди, видел, как катится по темной, освещенной отблеском костра щеке Тин-Тин искорка: это в прозрачной слезе отражался огонь.

5

Трудно сказать, сколько просидел Гойгой на краю льдины, оцепенело уставившись на медленно скрывающийся в пелене надвигающегося тумана удаляющийся берег.

Все словно остановилось в нем, и даже в ушах не слышен шум крови. Не было даже мыслей. Иной раз Гойгою казалось, что весь он чужой самому себе, а мысль покинула его тело и заблудилась, исчезла, растворилась, унеслась с ветром.

Вокруг все стало серо-белесым, словно и не было яркого солнца, сверкающего льда, играющего отраженными бликами водного зеркала. Окрестность обрела унылое однообразие, и даже шум стал ровным, плоским, сплошным.

Вместе с серым настроением внутрь тела пробирался серый промозглый холод, охватывая сначала конечности, а потом грудь, спину, каким-то образом просачивался во внутренности, в самое сердце.

Гойгою казалось, что он видит сторонним взглядом, рассматривает сам себя издали, сочувствуя охваченному горем и отчаянием человеку у края обламывающейся льдины. И этому стороннему наблюдателю приходила мысль: если человек так и будет оставаться в оцепенении, он может замерзнуть, навеки закоченеть.

Гойгой встрепенулся и встал.

Мучительно было расправлять закоченевшие суставы, шевелить омертвевшими пальцами рук и ног.

Но Гойгой двигался, сжимая зубы до скрипа, терпя боль. Да, он не боится смерти, но время еще не пришло

для него. Он только вкусил от настоящей, подлинной красоты человеческой жизни, обрел и понял смысл существования человека на земле — и вдруг уходить? Туда, в небытие, в мир, расположенный в окрестностях полярного сияния?.. Еще рано. То не предвестие смерти посылает ему судьба, а испытание: достоин ли он великой радости и любви, что обрел, соединившись с Тин-Тин?

Еще может перемениться ветер и пригнать льдину к берегу.

А пока — надо терпеливо ждать и всеми силами поддерживать в себе жизнь, чтобы предстать перед глазами Тин-Тин не жалкой жертвой, а победителем!

Гойгой вернулся к добыче, подтащил тушу лахтака и нерпы к середине льдины, к тому месту, которое показалось ему прочным. Исследовал остаток ненадежной тверди, измерив ее шагами вдоль и поперек, и понемногу успокоился. Льдина была невелика, но прочна. Это не обломок только образовавшегося в этом году молодого льда, а старого пака, который дрейфует из года в год, следуя ветрам и течениям полярного моря.

Правда, ветер усиливался и холодные волны раскачивали льдину, словно кожаную лодку.

Гойгой освежевал туши нерпы и лахтака, снял с них шкуры вместе со слоем жира и устроил из них подобие ложа. Это, конечно, не мягкая оленья шкура, но сквозь жир морского зверя уже не проникнет ледовая стужа. Еды надолго хватит, воду можно добывать на этой же льдине — торосы на ней давно обветрились и потеряли почти всю морскую соль... Остается терпеливо ждать.

Хотя солнце в это время года и ненадолго опускалось за горизонт, но по времени уже была пора сна — Гойгой чувствовал это по неимоверной усталости, по сухому жжению в глазах.

Он уселся на растянутые на льду шкуры и смежил веки.

Сначала ярко, словно наяву, перед закрытыми глазами возникло лицо Тин-Тин, подняв со дна успокоенной было души воспоминания. До острой боли в груди Гойгой пытался удержать ее образ, но он исчезал, скрываясь в хаосе нагромождающихся друг на друга мыслей...

Что там, в стойбище? Что подумали братья, не дождавшись его возвращения? Исполнили ли они священный обряд перед богами?

Потом вдруг мысли обратились к прошлому, к расска-

вам, в которых говорилось о попавших в беду охотниках... В этих повествованиях было мало веселого. Тот, кто избегал гибели и возвращался в стойбище после долгих и тяжелых приключений, обычно не склонен был распространяться о своих переживаниях. Самые подробные и красочные рассказы были о тех, кто никогда не возвращался, кто навеки остался в пучине морской или замерз в пургу.

Гойгою довелось не раз слышать о том, что, согласно древнему обычаю, если охотники оказывались в воде во время байдарной охоты, старейший и самый опытный умерщвлял тех, кто еще мог держаться на воде, чтобы избавить их от дальнейших мучений.

Но чаще всего рассказывалось о тех, кого унесло на льдине.

Они плыли долго в открытом море, испытывая лишения и голод, истощаясь от холода и страданий. Иные попадали прямо в иной мир, возносясь сквозь облака в окрестности полярного сияния, в обиталище умерших. Другие высаживались на неведомые земли, где царило вечное тепло, где море никогда не замерзало и ласково плескалось у берегов. Высадившийся на сушу морской охотник долго блуждал по заросшему высоченной травой берегу, среди неведомых растений и деревьев, убегая от преследовавших его диких зверей, пока не натыкался на людей. Но язык чужеземцев был иной, и они не понимали невольного пришельца. Бывало, что они убивали его, а иногда обращали его в бессловесного раба, селя его рядом с собаками.

Бывали среди несчастных и удачливые. Они высаживались в сказочном краю вечного лета и вечного счастья. Их встречала на берегу неземная красавица, которая тут же становилась женой и вела охотника в просторную ярангу, кормила лакомствами... Рождались дети, старел чудом спасшийся охотник, но в сердце у него все равно жила память о покинутом стойбище, о близких и родных... Такой чаще всего умирал от тоски по родине.

Более всего было страшных рассказов о тех, кто, претерпев лишения и голод во льдах, дичал и обращался в тэрыкы-оборотня... Даже если он и высаживался на берег, он уже не мог жить среди людей. Обросший шерстью, озверелый, он бродил вокруг стойбищ, воровал мясо, убивал тех, кто попадался ему на пути... Это самая страш-

ная участь, какая могла постичь унесенного в море охотника.

Думая обо всем этом, Гойгой окончательно потерял сон. Он встал со шкур и отправился на край льдины взглянуть в сторону скрывшегося во мгле берега.

Гойгою показалось, что ветер изменил направление. В эту пору изменчивости природы такое часто бывает. Может быть, там, на берегу, старший брат Кэу умолил богов проявить милость и позволить Гойгою спастись?

Если бы это было так!

А почему нет? Ведь на берегу его ждет Тин-Тин!

Гойгой снял с головы малахай. Спереди, в коротко обстриженной шерсти виднелась полоска замши, окрашенная охрой. На нее Тин-Тин нашила оленьими жилами дырчатый камешек, чтобы вдали Гойгой мог вспомнить ее, сняв с головы малахай. Сами по себе полоска замши и камешек ничего не значили, только то, что они были нашиты Тин-Тин. Но если бы Гойгою надо было расстаться с малахаем, он оторвал бы от него кусочек крашеной кожи с камешком, который для него дороже всего на свете сейчас в этой серой, сырой пустоте, наполненной упругим, живым, враждебным ветром.

Холодный ветер не остудил, но освежил голову, прояснил мысли. Надо гнать от себя мрачные думы, заботиться лишь о том, чтобы выжить и человеком вернуться в родное стойбище.

Гойгой усилием воли вызвал в памяти облик родных яранг...

Признак жизни живой
Меж двух вод — соленой и пресной,
Горсть черных яранг, покрытых кожей моржа...
То обиталище человека,
Жилище тех, кто ждет
Возвращающегося охотника...
Будь неутомим и силен, добытчик,
Будь упорен, следуя следом зверя:
Ждет тебя мать, старый отец и младшие братья,
Ждет тебя та, что стала частью сути твоей...

Гойгой произносил эти слова громко, чтобы они пронзали надвигающийся туман, отгоняли призраки старых легенд. Чем слышнее был странный, пугающий шорох, что слышался позади него и на который он боялся оглянуться, тем громче он пел.

6

Весенняя пурга часто бывает куда злее зимней. Ураганный ветер так силен, что поднимает отяжелевший, напитанный влагой снег и удар по лицу сгустком ветра и мокрого снега может оставить заметный синяк.

В такой день все живое хоронится, прячется, зарывается в снег, ищет убежище. И человек в такую погоду без крайней нужды не покидает своего жилища, прислушиваясь к скрипу ремней, удерживающих моржовую крышу, к шелесту снега и вою ветра.

Тин-Тин выбралась из яранги и, пряча лицо от ударов мокрого снега, поползла к мясному хранилищу: надо принести моржового мяса и жиру для светильников.

Хранилище было завалено тяжелым мокрым снегом, и Тин-Тин пришлось ногами и руками откапывать лопаточную китовую кость, служившую покрышкой.

В лицо пахнуло подтаявшим жиром и мясом — прошлогодняя моржатина к весне становилась слабой. Тин-Тин вытянула кусок и тщательно прикрыла хранилище лопаточной китовой костью.

Притащив мясо в ярангу, отправилась за снегом для воды. Большое кожаное ведро, сшитое тонким лахтачьим ремнем, наполнилось ветром и потащило Тин-Тин к морскому берегу. Женщина упала на снег, костяным топориком она уцепилась за сугроб и остановилась.

Ветер врывался в легкие и надувал их, сбивая дыхание. Это вызывало надрывный кашель, и слезы выступали на глазах, смешиваясь с тающим снегом, затуманивая и без того ограниченный обзор.

Тин-Тин набила отяжелевшим снегом ведро и почувствовала себя увереннее: теперь ведро держало ее на земле и ветер уже не мог унести легкое тело.

Тин-Тин наладила дыхание, отвернулась от ветра и не спешила возвращаться в ярангу, вслушиваясь в грохот бури.

...Вернулся бы, пусть какой ни есть, лишь бы живой, с твоим голосом, с твоим теплом, ласковым дыханием и глазами, в бездне которых тонешь, будто в теплой воде летних тундровых озер. Каково тебе одному на этом жестоком ветру, среди льдов, сквозь толщу которых чувствуешь бездонную глубину холодной воды, мрак и забвение!

Ветер выл на разные голоса, но в них Тин-Тин различала ответы Гойгоя. Мало было между ними сказано, но сейчас Тин-Тин отчетливо слышала чистую, пересекаемую воздухом речь Гойгоя:

...Из далекой морской дали, от плывущих по воле волн льдин я протягиваю к тебе руки в рваных оленьих рукавицах, так тщательно и заботливо тобой сшитых. Пальцы зябнут; наливаясь тягучим тяжелым холодом, стужа пронизывает тело, и лишь мои мысли в теплых воспоминаниях о твоих нежных прикосновениях.

Тин-Тин насторожилась, подняла лицо к небу, туда, откуда звучал переливчатый голос Гойгоя.

...Слышу, слышу тебя, Гойгой. Если ветер доносит до меня твой голос, значит, ты жив. Как радостно, что грудь твоя полна живого дыхания, горячая кровь бьется в твоих жилах, живые глаза смотрят на не видимый тобой берег, где я тебя жду... Знай, я тебя жду и буду ждать, пока ты въяве не появишься передо мной. Знай, что никогда не усомнюсь в тебе, не предам тебя мыслью о твоей гибели. Разве может умереть то, что есть между нами, то, что родилось от прикосновения наших тел?

...Как полон значительности каждый день, который мы прожили вместе! Только теперь я это понимаю. С самого первого дня... И то, что я помню и что теперь вспоминаю, — все это поддерживает во мне веру в спасение и веру в будущую встречу. Здесь, на морском ледовом просторе, ты все равно со мной, хотя нас разделяет ветер и пространство холодного моря... Ты слышишь меня, Тин?

Да, один лишь Гойгой называет ее коротким именем — Тин... Значит, это он!

...Мне нужно знать и слышать, что до тебя доходят мои слова, что все, что сейчас между нами, — настоящее общение, разговор в невидимых сферах...

...Радость моя далекая и боль стесненного сердца! Я слышу тебя, я жду тебя здесь на берегу, под ураганным ветром, и никто не заставит меня поверить в то, что ты погиб. Я буду тебя ждать все время, если даже придется ждать тебя всю жизнь!

Гойгой, не обращая внимания на хлещущий по лицу снег, улыбался...

Пины, встревоженный долгим отсутствием Тин-Тин, вышел из яранги и пополз по ветру. Он знал, где женщина брала снег для талой воды.

Ему не хотелось покидать теплое жилище, но в яранге была тревога.

Не хватало еще, чтобы женщину унесло в море. И такое бывало на этом незащищенном берегу. И зачем выбрали такое место для поселения? Куда лучше приткнуться под скалы или выйти подальше в тундру. Но будто эта Галечная коса священна: здесь Кит Рэу стал человеком и зачал в береговой женщине сначала себе подобных китят, а потом и людей — будущих предков Пины... Чего только не говорят в старинных преданиях! В них столько чудес, что, чем дальше, тем труднее верить в бесконечные превращения, перемещения на огромные расстояния без видимых усилий... Но где же она, эта Тин-Тин?

Впереди что-то мелькнуло в однотонном белесом потоке, и в тот миг в вое ветра Пины показался человеческий голос. Нет, это не был голос кричащей от страха и зовущей на помощь Тин-Тин. Это был голос Гойгоя, и в первое мгновение Пины обрадовался: значит, брат на берегу, выбрался на твердь, нашел путь домой! Но, приблизившись к Тин-Тин и всмотревшись, Пины не увидел брата. Одна Тин-Тин, вцепившись в кожаное ведро и странно подняв голову, наподобие воющего пса, что-то говорила нараспев. Ветер развевал ее растрепанные волосы, нежное красивое лицо распухло и скривилось от жестоких ударов летящего снега и кроваво покраснело. Безумно горящие глаза, полные сумасшедшей радости, блуждали.

— Тин-Тин! — позвал Пины.

Женщина не слышала зова. Тогда Пины схватил ее за рукав и потянул к себе.

— Тин-Тин! — закричал он ей в ухо. — Ты его видела?

— Я его не видела, но говорила с ним, — счастливо улыбаясь, ответила Тин-Тин. — Он далеко в море, на отдельно плавающей льдине. Ему трудно, но он верит, что выберется на берег... Он верит...

«Значит, его голос мне только почудился», — с неожиданным облегчением подумал Пины и крепче взял за рукав Тин-Тин.

Она едва могла идти. Пины пришлось тащить не только кожаное ведро со снегом, но и Тин-Тин. Он крепко прижал к себе мягкое женское тело и вдруг с неожидан-

ным стыдом почувствовал острое мужское желание... Как же так? Ведь Тин-Тин — жена родного брата.

— Он теперь знает, что я его жду, — захлебываясь от ветра, говорила Тин-Тин. — Я обещала ждать всю жизнь, если надо...

«Если Гойгой не вернется к уходу льда от берегов, тогда мы справим Поминовение и тебе придется перейти в ярангу Кэу, — мысленно отвечал ей Пины. — Так повелевает обычай: когда погибает брат — старший берет заботу об оставшейся семье».

В холодной части яранги в потухающем костре играл язычок пламени.

Тин-Тин смущенно отряхнулась, выбила снег из мехового кэркэра, из собственных волос. Здесь, в теплом дыму человеческого жилища, к ней понемногу возвращался привычный облик, привычное состояние молчаливости и погруженности в себя.

Пины поглядел на нее: Тин-Тин была еще смущена и прятала взор.

Воспоминание о неожиданно возникшем желании остро кольнуло в сердце мужчину.

Уже из полога, из теплоты нагретых оленьих шкур, он услышал ее пение:

Есть много сладостного в жизни:
Красота утра и радость пробуждения,
Музыка воды, бегущей по камням...
Живые краски осенней тундры,
Новорожденные телята у ручья...
Есть много сладостного в жизни,
Но слаще нет надежды
На будущую встречу...

7

Ветер не слабел. Льдина уменьшалась: в этом Гойгой убеждался, чувствуя, как усиливается качка. Иногда думалось о том, что ненадежное ледовое убежище истончается со дна, подтачиваемое теплыми водами весеннего моря.

Одежда давно промокла и пропиталась соленой водой. Отяжелевшая, она давила на плечи, тянула к неподвижности. Но двигаться надо. Покой убаюкивал, сулил сладкую дремоту, и Гойгой отлично понимал, чем это может

кончиться: он попросту больше никогда не проснется. Так, во сне, уйдет без страданий сквозь облака, без надежды когда-нибудь увидеть Тин-Тин.

Гойгой стряхнул с себя дремоту и ходил по льдине, горько думая о том, что ему не грозит опасность заблудиться и потерять дорогу на этом крохотном кусочке ненадежной ледовой тверди.

Проникшая сквозь одежду сырость понемногу нагревалась от движения, и дрожь унималась.

Гойгой теперь внимательно прислушивался к ветру, надеясь снова услышать голос Тин-Тин... Но чаще он слышал самого себя, свои собственные мысли. Это было удивительно и поначалу жутковато, но Гойгой понемногу привык и к этому.

Он сам себе рассказывал о детстве, о сладостном сне в весеннюю пору, когда его будил в яранге, в мягких теплых шкурах солнечный луч. В ресницах рождалась радуга, и так не хотелось вылезать из теплой постели, так хотелось растянуть удовольствие пробуждения, но свет звал, манил. Может быть, невидимое возмужание и состояло в том, что мальчик ложился спать с мыслью о завтрашнем дне, о будущем, когда он сможет наравне с настоящими мужчинами уходить в море, добывать пищу.

Он с завистью смотрел на тех, кто садился в кожаную байдару, отправляясь в открытое, сливающееся с небом море. Он помнил часто задаваемые им вопросы: что там? можно ли дотронуться до кромки неба? чем удерживается вода? почему она не выливается и держится в границах берегов?

И каждый раз ему отвечали: вот вырастешь — и все сам узнаешь.

Он рос и понимал, что есть вопросы, на которые нет точного и вразумительного ответа, что множество тайн окружает существование человека на земле. Он смутно догадывался, что эти тайны каким-то образом и составляют основу существования людей. Человек молчаливо признает, что не надо пытаться разгадывать эти тайны, а надо примириться с тем, что они есть... Поначалу разум противился этому, а потом свыкся. И чем меньше Гойгой задавал вопросов, тем он чувствовал себя более зрелым и взрослым.

И все же воспоминания о детских годах с их жадным любопытством были самыми сладкими, если не считать той поры, когда в жизнь Гойгоя вошла Тин-Тин.

Близко подходить к краю льдины Гойгой опасался, да он и не мог бы этого сделать — волны хлестали через торосы и порой окатывали Гойгоя с головы до ног. Соленая вода съела жалкие остатки снега на льдине, сам же лед пропитался солью и плохо утолял жажду.

Хорошо, что есть еда и уж во всяком случае в ближайшее время Гойгою не угрожает голодная смерть. Нерпичья туша и туша лахтака — это целое богатство. Когда стихнет буря и успокоится море, можно будет попытаться добыть огонь и зажечь жировой светильник: кремень и огниво у Гойгоя тщательно запрятаны в кожаном охотничьем мешке. Тогда можно будет и поспать. Не вечно же будет ненастье, когда-нибудь да проглянет солнце. Это удача, если можно это назвать удачей, что Гойгоя унесло в весеннюю солнечную пору, а не зимой, когда мало солнца и свирепствуют морозы. Если бы это случилось зимой — тогда верная смерть.

Гойгой спотыкался, падал, вставал, но не решался останавливаться, чтобы дрема не захватила его, не окутала его опьяняющей сладостью, сулящей вечное забвение и освобождение от страданий, холода и сырости.

Может, и поддался бы этому Гойгой, который не боялся смерти, если бы не Тин-Тин... Где-то есть Высшие силы, которые вселяют уверенность в спасение... Быть может, все это и послано ему, чтобы испытать его преданность жизни.

Стоило чуть замедлить шаги, как остывала отсыревшая одежда и отвратительно и склизко прилипала к телу. Уж который раз Гойгой обошел льдину, пересек ее вдоль и поперек, уже дыхание стало неровным и прерывистым... Надо все же немного посидеть, съесть кусок сырого мяса и жира. Нутро тосковало по горячему мясу, теплому питью, но пока ветер и сырость — и речи не может быть, чтобы запалить огонек. Да и в такую погоду лучше не прикасаться к кремню и сухому мху — можно ненароком замочить, и тогда — прощай навсегда живой огонь!

Какая-то большая тень мелькнула перед Гойгоем, невольно вызвав мгновенный страх. Человек оцепенел, пытаясь всмотреться и понять, что же это такое. Понемногу рассудок пересилил слабость, и Гойгой медленно двинулся к тому месту, где лежала добыча.

Кто-то разворошил сложенные туши лахтака и нерпы. Кожи, настланные в ледовом углублении, тоже оказались потревоженными. Внимательно исследовав туши, Гойгой

увидел, что от нерпы вырван довольно изрядный кусок. Сначала Гойгой с ужасом решил, что льдину посетило чудовище кэле, охотившееся за живой человеческой печенью. Но потом увидел отчетливый след — это был умка — белый медведь.

Откуда он мог появиться здесь, среди бури и летящего мокрого снега? Видно, замешкался на припае, не успел уйти на север, и вот его, как и Гойгоя, унесло в открытое море. Но как же он не видел умку раньше? Может, зверь прятался в торосах, испуганный близостью человека, или же приплыл с другой льдины, привлеченный запахом мяса?

Гойгой некоторое время в растерянности стоял, не зная, что дальше делать.

Придется теперь сидеть здесь, стеречь еду.

Гойгой приготовил копье, достал костяной, остро отточенный нож и уселся на шкуры.

Стоило ему немного расслабиться, как дремота заволокла сознание и картины прошедшей жизни снова встали перед глазами как живые. Гойгой видел не только поразительно красочные картины, но ему чудились и голоса, которые в точности повторяли давно забытые разговоры.

Вот Тин-Тин с развевающимися волосами убегает в тундру, и ее звонкий смех смешивается с птичьими голосами, вплетается в звон журчащего ручья. Гойгой несется за ней, перепрыгивая с кочки на кочку. Земля пружинит под ногами, живая, податливая, надежная.

Когда Гойгой очнулся, он увидел лишь тень, отбегавшую к краю льдины. Схватив копье, он бросился за умкой, но поскользнулся и упал на льдину, едва увернувшись от острия собственного копья. Умка исчез, растворился в пространстве ветра и снега.

Гойгой на всякий случай немного подождал на краю льдины, не обращая внимания на ледяные брызги.

Возвратившись к своему убежищу, Гойгой не нашел туши лахтака. Оставалась лишь нерпа, а она почти втрое меньше.

В груди Гойгоя теснились проклятия и ругательства, обращенные к умке, но он не только не смел произнести их вслух, но даже само их возникновение в сознании было кощунственным и небезопасным. Поэтому прежде всего Гойгой стал умирять свой гнев, стараясь обратить его на себя, на свою слабость и нерасторопность, на то,

как он легко поддался сладости сновидений и воспоминаний.

Но стоило ему вернуться и усесться на шкуры, как сладкая истома неудержимо охватила все тело. Гойгой сорвал с головы шапку и сырым мехом крепко растер лицо. Что-то больно царапнуло по воспаленной коже, и Гойгой нащупал на кончике шнурка из свитых оленьих жил дырчатый камешек, пришитый к шапке.

Гойгой с улыбкой гладил маленький камешек, вспоминая руки Тин-Тин, маленькие, еще почти детские, но уже такие умелые и твердые.

Камешек вызвал новый поток воспоминаний, и, забывшись, Гойгой погрузился в них, улыбаясь распухшими, потрескавшимися губами.

Он очнулся, увидев почти у самого своего лица морду умки. Зверь дыхнул горячо, зловонно, и белые его зубы сверкнули в пурге, как пламя.

Со страшным криком Гойгой схватился за копье и кинулся на зверя.

8

Тин-Тин проснулась от оглушительной тишины. Долго прислушивалась в темноте мехового полога и даже дотронулась до своих ушей — они были на месте. Тогда осторожно отогнула край мехового полога и высунула голову в холодную часть яранги. Яркий свет ударил в глаза. Солнце било прямо в середину яранги, в дымовое отверстие, заливая внутренность угрюмого жилища радостным светом нового, весеннего дня.

Буря умчалась в неведомые дали, и грохот ветра сменился такой оглушительной тишиной, что поначалу Тин-Тин не слышала радостных криков птиц, тихого плеска воды, освобожденной ото льда.

Лишь выйдя из яранги и на мгновение ослепнув от блеска открытого моря, Тин-Тин поняла — буря ушла.

Залитое солнечным светом, синело море. На стыке воды и неба белые облака мешались с плавающими льдинами. Все вокруг казалось выросшим, огромным, просторным; вынужденное заточение в яранге; в ближних ее окрестностях, измеряемых коротким расстоянием от жилища до мясной ямы-кладовой, давило и угнетало дух. Теперь, казалось, оттолкнись посильнее ногами от земли и полетишь, как птица, над Галечной косой, покрытой

тающими пятнами снега, над тундрой с многочисленными озерцами, прочерченной вскрывшимися речками и ручейками, над ярангами, редкими стойбищами, над оленьими стадами, новыми выводками волков, лис, над гнездами птиц...

Радоваться бы сердцу в такую погоду, но ослепительное великолепие весенней погоды лишь еще больше оттенило горе Тин-Тин.

Она понуро выносила из яранги шкуры и развешивала на перекладинах, на которых еще недавно лежала охотничья байдара.

Сегодня эту байдару должны спустить на воду. Она лежала на берегу, обложенная снегом.

Кэу шел к берегу, с горечью думая о том, что на этот раз придется выйти в море не втроем, а лишь с Пины. Без Гойгоя.

Ему было искренне жаль брата: не только потому, что он любил его, не только потому, что Гойгой был младшим и походил на умершую мать, а еще и потому, что брат был настоящим охотником, человеком без зависти, добрым и щедрым в самых глубинах своего сердца... И жаль его было еще и потому, что не успел насладиться юный муж жизнью со своей молодой женой и даже не успел зачать ребенка, чтобы оставить свой след среди живущих.

Пины уже был у байдары и осторожно, чтобы не повредить туго натянутую моржовую кожу, лопатой откапывал судно.

— Сегодня можно попробовать байдару на воде, — сказал Пины.

Кэу молча кивнул.

Ураган начисто оторвал от берега ледовый припай. Открытая вода плескалась у ног.

Легкая байдара закачалась на волнах, словно мальчишка, неожиданно получивший позволение выбежать на волю... Таким резвым и радостным был Гойгой... Долго он еще будет вспоминаться, неожиданно врываться в текущую жизнь, и — самое горестное — его попросту будет не хватать в этом мире.

Погрузили в байдару охотничье снаряжение, гарпуны, ремни, весла, парус, сшитый из выбеленной тонкой нерпичьей кожи. Упругая вода играла сквозь моржовую кожу, видно было даже дно и переливающиеся разноцветьем камешки.

— Может быть, увидим его на льдине, — негромко сказал Пины, но, встретив строгий взгляд старшего брата, осекся.

Это было бы хуже всего: попадись им брат на пути — они не имели права снять его со льдины. Либо он остается во власти морских сил, которые и пожелали, чтобы его унесло на льдине, либо, если морские силы пожалеют его, что маловероятно, они сделают так, чтобы он без посторонней помощи ступил на твердую землю.

И все же, когда легкий ветер наполнил парус, рука Кэу, лежащая на рулевом весле, невольно повела послушное суденышко к белеющим на воде льдинам.

Море кишело жизнью. Над водной поверхностью, едва не касаясь кромками крыльев, мчались утиные стаи, бакланы тяжело поднимались с воды, оставляя долгий след, куличќи вспархивали прямо из-под носа несущейся под парусом лодки. Кое-где уже вздымались китовые фонтаны. Охота на кита, по обычаю, должна начаться чуть позже. Но удастся ли она в этом году, когда в лодке нет третьего, самого искусного и ловкого гарпунера?

Пины смотрел на старшего брата и думал: почему тот молчит и не говорит главного? Сейчас как раз время начать мужской разговор.

Разумеется, согласно обычаю, Тин-Тин должна перейти к Кэу... Но дело в том, что Тин-Тин живет в яранге Пины. Это одно. И другое, быть может самое главное, — у Пины нет детей. Уже четыре года он женат, а детей нет. А у Кэу их уже двое...

Но лицо Кэу было отрешенно, и он смотрел поверх головы Пины в морскую даль.

Может, и не скажет он об этом сегодня... В сердце старшего брата еще теплится надежда. Вон как он посматривает на льдины, хоть и знает: если даже он и увидит Гойгоя — он не должен приближаться к нему.

В это время уже должны появиться моржи. И поэтому, когда Кэу заметил пятнышко на льдине, он первым делом подумал о морже, усилием воли отогнав другую мысль... Но если это не морж, то он не виноват...

Пины тоже заметил темное пятно на льдине, но на таком расстоянии трудно сказать, что это. Он лишь пытливо посмотрел на брата, крепко сжимавшего в руке рулевое весло.

— Может быть, это морж, — ответил на безмолвный вопрос Кэу.

— А если не морж? — с дрожью сказал Пины.

— Мы охотимся на моржа, — твердо сказал Кэу.

Это был не морж. Теперь можно было разглядеть тощего весеннего умку. Он растерянно озирался.

— Ну что же, — сказал Кэу, — когда вместо моржа попадается умка — это не так уж и плохо.

Пины понял брата и приспустил парус.

Умка смотрел на приближающуюся байдару и отступал назад на маленькой, всего лишь в несколько шагов, льдине. От тяжести льдина накренилась и с громким плеском перевернулась.

Умка вынырнул довольно далеко от байдары.

Пины поднял парус.

Байдара набрала скорость и рванула за уплывающим зверем.

Умка не мог состязаться в скорости с легкой байдарой. Стихия его — твердый лед, торосы, поэтому байдара довольно быстро настигла сухопутного зверя. Пины даже опустил парус, чтобы не мешал бросать гарпун.

Умка оглянулся, и в его маленьких глазках застыл ужас. Пины взмахнул и легко вонзил остро отточенный наконечник гарпуна в тело.

Ему не пришлось бросать в воду надутый воздухом поплавок — он придержал рукой разматывающийся клубок ремня. Умка нырнул, но быстро показался из воды. В это мгновение охотник добил его ударом копья в сердце.

— Вот тебе и новый зимний полог, — сказал Кэу.

Что-то теплое зажглось в сердце Пины. Может, Кэу уже решил судьбу Тин-Тин и отдаст ее в руки младшего?.. Иначе для чего ему вдруг упоминать о зимнем пологе? Медвежья шкура могла пойти на расширение старого полога, если семья увеличивалась.

Пины притянул неподвижную тушу белого медведя к борту, привязал ее покрепче.

Еще издали было заметно оживление у уреза воды: жители стойбища сразу замечали — идет ли байдара с добычей или пустая. Все изголодались по свежему моржовому мясу.

Тин-Тин быстро сосчитала глазами сидящих в байдаре: их было двое, ровно столько, сколько их было, когда поутру байдара уходила к белеющим на горизонте отдельно плавающим льдинам.

Медведя быстро вытащили на берег и, совершив над ним обряд, принялись разделывать.

Острым женским ножом-пэкулем с широко изогнутым лезвием Тин-Тин разрезала умкин живот, вынула внутренности и осторожно отделила печень. Эту часть умки никогда люди не ели, считая, что печень белого медведя ядовита.

Руки привычно возились в звериных внутренностях: сколько ей пришлось освежевать оленей, когда жила в тундре, разделать нерп и лахтаков на берегу. Это ее второй белый медведь. Первый был добыт вскоре после того, как она вышла замуж за Гойгоя и переселилась на берег.

Тин-Тин вынула желудок и принялась очищать его от содержимого. И вдруг движение ее рук замедлилось.

Глаза застлались обильно хлынувшими слезами, плечи затряслись от рыданий: в руке она держала тот самый дырчатый камешек, который она нашила на малахай мужа. Значит, Гойгой оказался добычей умки...

— Тин-Тин худо стало! — услышала она как бы сквозь туман возглас Кэу. — Видно, от умкиной печенки...

9

А умке словно только малахай и был нужен: он больше не появлялся, оставив в покое человека и жалкие остатки его добычи. Но битва с умкой стоила не только малахая, но и потерянного кожаного мешочка с кремнем и огнивом...

Гойгой сквозь полудрему наблюдал, как стихала буря.

Сначала порывы ветра стали какими-то судорожными. Иной раз даже казалось, что в напряжении воздушного потока случаются какие-то провалы. Неожиданные затишья будили Гойгоя, настораживали его.

Эти провалы становились продолжительными. Иногда ветер ласково касался обнаженной головы Гойгоя.

Светлело. Расступалась белесая мгла, уходила, слабела, истончалась стена летящего снега.

И вдруг прорвался солнечный луч. Он был остер, как наточенный заново наконечник гарпуна, пронзителен и ослепляющ. Он рассек сырой, холодный воздух, погас и уже через мгновение снова засверкал, расширяясь, наполняясь светом и теплом.

Ветер совсем упал. Утихомирились волны, перестала качаться льдина, и эта наступившая тишина была так оглушительна, что, как ни сдерживал себя Гойгой, как ни боролся, ничего не смог с собой поделать: упал сна-

чала набок, а потом и навзничь на расстеленные нерпичью и лахтачью шкуры и погрузился в глубокий и сладкий сон.

Ему снилось детство, качели из сыромятной моржовой кожи, перекинутые через громадные китовые кости — подставки для байдары. Горизонт и убегающее вдаль море качались вместе с ним, голова сладко кружилась... И еще снились ему тундровые тихие летние дни, когда лежишь на прохладной траве и смотришь высоко в небо, на дальние светлые облака. Когда так долго смотришь — кажется, что сам становишься легким облаком и неслышный поток несет тебя в неведомые дали.

Гойгой проснулся от нестерпимой боли на лице. Высокое горячее солнце ожгло намоченную соленой водой кожу на правой щеке. Боль была такая, что невозможно было рукой дотронуться до кожи. Гойгой отрезал кусок нерпичьего жира и приложил к лицу.

Легче было на душе, спокойствие и тишина, в которой отчетливо слышались звуки живой жизни: птичий гомон, пыхтенье китового фонтана, фырканье лезущего на льдину моржа, всплеск вынырнувшей из воды нерпы — все это было радостной, животворящей музыкой, которая вливалась в Гойгоя бодростью, уверенностью в возвращении на землю.

Подкрепившись нерпичьим жиром, Гойгой сначала огляделся, чтобы окончательно убедиться, что он одинок на льдине, а потом обошел свое временное обиталище. В нескольких шагах от убежища он нашел поблескивающую на солнце лужицу. Вода была почти совсем пресная. Он с наслаждением напился, вглядываясь в свое отражение: Да, Тин-Тин трудно будет узнать его — воспаленные красные глаза, едва проглядывающие сквозь опухшие веки, почерневшая кожа на лице со следами обморожений и сегодняшнего солнечного ожога...

Буря порядком искромсала льдину. Она теперь была втрое меньше той, перед бурей. А солнце обливало ее своими горячими лучами, потеплевшая вода точила изнутри. Надолго ее не хватит.

А берег далеко. Его видно, он синеет тонкой полоской на горизонте, высокие горы висят в воздухе голубыми непросвечивающими облаками, и птицы летят туда.

Хорошо быть птицей! Превратиться бы в нее, оттолкнуться сильными ногами от льдины и взмыть в воздух

к облакам, а оттуда устремиться к берегу, к зеленой весенней земле.

Но унесенные в море не превращаются в птиц. Гойгой никогда об этом не слыхал. Если они и превращаются, то в тэрыкы.

А если использовать парус? От этой неожиданно возникшей мысли Гойгоя бросило в жар. Ведь льдина теперь настолько мала, что вполне может заменить байдару. А парус можно сделать из двух шкур — нерпичьей и лахтачьей. Для мачты вполне сгодятся посох и гарпун.

Окрыленный мыслью Гойгой тотчас принялся за работу.

Было так жарко, что он скинул с себя кухлянку, подставив голое тело жарким солнечным лучам.

Море было гладким, и ничто не предвещало ветра. Но голое тело улавливало легкое дуновение. Однако, к огорчению Гойгоя, оно исходило от берега, синеющего вдали.

Если это так, то льдина медленно удаляется от берега, уходит все дальше в неизвестность. Но почему в неизвестность? Разве не было рассказов, многократно слышанных им, о судьбах унесенных на льдинах? Надо помнить о них и не думать, что с тобой произойдет что-то другое, непохожее.

Несмотря на мрачные мысли, Гойгой соорудил мачту и натянул на нее две шкуры. Парус получился довольно большой, и, если бы ветер дул к берегу, можно было бы надеяться на пусть медленное, но все же продвижение.

Рядом с его льдиной появилась другая, небольшая. Гойгой встревоженно подбежал к краю и убедился, что это обломок его же льдины.

Он еще раз обследовал свое прибежище. На этот раз не просто размеры. Да, льдина состояла из смерзшихся обломков старого льда, и эти швы, которые теперь хорошо были видны на обесснеженной поверхности, легко могли разойтись при ударе о другую льдину. Ясный солнечный день разом померк: опасность теперь подстерегала Гойгоя с другой стороны. Так всегда будет, пока он не выберется на твердую землю. Или надо бороться за каждое мгновение жизни, или же смириться со своей участью и покорно ждать конца...

Наверное, многие так и поступали. Да и что можно

сделать, когда ты одинок в окружении равнодушных природных сил?

Гойгой невольно кинул взгляд на отколовшуюся льдину и понял: течение довольно сильное, и похоже, что льдина дрейфует к земле.

Как же он мог забыть о морских течениях! Они не всегда совпадают с направлением ветра, а уж о силе их можно судить по зимним ледовым сжатиям, когда рушатся и превращаются в обломки огромные ледяные горы, когда толстые ледовые поля встают торчком и крошатся со страшным грохотом.

Раз льдина плывет к земле, надо отдаться течению, терпеливо ждать и беречь силы.

Гойгой проглотил кусок нерпичьего жира и, одевшись в кухлянку, прилег на льдину.

Он лежал на спине, глядя в бездонное небо, в котором, словно отраженные в нем льдинки, плыли легкие белые облака. Иногда он засыпал и, просыпаясь, по изменению направления солнечных лучей догадывался о том, что льдина снова повернулась, повинуясь течению. Приподнимаясь, он смотрел на синеющую полоску, на голубые, повисшие в воздухе горы, но изменений в их очертаниях не видел.

Гойгой решил пока не смотреть на берег... Если долго не смотреть, тогда только можно что-то заметить.

Перед его глазами было огромное небо, головокружительная высота, а в мыслях лишь берег и Тин-Тин...

Солнце ласкало его, едва заметное дуновение, легкое движение воздуха убаюкивало, время остановилось; льдина меняла свое положение по отношению к солнцу.

Страшный удар вырвал Гойгоя из полузабытья. Он вскочил на ноги: его льдина поднималась из воды! Словно какой-то великан схватил за край и пытался приподнять ее из воды. Гойгой оглянулся и увидел надвигающуюся на него ледяную гору. Край, соприкоснувшийся с ледяной горой, шел под нее, в воду.

В то же мгновение Гойгой почувствовал, что летит в море. Он выхватил нож, попытался с его помощью зацепиться за лед, но лезвие лишь царапнуло лед, скользнуло, еще мгновение — и, потеряв нож, Гойгой увидел перед собой бесконечную стену студеной воды, почувствовал, как, горько-соленая, она хлынула в его рот, ноздри...

10

После шторма Тин-Тин любила ранним утром выходить из яранги и спускаться к берегу. Стояли еще длинные дни, и солнце поднималось из воды, будто омытое, чистое.

Галька тяжело подавалась под ногами, скрипела, а издали навстречу уже неслись освежающие запахи моря.

Тин-Тин глубоко дышала, унимая волнение, усмиряя рыдания, готовые вырваться из глубины груди.

Кэу не спешил с поминанием погибшего. Как-то на вопрос нетерпеливого Пины он сказал:

— У нас еще много дел: моржа надо заготовить на зиму, встретить гостей из тундры... Помянем с первым снегом.

Пины ничего не сказал, но Тин-Тин чувствовала, что тот недоволен. Он не скрывал своих намерений, и женщина понимала это по его взгляду.

На горизонте плавали льдины. Но с тех пор, как Тин-Тин нашла в чреве убитого умки камешек, собственноручно нашитый на малахай мужа, вера ее в возвращение Гойгоя поколебалась... Она еще раз слышала его голос, но думала: может, ей чудится?

Каждое утро Тин-Тин собирала на берегу съедобные водоросли, рачков, морские звезды, небольших рыбок. Набрав полный кожаный мешок, она не спешила возвращаться, садилась на прохладную гальку и подолгу смотрела на море.

Она старалась вспоминать прожитое вместе с Гойгоем, воссоздавала в памяти каждый совместно прожитый день. Она с огорчением замечала, что воспоминания тускнеют, уходят в глубину сознания и порой приходится прилагать усилие, чтобы еще раз заставить вздрогнуть и затрепетать сердце.

От моря тянуло зябкой сыростью, холодом и тоской.

Тин-Тин вынимала из-за пазухи прозрачный дырчатый камешек, прижимала к щеке и шептала:

Ветер унесется вдаль и не вернется,
Листок осенний, желтый улетит.
Льдина уплывет и вдали растает,
Но тот, кто с живым сердцем, возвращается...
Вернутся птицы на свои гнездовья,
Моржи клыкастые и серые дельфины...
Но почему тебе не возвратиться?

Сколько раз она оглянется, прежде чем поднимется к ярангам! Будто он зовет ее, окликает своим неповторимым голосом: Тин! Только он звал ее так. И это было как звон осколка пресного прозрачного льда, застывшей струи водопада, наросшей сосульки... Тин...

Кэу встречал молчаливым взглядом возвращающуюся с моря женщину и снова обращал взор в морские дали, выслеживая проходящих моржей, китов, касаток.

В тот день ожидали гостей из тундры.

Впервые Тин-Тин на какое-то мгновение забыла о Гойгое в радостном ожидании свидания со своими родителями, с оленями, с давно и навсегда покинутым детством. Она с утра была в хлопотах: ходила в тундру, собирала коренья и зелень, чтобы сдобрить угощение — моржовое мясо, нерпичий жир и китовую кожу-итгильгын — изысканнейшее лакомство на этом берегу.

Время от времени она смотрела на дальний берег лагуны, на зеленые холмы, стараясь увидеть там привычные и знакомые глазам оленьи стада, остроконечные верхушки кочевых яранг с торчащими концами жердей.

Она услышала мальчишеский крик и выглянула из яранги. На воду спускали байдару, перенесенную с морской стороны на лагунную.

А на зеленых, еще с утра пустынных тундровых холмах уже горели костры, и оленьи стада бродили у воды.

— Ты тоже поедешь с нами, — сказал Кэу.

Тин-Тин торопливо облачилась в нарядный кэркэр, который она не надевала с той поры, как не вернулся Гойгой.

Пригладив ладонью волосы, вышла из яранги.

На берегу она увидела Пины. Он с вожделенной улыбкой взглянул на молодую женщину и кашлянул.

Кэу строго посмотрел на брата.

Тин-Тин издали узнала своих родичей — отца, мать. Они стояли у спокойной воды лагуны в ожидании гостей, и каждый держал в руке по деревянному блюду с вареным оленьим мясом. Тальниковые листья украшали еду, а сами люди были одеты в лучшие одежды.

Тин-Тин покорно ожидала, когда окончится торжественная встреча и смолкнут бесконечно произносимые слова приветствий.

Мать смотрела куда-то за спину Тин-Тин, и она догадалась, что мать ищет Гойгоя... Не знают они еще о горестной новости.

Кэу выступил вперед, принял из рук отца Тин-Тин деревянное блюдо с оленьим мясом, отведал кусок, похвалил и сказал: как хорошо было охотиться в эту весну, много моржа пришло к берегам, а в довершение удалось добыть умку, весеннего зверя с большой шкурой.

— И должны мы еще сказать, что ушел от нас брат... Не прямо сквозь облака из яранги, а тропой охотников, через свидание с могущественными морскими богами... И ваша дочь осталась сиротой и безмужней. Но мы свято чтим старые обычаи, завещанные предками, и не оставим вашу дочь. Согласно обычаю, она переходит под мое покровительство, как старшего брата...

Пины покачнулся, но никто, кроме Тин-Тин, не заметил этого.

Все были поражены и огорчены услышанной новостью.

— Тин-Тин не будет обделена ни пищей, ни теплом, — продолжал Кэу. — Ей повезло, что у Гойгоя два брата... Сообща мы возьмем заботу о ней, и жизнь ее будет такой, что она не пожалеет, что осталась в нашем стойбище.

Тут все услышали, как громко и протяжно закричала мать Тин-Тин. Дочь кинулась к ней и тоже зарыдала, впервые открыто оплакивая Гойгоя.

Пины растерянно моргал: он ничего толком не понял из сказанного братом.

Тин-Тин вошла в знакомое с детства кочевое жилище и снова зарыдала, теперь уже не от горя, а от сожаления о своем детстве, от встречи с тем, что снилось, грезилось в прибрежных ярангах, таких просторных, холодных и неуютных по сравнению с тундровыми легкими жилищами кочевников.

Мать гладила по голове и утешала:

— Не горюй так... Тебе еще повезло: отныне два брата, двое мужчин будут заботиться о тебе. Пройдет время, истончится воспоминание о погибшем, и ты забудешь его, обретя счастье с новым мужчиной... Трудно быть единственной женщиной в яранге... Хорошо быть второй, да еще молодой. Мужчины любят молодых.

Мать говорила убежденно, ибо сама была второй женой в яранге оленевода и мужчина предпочитал ее первой, уже состарившейся.

— Не нужен мне никто! — горячо отвечала Тин-

Тин. — Я никогда не забуду Гойгоя! Никогда! Я останусь здесь, буду жить с вами, покуда Гойгой не вернется!

— Не говори глупостей, дочка, — мягко возражала мать. — С моря не возвращаются, а если и случается такое, то уже в образе тэрыкы.

— Пусть он будет тэрыкы! — закричала Тин-Тин. — Пусть, но только будет он — мой Гойгой!

— Не гневи богов, Тин-Тин! — ужаснулась мать. — Не иди против их воли!.. Поплачь. Вместе со слезами выходит горечь утраты.

А в это время за стенами яранги нарастало веселье большого праздника. Пылали костры, над которыми висели котлы, палились копыта и губы оленей, юноши торили беговую тропу, а иные уже разоблачились, чтобы помериться силой.

Певцы калили на огне бубны, придавая им особую звонкость.

К полудню в тундру побежали состязающиеся в быстроте юноши. В прошлый раз первым оказался Гойгой, чем очень удивил и огорчил тундровых, издавна считавшихся непревзойденными в беге по кочкам. Другие боролись у костров, но самое главное празднество ожидалось на закате — песни и танцы.

К тому времени Тин-Тин успокоилась, внешне даже как будто повеселела и вышла посмотреть на борцов.

Пины, обнаженный по пояс, улыбнулся ей. Он уже уложил двоих и ожидал третьего, похлопывая себя по разгоряченным мускулам. Он легко поборол еще одного пастуха, накинул на себя легкую пыжиковую кухлянку и подошел к Тин-Тин.

— Когда замолкнут бубны, поплывем к своему берегу, — сказал он.

От этих слов на Тин-Тин повеяло холодом.

Она медленно отошла от костров и побрела в тундру.

Молодой олень шел следом и нюхал ее следы, с удивлением посматривая на женщину. Почему она уходит оттуда, куда стремятся все люди? Вон даже те, бегущие по тундре, мчатся к взметнувшимся ввысь кострам, навстречу грому бубнов и голосам певцов.

С морской стороны пришли мы к вам,
Принеся радостные и печальные вести...
Истинно живущие, мы, происшедшие от моря,
Мы чтим богов и приносим им жертвы людьми.

Тин-Тин прислушалась и узнала голос Кэу. Он пел громко и хрипловато:

Возникли мы от Женщины и Кита,
И наша родословная уходит в пучину,
И вы, кто в тундре, от нас идете,
И наше богатство и в море, и в тундре...
С последним лучом заходящего солнца
Мы возвратимся к нашим ярангам,
Чтобы с первым лучом встающего солнца
Выйти в море на встречу с братьями своими...

Тин-Тин ускорила шаги, перевалила через холмик и спряталась в густой траве на берегу озера. Сначала она слушала песни, а потом, убаюканная вечерней прохладой, заснула.

Пробуждение ее было горьким: она увидела перед собой искаженное радостным злорадством лицо Пины.

— Вот она где! — воскликнул он. — Видно, хотела остаться здесь!

— Совсем маленькая, глупенькая, — растерянно и виновато бормотал отец.

Пины крепко взял за руку Тин-Тин и потащил за собой, как добычу.

На берегу уже толпились отъезжающие, и нагруженная оленьим мясом и шкурами байдара покачивалась на воде.

— Я ее нашел! — громко и победно сказал Пины старшему брату.

Кэу подошел к Тин-Тин и сказал:

— Пока не придет к нашим берегам новый зимний лед, ты еще считаешься женой Гойгоя...

Пины удивленно посмотрел на старшего брата.

11

Гойгой рвал зубами мягкое, еще трепещущее тело чайки, облизывал руки, испачканные в крови, давился и кашлял, когда в горло попадали перья, и радовался: значит, он еще может жить, может ловить птиц, даже не имея никакого оружия, а только сметку...

Воспоминание о падении в воду холодом обжигало память.

Поначалу, когда он увидел перед глазами зеленую толщу воды и она хлынула ему в рот, в уши, в ноздри, он решил, что пришел-таки настоящий конец и это все для

него — переход в иной мир, в другое существование. Он ожидал страданий, боли, нечеловеческих мук, а вместо этого его охватило странное блаженство и безразличие. Зеленый цвет воды сменился ослепительным, но не режущим глаза сиянием, и он сам как бы стал частью этого сияния. Это было так хорошо, покойно и прекрасно, что Гойгой успел удивиться... Видимо, переход был недолгий. Но Гойгой увидел отца, услышал его добрый, ласковый голос, будто сын снова превратился в маленького мальчика. Была невидимая, но ощутимая граница, за которой находился отец, а за ним неясно различались мать и другие родичи, в разное время покинувшие этот мир... «Ты разве уже забыл Тин-Тин?» — спросил отец... Голова Гойгоя оказалась над водой, и с болью в легкие ворвался сырой морской воздух, такой живительный, густой, сразу же прояснивший сознание. Перед ним оказался край большой льдины. Трудно понять, как это произошло, но Гойгой в конце концов выбрался на льдину.

На ее краю до сих пор оставался кровавый след от его пальцев. Он и приманивал птиц, особенно вот этих жирных чаек, одна из которых оказалась добычей Гойгоя.

Он с трудом оторвался от недоеденного куска и положил на льдину: может, он приманит другую птицу.

От охотничьего снаряжения ничего не осталось. Бесследно исчез и нож из стекловидного камня с костяной рукояткой. Одежда превратилась в лохмотья. Из многочисленных дыр выглядывало голое, исцарапанное тело. У торбасов отвалились подошвы, и Гойгой проявил немалую изобретательность, чтобы как-нибудь закрепить их. Резкий прыжок к севшей на лед чайке разорвал истлевшую от сырости кухлянку, подошвы снова отвалились.

Лед дрейфовал не так уж далеко от берега — в ясную погоду синяя полоска земли и повисшие в прозрачном воздухе дальние горы были хорошо видны. Но между группой дрейфующих льдов и берегом тянулось неодолимое пространство воды.

Видно, прошло уже немало дней, потому что солнце на ночь окуналось в воду. В холодные ночи Гойгой страдал от стужи и, пытаясь согреться, мерил шагами льдину. Она была необычайно крепка и должна была сохраниться до следующей зимы, признаки которой все явственнее проявлялись.

Сначала появились вот эти молодые, неопытные чайки, которые не боялись человека.

Потом к югу потянулись стаи уток. Они низко стлались над водой, и Гойгой с вожделением провожал их глазами.

Чайки стали осторожны, да и та птица, видно, была лишь слепой удачей, неожиданным подарком судьбы, сжалившейся над изголодавшимся охотником.

Иногда, обессиленный, Гойгой ложился на холодную льдину и закрывал глаза в ожидании смерти. Он звал ее, думал о том удивительном событии, которое случилось с ним. Он пытался усилием воли вызвать тот сказочный свет, не передаваемое словами сияние, умиротворенность, блаженство, с которым ничто земное не могло сравниться. Но смерть не приходит к человеку по его желанию. Гойгой грезил, терял сознание — то ли спал, то ли бодрствовал, то ли жил, то ли помирал, но неизменно приходило горькое отрезвление, холод и сырость возвращали его в сознание.

Гойгой вытянул из торбасов шнурок, свитый из оленьих жил, сделал петлю, но тут же с огорчением понял, что петлю некуда закрепить. Вот попытаться ловить птиц — можно. Для этого пришлось вытянуть все шнурки из одежды, вырвать зубами бахрому. Всего этого хватило на довольно длинный шнурок, который вполне можно было протянуть за возвышающийся посередине льдины торос.

Гойгой насторожил петлю, обмотал один конец вокруг пальца и удалился за льдину. Посередине петли, замаскированной под раскрошенный лед, Гойгой положил несколько кусочков от кухлянки.

Любопытный поморник, пролетавший над льдиной, заметил черные пятнышки и начал делать круги. Его настораживал человек, но Гойгою никак нельзя было уйти дальше.

Поморник осторожно опустился на край льдины.

Птица медленно приближалась к петле, точнее к лоскуткам от кухлянки. Сердце Гойгоя забилось, и ему казалось, что гул громко разносится по льдине, пугая птицу.

Тогда он затаил дыхание. Вот птичья нога оказалась внутри кружка, очерченного шнуром. Вместе с громким вдохом Гойгой дернул за конец и почувствовал, как натянулась снасть. Пойманная птица громко закричала, стараясь вырваться. Гойгой торопливо подтянул ее к себе, быстро свернул ей шею и, не дожидаясь, пока птичье тело перестанет трепетать, вонзил ослабевшие зубы в сочную теплую мякоть из перьев и теплой крови.

Это было так сладостно — есть теплое мясо, чувствовать, как в тело вливается новая сила, проясняется затуманенный голодом разум. Из остатков несъедобных частей поморника Гойгой сделал приманку и уселся в укрытие, чувствуя приятное головокружение: одна птица не насытила его, а только еще больше разожгла голод. Теперь Гойгой был полон нетерпеливой решимости поймать хотя бы еще одну птицу, чтобы окончательно возвратить себе силы.

Надо жить, надо бороться до конца! Вот уже ветер стал задувать с северной стороны, на горизонте все больше и больше становится льдин. Они дружной стаей приближаются к берегу.

Может, его уже не ждут в яранге?

И Тин-Тин, согласно старинному обычаю, стала женой старшего брата — Кэу?

Нет, не может быть, чтобы они так быстро забыли его... Особенно Тин-Тин. Ведь он слышал ее голос. Когда же это было? В первые дни одиночества. А может быть, просто показалось, что был разговор? А на самом деле она лежит в объятиях старшего брата и стонет в сладостном томлении?

Такие мысли никогда не приходили Гойгою, и он не знал этого темного, как огромная дождевая туча, чувства, которое охватило его всего. Он задрожал и даже застонал от бессильной ярости. В это мгновение он ненавидел старшего брата так, что, окажись он здесь, убил бы не задумываясь.

Затуманенное ненавистью сознание медленно прояснилось. Нет, не может такое случиться... До нового льда, до прихода новой зимы он считается мужем Тин-Тин, если даже по нему уже успели справить поминки. Поэтому он не должен так думать о Кэу...

Он выйдет на берег победителем стихии и придет в селение не согбенным, а прямым, умудренным опытом, переживанием, близким соседством со смертью. Да, он теперь знает, что это такое — путь сквозь облака, ибо сам почти наполовину прошел этой неведомой тропой.

Конечно, его не сразу узнают, а могут даже подумать, что тэрыкы идет, — уж больно он оброс, да и вся одежда на нем оборвалась. Давно не выщипывал ни бороды, ни усов — он чувствовал ладонью грубые редкие волосы, выросшие под носом и на подбородке, не подрезал волос — они длинными космами лежали на плечах, но во

всем остальном он сохранил человечье обличье, а это главное... Каким сладостным будет свидание с Тин-Тин! Как только подумал об этом, слезы навернулись на глаза: выдержит ли сердце счастье?

Выдержит... Если он такое выдержал здесь, на льдине, и дождался, когда ветер повернул к берегу и солнце стало садиться за горизонт, значит и это выдержит.

Но птицы, словно убедившись в вероломстве человека, стали далеко обходить льдину, а голодный желудок требовал своего болезненными спазмами.

Наступала ночь.

Ночью никто не прилетит, и поэтому Гойгой собрал свою снасть и постарался пристроиться поудобнее. Ночью надо спать и беречь силы для следующего дня. Может, завтрашний день окажется счастливым и Гойгой пробудится у самого берега.

С наступлением темноты становилось холодно, но Гойгой как-то притерпелся к стуже. Зато можно мерить время — ночь отсекала прожитое.

Утро было прекрасным: на краю льдины спал молодой морж. Гойгой сначала не поверил своим глазам, но это и впрямь был морж, должно быть родившийся в эту весну. У него еще не было бивней и кожа отливала едва заметной желтизной.

Гойгой встал. У него не было ни копья, ни гарпуна, ни даже каменного ножа.

Но он хотел жить и вернуться человеком к Тин-Тин.

12

В темноте, в предутренней сладости сна приходят видения: явственно чувствуешь рядом молодое, жаркое тело, и не хочется просыпаться.

Но вдруг Тин-Тин дернулась всем телом, сбросив с голого живота чужую руку.

Осторожно выскользнув в холодную часть яранги, оставила и видение, и живую человеческую похоть, от которой хотелось отряхнуться или обтереться только что выпавшим свежим снегом.

Давно ли была весна, лето, и вот уже пришли первые вестники надвигающейся долгой зимы — снежинки, ночные заморозки и белая полоска приближающихся льдов на морском горизонте.

Каждое утро Тин-Тин смотрела на льды, от приближения которых зависела ее судьба.

Кэу так еще и не сказал, чьей же она будет женой. В неведении был и Пины, пытаясь силой взять Тин-Тин. Женщина боролась молча и ожесточенно, и это раздражало и сердило мужчину.

— Чего ждешь? — с укоризной говорил он, отходя, чтобы остыть. — Все равно будешь моя — рано или поздно... Кэу не станет брать тебя в свою ярангу — у него уже есть дети. А здесь — пусто. Да и взята ты в наш род не для того, чтобы оставалась яловой и зря только ела.

Это было горько и тяжело: слышать попреки о еде. Еда достается нелегко. В поисках еды исчез в белой бесконечности льдов Гойгой, поэтому трудно придумать что-нибудь больнее, чем попрекнуть едой.

Нельзя сказать, что Тин-Тин бездельничала. Она раньше всех поднималась в яранге, и, пока Пины продирал глаза, вся холодная часть яранги была уже полна теплого дыма от разгоревшегося костра. Добыть огонь в сырую погоду нелегко, и нелегко его поддерживать, подкладывая дрова, собранные на галечном берегу после шторма. Все надо успеть сделать до пробуждения мужчины: сходить на берег моря, набрать вместе с дровами свежую охапку съедобной морской травы, приготовить утреннюю пищу...

Тин-Тин в последнее время старалась не есть на глазах Пины, но еда украдкой считалась за великий грех.

А время было сытное, осеннее, перед зимними долгими голодовками.

Били моржа на лежбище, складывали в ямы свернутые в круги куски моржовой кожи с салом и мясом, черпали сетями жирную рыбу в лагуне, ловили болами молодых уток. Да и в тундре было много съедобной ягоды и зелени. Оленьи туши, полученные в подарок от тундровых родичей, вялились в вышине яранги, пропитываясь сырым дымом костров.

С каждым днем ощутимо холодало.

Первое, что видела Тин-Тин, выходя из яранги, это множество сверкающих от солнца бликов: блестел иней, наросший за ночь на ярангах, на круглых камнях, поддерживающих жилище, блестели замерзающие лужи, забереги на лагуне, мокрая галька, оттаивающая под утренними лучами.

Тин-Тин шла за водой к ручью, набравшему новую силу от частых осенних дождей. Студеная вода с ледяным звоном прыгала по камням, и, черпая ее, Тин-Тин с грустью думала: скоро и ты превратишься в тин-тин... С севера неумолимо надвигался другой лед — гилгил. Гилгил отнял у нее Гойгоя, и гилгил же несет ей нового мужа.

В межсезонье, когда лежбище уже покинуто моржами, а в открытое море нет нужды выходить, мужчина-охотник исподволь готовится к зиме. Байдара еще не убрана на высокие подставки, но эти подставки уже чинились, обкладывались тяжелыми камнями, затягивались ослабевшие ремни, сменялись подгнившие.

Менялась и покрышка яранги — полуистлевшие моржовые кожи сдирались, и на их место натягивались новые, еще желтые и полупрозрачные. В солнечный день в яранге было празднично от обилия теплого света.

Шкура белого медведя, убитого весной, хорошо подсохла. Ее очистили от жира, размяли крепкими пятками, и теперь она годилась для того, чтобы пойти на полог.

Ночью над ярангами шелестели крылья улетающих птиц, будя спящих людей.

А лед все приближался.

Красное солнце — вестник ненастья,
Белое поле морского льда,
Утренний холод дрожащих звезд
И пурга Млечного Пути —
Все это вестники идущей зимы,
Надвигающейся зимы жизни моей.
Почему нельзя повторить весну?
Почему нельзя продолжить ее
Бесконечно и вечно...

Пины пришел в ярангу Кэу и сказал:

— Лед подошел.

— Он еще далеко от берега, — возразил Кэу.

— Но рано или поздно он подойдет, — сказал Пины.

— Не надо торопить время, оно идет независимо от нас...

— Есть вещи, которые зависят от человека, — настаивал Пины.

— Есть законы, установленные предками, — жестко ответил Кэу, и Пины испугался своей настойчивости.

Эдак все можно испортить, и Кэу может по праву старшего взять в свою ярангу свободную женщину.

— Я только пекусь о будущем, — смиренно произнес Пины. — Детей нет у моей жены...

— Еще неизвестно, кто этому виной, — неопределенно сказал Кэу, усиливая тревогу Пины.

Пины смотрел на непроницаемое лицо брата и мучительно пытался разгадать его истинные мысли и намерения. Поначалу Кэу как бы заронил надежду и даже подтвердил ее там, в тундре, когда встречались с оленными родичами Тин-Тин... А если сам подумывает взять в свою ярангу молодую женщину? Это было бы очень несправедливо, и от нахлынувшего гнева Пины даже закашлялся.

— Пей, — Кэу придвинул брату деревянную чашу, полную горячего мясного варева. — Это хорошо очищает горло.

Пины сдержался. Внешне спокойно он принял из рук брата чашу и отпил.

— Надо съездить за дровами, — сказал Кэу.— Готовь байдару.

Байдару перетащили к лагуне и там спустили в воду. За дровами ездили к проливу, куда течением прибивало большие древесные стволы, выросшие в неведомых далеких землях.

На этот раз добыча была большая: заполнили всю байдару да еще на буксир взяли несколько бревен.

Женщины встречали на берегу.

Сильный северный ветер туго надувал парус, и тяжело груженная байдара с трудом разрезала воду лагуны. Пины прислушивался к ветру с тайной надеждой.

И ничего более приятного не могло быть, кроме слов, которые он услышал от встречающих:

— Лед совсем близко от берега.

Когда выгрузили дрова и убрали байдару, Кэу сказал:

— Пусть твои женщины возьмут медвежью шкуру... Может, тебе понадобится большой полог.

Пины встрепенулся от неожиданно нахлынувшей радости, но Кэу предостерегающе сказал:

— Но не раньше, чем паковый лед коснется материкового берега.

13

Битва с молодым моржом, закончившаяся поражением Гойгоя, не была лучшим воспоминанием. Он кинулся на моржонка, собрав все оставшиеся силы, и постарался вцепиться единственным своим оружием — зубами. Но он даже не прокусил толстой шеи. Маленький моржонок, которому не было и года, легко стряхнул с себя человека и так ткнул мордой в бок, что боль не проходила несколько дней. Гойгой отлетел в сторону, окончательно поняв, что он ничем не сможет победить это неуклюжее, на вид такое беззащитное животное.

И тогда Гойгой вдруг с удивлением почувствовал, как по его лицу струятся горячие слезы, слезы бессилия и унижения, слабости и разочарования.

Моржонок смотрел на него маленькими красными глазами и не думал даже уходить со льдины, словно понимая слабость и неспособность человека причинить ему вред.

Северный ветер гнал льды. Гойгой не обращал внимания на холод, на снег. Главное было то, что лед двигался к берегу, и синяя полоска в ясные дни отчетливо превращалась теперь в горы и холмы, темные скалы.

Гойгою раза два удалось поймать птицу, но голод уже не так сильно его мучил. Может быть, оттого, что он теперь с нетерпением ждал мгновения, когда ступит на твердую землю.

Мысль его уже не мерила время, а мерила расстояние до берега. Правда, теперь это было нелегко: все чаще на море падал туман, иногда такой густой, что Гойгой не видел края своей небольшой льдины, а воспаленная кожа лица чувствовала прикосновение сырой пелены. В ясные проблески, когда солнце тревожно озаряло сморщенную поверхность моря и луч торопливо бежал вдаль, распахивая горизонт, Гойгой с удовлетворением видел, что берег ощутимо приблизился и уже кое-где можно различить белые полоски прошлогоднего нерастаявшего снега.

Течение и ветер сами несли льдину к земле, но странные мысли стали посещать Гойгоя. Он с тревогой думал, что ему теперь нелегко будет заново привыкать к жизни берегового человека, к размеренному чередованию охоты, насыщения, сна, которое и определяло земную жизнь. Ценность всего этого отсюда казалась слишком ничтожной, чтобы так упорно туда стремиться. Вот только Тин-

Тин... Ради нее он закроет глаза на все привычное и ничтожное, чем живет береговой человек.

Как-то Гойгою понадобилось сдвинуть ледяную пластину, которая укрывала его от пронизывающего сырого ветра. Трудясь и обливаясь потом, он понял, как ослабел. И догадался, что и мысли эти о ничтожестве земной жизни изнурили его, отнимая у него последние остатки сил. Как же коварны те силы, что тянут его сквозь облака, как они изощрены в изобретении всяческих уловок. И ко всему еще прибавилось испытание горькими раздумьями о ничтожестве жизни, к которой он стремился сквозь ледовитое море.

А берег все приближался.

И с его приближением Гойгой все более чувствовал упадок сил, которые, увы, уже ничем нельзя было восполнить. Птицы улетели в теплые южные края, моржи, молодые и старые, направились на места зимовки.

Проснувшись, Гойгой увидел берег совсем близко. Теперь ясно было видно и прошлогодний снег, слегка посеревший от солнца, и яркие зеленые полосы еще не увядшей травы, блеск ручьев. Кричали земные птицы.

Но между льдами и берегом еще много было открытой воды.

К вечеру пошел снег, но, взбодренный близостью земли, Гойгой даже не почувствовал холода. Он спокойно выспался на льду и утром встал полный сил и какого-то внутреннего, доселе неизвестного ему чувства уверенности, спокойствия. Да, он больше не страдал ни от холода, ни от голода. Нельзя сказать, что он чувствовал сытость, но и не было ощущения иссушающего голода.

Дул устойчивый северный ветер.

Гойгой смотрел на берег и узнавал знакомые места. Вот под этими скалами он в детстве собирал яйца птиц. Вот тут, левее выдвинутой в море скалы, прямо на льду он впервые подбил нерпу гарпуном. Это была его первая добыча. Тогда еще живы были отец и мать.

Мать разделала нерпу прямо у порога жилища и помазала сыну лоб жертвенной кровью. Так и бегал целый день Гойгой, гордясь знаком охотника, хотя засохшая кровь стянула кожу.

А вон там, где над скалами видна зеленая трава, наверное, еще есть поздние ягоды и сладкий щавель.

Пройдет немного дней, и Гойгой сойдет на землю, пойдет по знакомому берегу, по податливой студеной гальке,

выберется на мягкую тундру и ляжет на траву... Земля. Как сладко будет растянуться на ней, ощутить накопленное долгими летними днями тепло, спрятать лицо в траве. Вместе с проплывающими берегами перед глазами Гойгоя проплывала его жизнь, прошедшая в этих местах, вспоминались сказания и легенды, связанные с этой землей. Вон торчат китовые кости. Говорят, что под ними лежит прах Беломорской Женщины, той самой, что была женой Кита и начала род морских охотников.

Вот она, родная теплая земля...

Оставалась узкая полоса свободной воды, на которой круто изгибался прибой и падал на покрытую свежим снегом гальку.

Должно быть, уже холодно. Вон уже снег лежит на земле, новый, свежий, не такой серый, как прошлогодний. Да и северный ветер, как помнит Гойгой, довольно холодный и колючий в эту пору.

Последние мгновения перед вступлением на землю Гойгой больше ни о чем не думал. Для него существовала только вожделенная земля, галечный берег, постепенно переходящий в тундру. Льды уже кое-где сомкнули берег и море, но переходить еще было опасно: между льдинами колыхалась ледяная каша. Попадешь туда и провалишься, больше не вынырнешь... Уж лучше подождать. Столько терпел, страдал, и обидно было бы на последнем отрезке пути потерпеть неудачу.

В воздухе кружились снежинки, залепляли лицо, глаза. Но Гойгою некогда было думать о снегопаде, о нечувствительности к холоду и голоду. Все его помыслы и взгляд были обращены к полосе воды, которая сокращалась с мучительной медлительностью, иногда даже вдруг увеличивалась, гася надежду.

И все же расстояние между берегом и льдиной сокращалось, и Гойгой долго стоял в нерешительности, даже когда зазор уже был такой, что можно было перепрыгнуть... Но Гойгой хотел действовать наверняка и поэтому перешел на землю спокойно, перешагнув узенькую полоску воды.

Едва ступив на берег, Гойгой почувствовал такую усталость, что дальше не мог идти. Повалился на колени и дальше уже пополз, помогая себе руками. Выполз на покрытую свежим снегом тундру, приник к желтым травинкам и заплакал, нюхая землю. Томимый жаждой, он нашел подернутый тонким ледком бочажок, разбил лед

и приник воспаленными губами к желтоватой, пахнущей мхами воде. Он пил, закрыв глаза, изредка отрываясь передохнуть. Напившись, взглянул на свое отражение и... отшатнулся! Он не мог поверить своим глазам! Осторожно, чтобы не зарябить зеркало воды взволнованным дыханием, Гойгой снова наклонился над бочажком и не мог сдержать вопля ужаса — на него смотрело обросшее жесткой шерстью лицо тэрыкы-оборотня.

Еще не веря своим глазам, Гойгой отвернул лохмотья рукава, но и руки тоже были покрыты такой шерстью... Гойгой обнажал одну часть тела за другой и везде видел одно и то же: короткую, жесткую и густую шерсть. Так вот почему он больше не чувствовал холода!

Вцепившись зубами в шерсть на руке, Гойгой попытался оторвать ее, но она держалась крепко.

В отчаянии Гойгой поднял голову к низкому небу, навстречу падающим снежинкам и завыл, заплакал в голос, далеко оглашая притихшую тундру, медленно надевающую свой белый зимний наряд.

14

«Волки завыли», — подумал Пины, прислушиваясь к отдаленным крикам. Он выскользнул из полога в чоттагин, где уже возилась поднявшаяся спозаранок Тин-Тин.

Пины оглядел молодую женщину и усилием воли сдержал нарастающее желание: теперь не стоит торопиться, лед уже стоит у берегов.

Чем ближе вожделенный день, тем бережнее и ласковее был Пины. Такую перемену замечала и Тин-Тин, но это не приносило ей радости. Наоборот, она предчувствовала, что за этим кажущимся затишьем грянет буря, которая поломает ей жизнь, сотрет память о Гойгое и начисто убьет надежду на его возвращение.

Пины вышел из яранги и спустился к берегу. Лед стоял вплотную, но еще не окреп, и мощное океанское дыхание колыхало белую поверхность.

Шел косой, липкий снег. Все потонуло в серовато-белой пелене. Видимость была ограничена, и в этой тесноте было неуютно и промозгло.

В покрытой мокрым снегом гальке попадались раздавленные ракушки, морские звезды и множество мелких рыбешек. Пины брал рыбку и ел, далеко выплевывая головки. Наступала зима, трудное время для мор-

ского охотника. Теперь тепла будет намного меньше не только на воле, но и в самой яранге. И все же даже зимой выпадают прекрасные, радующие сердце дни. А в темные тихие ночи в небе полыхает полярное сияние — свидетельство деятельности потусторонних сил, весть из далекого мира, где живут ушедшие сквозь облака. В эту зиму в разноцветье лучей добавит свой отблеск и жизнь Гойгоя. Оттуда, с недосягаемых для живых вершин, он будет наблюдать за жизнью оставшихся на земле, увидит: его жена Тин-Тин ляжет рядом с братом на оленью шкуру...

Укол совести задержал дыхание Пины, он приостановился: какой-то зверь прошел — размытые мокрым ветром следы тянулись ото льда к тундре. Может, ранний умка, заплутавший в дрейфующих льдах наподобие того весеннего, выбрался на берег; может, просто собака... А скорее всего, это тот волк, что воем своим разбудил.

Зимой наземному зверю трудно. Как ни старается он подделаться под белизну тундры, его все равно выдают его же собственные следы. Все живое оставляет знак на белом, даже птицы... И если у охотника зоркий взгляд, он всегда выследит зверя, найдет его в заснеженной тундре.

Пины любил преследовать зверя. Гонишься за ним, и преследуемый чует, что за ним гонятся. Он прибавляет скорость, хитрит, путает след, прячется, но охотник настигает неумолимо, как судьба. Пока гонишься за зверем, в тебе самом поднимается новая, неведомая сила, которая несет, не дает проявиться усталости. Будто становишься больше самого себя. Самое сладкое переживание — это ужас, который охватывает преследуемого, и сознание того, что источником ужаса являешься ты. Страх уничтожает зверя, он становится жалким и беспомощным, и, когда настигаешь, в его обезумевших глазах видишь собственное величие, свою силу, свою власть. Берешь жизнь в руки, она трепещет, хочет улететь, убежать — и не может... О, какая сила тогда у тебя! Какое наслаждение чувствовать в себе эту силу, силу, которая может уничтожить жизнь или даровать ее!

От этих мыслей и шаг у Пины стал иной, и взор прояснился, и в сердце зажглось пламя охотничьего азарта. В эту зиму Пины будет неутомим. Он добудет для Тин-Тин самые нежные и теплые меха — белого горностая, рыжую лису, полярного волка, пушистую росомаху,

Пусть она будет одета лучше всех, и пусть других будет глодать тайная зависть. От этой тайной зависти и женщина слаще...

Размышления возвеличивали Пины в собственных глазах, и он начинал думать о себе с особым уважением. Он вспоминал, как много он добыл песцов и лис в прошлую зиму, как долго преследовал полярного волка и все же догнал его, несмотря на плохую погоду, как добил палкой росомаху, запутавшуюся в петле... Сказать по чести, Пины ни в чем не уступал Кэу, а может быть, и кое в чем превосходил его. Например, он моложе и выносливее. Правда, старшинство особо почитается, и само собой разумеется, что проживший дольше не только в знаниях превосходит молодого, но и пользуется многими преимуществами. Его слово — закон... Но вот достаточно ли это справедливо?

Пины вытаскивал из-под снега пожухлые, полузамерзшие морские травы, отряхивал и вешал на руку, на непромокаемый уккэнчин, тщательно сшитый из хорошо очищенных и высушенных моржовых кишок. Вдруг Пины вспомнил: а ведь уккэнчин принадлежит Гойгою, и не следовало бы надевать одежду человека, еще открыто не признанного умершим.

Но укол совести быстро затих: в том, что Гойгоя больше нет в живых, мог сомневаться только безумец. А законности притязаний Пины на Тин-Тин больше ничто не препятствовало: лед вплотную подошел к берегу, закрыл всю вольную воду, возвестив белизной своей наступление зимы, поры метелей, морозов и долгих ночей.

Пины повернул обратно. Поднимаясь по галечной гряде, он увидел Кэу, всматривающегося в белую морскую даль.

— Сегодня устроим обряд вопрошания, — сказал Кэу.

У Пины с досады екнуло сердце: обряд вопрошания устраивался, когда умерший еще находился в яранге, обряженный в дальний путь. А тут никто не знает и не ведает, где тело Гойгоя. Но, видно, Кэу трудно смириться с мыслью о смерти младшего брата и он ищет каждую зацепку, чтобы только не сказать вслух: да, Гойгой, ты ушел от нас навсегда.

Обряд вопрошания происходил в яранге Пины, где проживал Гойгой и откуда, умри он в яранге, он начал бы свой путь сквозь облака. Так как тела не было, то Кэу соорудил подобие чучела, использовав старую оде-

жду Гойгоя, а гадательную палку, которая в обиходе служила для выделки шкур, просунул под голову, сделанную из шапки, в которую скорбная Тин-Тин положила теплые оленьи рукавицы.

Кэу спрашивал о причинах смерти, молча слушал ответы, которые были то утвердительны, то отрицательны, в зависимости от того, легко или тяжело поднималась шапка-голова, интересовался, не держит ли зла ушедший на оставшихся в живых... Все ответы были благоприятны.

— Кому же ты оставляешь свою жену Тин-Тин?

Услышав вопрос, заданный чучелу с излишней громкостью, и Тин-Тин, и Пины вздрогнули, невольно глянув друг на друга.

Но ответа на вопрос не было, ибо задан он был не так, как следовало.

И тогда Кэу спросил:

— Оставляешь ли ты жену свою согласно древнему обычаю — старшему брату?

Гадательная палка словно приросла к полу из моржовой кожи, придавленная шапкой с оленьими рукавицами.

— А может, ты хочешь, чтобы твою жену наследовал твой бездетный брат Пины?

На этот раз палка легко приподнялась.

Пины едва сдерживал ликование. Он даже не обратил внимания на то, что уходящий сквозь облака оставил ему копье и нож.

— Ну вот, — сказал, уходя, Кэу. — На десятую ночь можешь взять Тин-Тин.

Да, это так и называлось — взять женщину. По отношению к Тин-Тин это звучало немного смешно, но Пины подавил в себе усмешку и молча кивнул. Все видели, как достойно он себя держал, и если и были у него попытки раньше времени взять женщину, то благоразумие у него всегда брало верх. Теперь приближалось его время. И то, что он сделает, он сделает с полным внутренним сознанием своей правоты, с основательностью, доказывающей, что Пины настоящий мужчина.

Тин-Тин понимала значение обряда вопрошания. Это был последний предел, за которым у нее уже не было убежища, где она могла хотя бы мысленно встречаться с надеждой. Теперь и надежды не стало.

Чтобы уйти от собственных мыслей, Тин-Тин изнуря-

ла себя работой, бралась за все, и это воспринималось Пины как знак примирения с судьбой, признание и желание быть главной женой. Он дал ей лучшие шкуры для зимнего кэркэра, отвел место у правого угла полога, ближе к главному жирнику.

А Тин-Тин уходила за водой все дальше и дальше в тундру в поисках незамерзших ручьев. Пока везла кожаное ведро на санках с полозьями из моржовых бивней, от выплесков оно покрывалось ледяной коркой — тин-тином, пресным прозрачным льдом.

Она откалывала лед и думала, что сама и снаружи и изнутри покрывается этим тин-тином, белеющим от мороза. Иногда она боялась, что при резком движении она может сломаться, разбиться, как разбивается сосулька тин-тина, отколотая от замерзшего потока... Уйти бы за тин-тином и больше не возвращаться, прошагать по замерзшей тундре до родного стойбища и остаться там... Отчего это ей выпала такая судьба — найти свое счастье и тут же потерять и вместо потерянного счастья обрести наказание?

Вот следы зверей. Они ведут к дремлющим под снежным одеялом, умолкнувшим речкам, к тихим холмам, уходящим за розовым гаснущим лучом зимнего солнца. Вот пробежал заяц, просеменила лиса, песец украдкой прокрался за леммингом... А вот прошел какой-то неведомый зверь. Рисунок следов будто человеческий, но отпечатки какие-то странные...

Невольный страх захолодил укрытое меховым кэркэром тело, и Тин-Тин повернула к стойбищу.

15

Решимость умереть привела Гойгоя к крутому обрыву над замерзающим морем. Цепляясь за окаменевшие от мороза кочки, Гойгой карабкался на самый верх, чтобы оттуда ринуться на острые обломки льда под черными скалами.

С того мгновения, как он убедился в своем превращении, желание увидеть Тин-Тин и родное стойбище сменилось неукротимой решимостью навсегда уйти из жизни. И речи не могло быть, чтобы в таком виде явиться перед людьми. Люди всегда убивали тэрыкы, если им доводилось выследить оборотня. Так, во всяком случае, говорилось в сказаниях.

Поднимаясь над морем, Гойгой с горестным удивлением ощущал странную раздвоенность своего нового состояния. В обличье покрытого короткой шерстью существа как бы одновременно сосуществовали двое, и если один решил непременно умереть, то другой всячески этому противился. Так, он осторожно шел по краю обрыва, как бы страшась ненароком сорваться вниз, в ослеплении горем сохраняя удивительную ясность мышления, сообразительность и целесообразность поступков.

Отсюда, с высоты, хорошо виднелось стойбище. Две яранги стояли на длинной галечной косе, уже сравнявшейся снегом с покрытым льдом морем и замерзшей лагуной. Там теплилась ставшая чужой жизнь, возвращение в которую было отрезано навсегда. Из вершин яранг поднимались дымы, иногда в наступающих сумерках сверкал огонь. В тиши вечера до обостренного слуха Гойгоя доносились голоса и лай собак.

От этого, как и от всего видимого и окружающего мира, придется уйти навсегда. Теперь нет никакого смысла в том, чтобы оставаться здесь, ибо тэрыкы не имеют места в живой жизни. В огромном пространстве не найтись уголку для оборотня, несчастного существа, отверженного! Находит свое убежище и полярная мышь, если ей удается спастись от песца, и волк, и ворона, и заяц, бурый и белый медведи... А для тэрыкы — нет места. Для всего, что живет и существует на земле, — он чужой.

Как горько и печально навсегда уходить от этого света, от этого яркого простора, входящего в твое сознание и поднимающего тебя над землей.

И все же надо уходить!

Гойгой глянул вниз, и голова слегка закружилась от высоты. Неужто у него не хватит сил преодолеть эти два шага до края обрыва и кинуть свое обросшее шерстью тело на острые льдины? Ему, одолевшему морские течения, голод и сумасшедшее одиночество?

Он уже видел себя, распластанного внизу, разбрызгавшего яркую кровь по свежему снегу... Гойгой зажмурился, почувствовал, как поток слез хлынул по шерстистым щекам, и бросил тело вниз... Несколько мгновений он был в полете, потом ударился лицом. Теплый мрак вечности окутал его сознание.

...Тин-Тин решила на этот раз взять пресный лед с небольшого водопада под скалами. Она впряглась в легкую береговую нарту и побежала под синюю глубокую тень от нависших над морем скал.

За несколько дней мороза сомкнувшийся с берегами лед укрепился, сцепился так, что южный ветер уже не мог оторвать его. Сжатия образовали торосистую гряду, но между нею и берегом лежала ровная поверхность покрытого снегом льда. По ней легко катилась нарта, и Тин-Тин даже садилась на нее и скатывалась вниз, вспоминая детские катания на санках по тундровым холмам... Все кончилось, все осталось позади: и детство с его играми, и недолгое счастливое замужество — недолгое счастье с Гойгоем. Впереди ничто не сулило больших радостей. В ожидании будущего все замерло в Тин-Тин, как замерла природа, покорившаяся зиме. Значит, и в жизни человеческой тоже со временем наступает зима с морозом страданий и с бушующими душевными пургами, выдувающими напрочь тепло.

Под тенью нависших скал Тин-Тин встретила тишина. В ней была какая-то настороженность. Тин-Тин оглядывалась, успокаивая себя: снега мало, чтобы опасаться лавины, а до прихода белых медведей еще много времени.

И все же нарастала непонятная тревога, захватывая рассудок. До замерзшего потока еще было неблизко. Тин-Тин уже подумывала, не вернуться ли, как вдруг на чистом снегу, в ложбинке, спускающейся к морю, увидела необычно большие следы. Тин-Тин с детства хорошо различала начертанное на снегу. Нет, это не был ни бурый, ни белый медведь, ни волк, ни росомаха, но и не человек...

Тин-Тин проследила за направлением цепочки следов: они шли наверх, на нависшие над морем скалы. Сердце билось громко и часто, и звон от напряженной тишины стоял в ушах. Нет, надо возвращаться. Что-то не то, недоброе и тревожное в этом затененном скалами месте...

И тут Тин-Тин услышала слабый стон. Она встрепенулась. Стон доносился спереди, из-за наросших торосов. Что-то было такое в этом голосе, что Тин-Тин, не задумываясь, рванулась вперед.

Он лежал меж двух стоймя стоящих льдин, будто огражденный ими.

— Гойгой! — закричала Тин-Тин так громко и так пронзительно, что откуда-то сверху, со скальных вершин, посыпался снег. Черная ворона, встревоженно каркая, поднялась надо льдами.

Тин-Тин подбежала к лежащему, перевернула его на спину, приникла своим лицом к его лицу.

— Гойгой! — кричала она. — Я знала, что ты вернешься ко мне, я верила, что ты жив!

Он открыл глаза, измученные, полупотухшие, но такие знакомые до боли, до слез...

— Гойгой! Это ты, Гойгой! Как я рада увидеть тебя снова! Сердце позвало меня сюда, будто чуяло...

Плача и причитая, Тин-Тин пыталась приподнять его голову.

— Вглядись в меня, Тин, — услышала она. — Вглядись пристально. Разве я тот Гойгой, какого ты знала?

И только сейчас Тин-Тин слегка отстранилась от него, с ужасом рассматривая его заросшее густой короткой шерстью лицо, черные и огрубелые ноги, меж пальцами которых росла такая же шерсть, как на руках и везде, по всему телу.

— О, Гойгой!..

Слезы застилали глаза, не давая как следует его рассмотреть.

— Это пройдет, Гойгой... Этого не может быть! Этого не может быть!

— Нет, так случилось, Тин, — печально отозвался Гойгой, — я превратился в тэрыкы!

— Но почему! Зачем такая несправедливость? — причитала Тин-Тин.

— Это судьба, — покорно ответил Гойгой. — Жребий такой выпал мне. И не надо роптать.

Гойгой понемногу пришел в себя. Увидев склоненное над собой лицо Тин-Тин, Гойгой поначалу решил, что он уже в окрестностях Полярной звезды и путь сквозь облака он прошел в беспамятстве. Но, видно, тэрыкы не может сам себя убить... Недаром в старинной легенде говорится, что тэрыкы суждено принять смерть только от человека. Кто же будет его убийцей? Кэу или Пины? А может быть, сама Тин-Тин? А почему нет? Почему ей не избавить его от страданий?

— Тин, — тихо позвал он ее.

— Радостно слышать твой голос, — отозвалась она.

— Ты видишь, в кого я превратился?

— Ты для меня остался прежним Гойгоем.

— Но я не могу вернуться в ярангу.

— Я буду жить вместе с тобой.

— Тогда погибнем оба.

— Пусть, зато вместе.

Гойгой вздохнул:

— Ты говоришь неразумное... Тебе судьбой предназначено жить, а мой жребий — пасть от руки человека. И чем скорее это произойдет, тем лучше и для меня, и для людей, и для тебя... Убей меня, Тин!

— Не говори так, Гойгой! — Тин-Тин перестала плакать. — Я молила богов, чтобы увидеть тебя, снова прикоснуться к твоему телу, и боги послали тебя.

— Не Гойгоя, а тэрыкы...

— А для меня ты — Гойгой.

— Меня все равно должны убить... И для меня лучше, если это сделаешь ты. Тогда мне будет легко и радостно уйти сквозь облака... Боги дали нам это свидание, чтобы мы попрощались.

— Нет! — решительно сказала Тин-Тин. — Боги вернули тебя таким, чтобы испытать меня.

Никогда Тин-Тин не доводилось так много думать. Стаи мыслей проносились, как весенний птичий перелет.

— Ты знаешь пещеру вон за той скалой?.. Укройся пока там и жди меня... Я что-нибудь придумаю.

— Но, Тин, я же не человек! — с болью выкрикнул Гойгой. — Погляди на меня как следует!

— Не говори так! Ты для меня — Гойгой, — перебила Тин-Тин. — Я скоро вернусь. Жди меня.

Только у яранги Тин-Тин сообразила, что пришла с пустой нартой.

— Что случилось? — с подозрением спросил Пины.

— Там плохой лед, — уверенно солгала Тин-Тин. — Мутный. Я поеду к другому водопаду.

Пины всмотрелся в лицо Тин-Тин. Волнуется она, прячет глаза, чует близкое. Остались две ночи...

16

Гойгой легко нашел пещеру. В ней почти не было снега, лишь у входа возвышался небольшой сугробик, образуя естественный порог. Пещера была невелика, но вполне достаточна, чтобы на первое время служить убежищем.

Гойгой прислушивался к своему телу и с удивлением обнаруживал, что падение с такой высоты не причинило ему никакого вреда. Он лишь чувствовал усиливающийся голод и тоску по Тин-Тин.

Когда-то еще ей удастся выбраться из яранги...

Может быть, попытаться самому раздобыть еду? Зимой это нелегко. И вдруг его осенило: недалеко от пещеры стояли ловушки на песца. С осени к этим ловушкам подтаскивали ободранные туши нерп и лахтаков, чтобы приучить зверя держаться этих мест...

Гойгой выбрался из пещеры и быстро нашел охотничье угодье. Завидя его издали, кормившиеся песцы бросились врассыпную. Здесь было довольно еды. Гойгой насытился и прихватил с собой еще полтуши нерпы в пещеру. В заботах он забывал о том, что стал тэрыкы. Лишь устроившись поудобнее в пещере, он с горечью вспомнил о своем обличье, посмотрел на шерсть на руках, потрогал ее на лице.

Тин-Тин проснулась на рассвете, когда над морем занялась заря. Это была привычная заря первой зимней охоты, когда человек впервые пробовал крепость нового льда.

Она проснулась незадолго до того, как поднялся со своего ложа Пины, приготовила ему утреннюю еду и стояла снаружи яранги, пока охотник не скрылся в торосах.

Пины несколько раз оглядывался и с удовлетворением думал, что Тин-Тин проводила его сегодня как настоящего мужа... Можно и в сегодняшнюю ночь взять ее... Нет, надо потерпеть. Теперь недолго — всего две ночи. Тем более она, похоже, уже смирилась.

Тин-Тин положила на нарту несколько оленьих шкур, одежду, вареного и сырого мяса, сама впряглась и заторопилась к пещере.

Гойгой сидел у порога. Увидев его, понурого и задумавшегося, Тин-Тин усилием воли заставила себя не обращать внимания на его внешность.

Она втащила нарту прямо в пещеру.

Перебирая одежду, Гойгой грустно усмехнулся:

— Она мне теперь ни к чему... Шерсть греет.

Но Тин-Тин все же настояла, чтобы Гойгой оделся. В таком виде он был более похож на привычного Гойгоя.

— Ты мне приноси больше сырого мяса, — просил Гойгой. — От него больше сытости и внутреннего тепла.

Они сидели рядышком на оленьих шкурах, прижавшись друг к другу, и даже сквозь меховую одежду и шерсть нарастала и усиливалась жаркая тяга друг к другу.

Тин-Тин хотела заново вспомнить и почувствовать его прикосновение. Мешала короткая, теплая, неожиданно мягкая шерсть, ровным слоем покрывавшая его тело. Но потом это куда-то ушло, исчезло, и Тин-Тин забылась на вершине самого сладкого переживания. Она жарко дышала в ухо Гойгоя, дотрагивалась до него раскрытыми губами, а потом в сладкой истоме глубоко заснула.

Слегка отодвинувшись, Гойгой при слабом свете рассматривал ее лицо, осторожно дотрагивался свободными от шерсти внутренними сторонами пальцев до ее волос и тихо плакал. Внутри тела, там, где было его сердце, казалось, открылась невидимая кровоточащая рана, и каждое движение и даже взгляд на Тин-Тин порождали невыносимую боль. Слезы капали на умиротворенное, чуть улыбающееся, сонное лицо Тин-Тин, скатывались к ее ушам, прикрытым рассыпавшимися волосами.

Тин-Тин открыла глаза, улыбнулась и тихо сказала:

— Еще никогда мне не было так хорошо, как сейчас. Наверное, вот это и есть настоящее женское счастье, от которого зачинаются дети.

— Что ты говоришь, Тин! — ужаснулся Гойгой. — Ты погляди, какой я. А если родится такой же... покрытый шерстью?

Тин-Тин немного подумала и решительно сказала:

— Какой бы ни родился — он будет от тебя и от меня. Когда Кит Рэу и Нау любили друг друга, они не думали, кто родится — китята или люди. Для них главное было то, что они любили друг друга. Если родится такой, о каком ты думаешь, значит, мы начнем род новых людей... — Она погладила шерсть. — Они не будут бояться зимнего холода...

— Не надо так говорить, — вздохнул Гойгой, спрятав лицо на груди Тин-Тин. — Все же человек должен быть человеком, раз он человек...

Разгорался короткий день ранней зимы. Светлая голубизна, отблеск снега и льда понемногу вползали в пещеру, высвечивали льдистые стены и освещали залитое сле-

зами волосатое лицо Гойгоя. По глазам Тин-Тин он видел, как ей непросто и страшно привыкать к его новому облику. Чем больше светлело в пещере, тем беспокойнее становилась Тин-Тин. Она остерегалась встречаться с ним взглядом, и Гойгой стал ее уговаривать:

— Ты иди... Хватятся в яранге, начнут тебя искать...

— Не будут меня искать, — отвечала Тин-Тин. — Пины ушел на лед, а Кэу отправился в тундру ставить ловушки на песцов.

Гойгою хотелось спросить, чьей же она стала женой. Но всякий раз, когда решался, слова застревали в горле. Да и сам он старался не думать об этом, отгонял даже мысли. И если вдруг ненароком вспоминалось, жаркая кровь бросалась в голову, туманилось сознание от непривычного чувства ненависти к братьям.

— Но ты все же уходи, — настаивал Гойгой. — Надо беречь наше убежище, чтобы не выследили...

Тин-Тин ушла, волоча за собой маленькую легкую нарту. Гойгой наблюдал за ней из пещеры. Она остановилась у водопада, каменным топориком наколола льда и скрылась за поворотом берега.

Гойгой был в смятении. Как же дальше жить? Так долго продолжаться не может. Братья не станут терпеть близость тэрыкы и, если дознаются, — выследят и убьют.

Кэу пошел в тундру, к песцовым ловушкам. Он сразу же заметил следы и подумал, что в этом году росомаха рановато вышла на промысел. И след у нее какой-то странный, может, она калеченная... Если она повадится сюда, то может отпугнуть песцов. Надо поставить на нее тайную западню. Если бы Кэу внимательно рассмотрел следы... Но легкий тундровый ветер размыл их, и теперь они и впрямь были похожи на росомашьи.

Кэу не стал откладывать. Вернувшись в стойбище, он захватил ловушку и заделал ее невдалеке от привады, тщательно замаскировав свежим снегом. Закончив работу, Кэу мысленно понадеялся: если попадет росомаха, то это значит, что он убережет приваду и получит шкуру хорошего меха на оторочку малахая. Росомаший мех не индевеет и прочен, как волчий.

В неподвижности ожидания в пещере время тянулось

медленно. Гойгой понял, что отныне он будет жить только ожиданием Тин-Тин и каждый раз мучительно переживать ее задержку...

И теперь, не успела она скрыться за поворотом, как Гойгой то и дело стал выглядывать из пещеры. А вдруг ей захотелось сказать ему что-то важное и она решила вернуться... Но время шло, солнце катилось к закату, и надежды на возвращение Тин-Тин угасали.

Чтобы скоротать время, Гойгой стал думать о том, что она делает там, в яранге... Вот возвратилась она с нартой, нагруженной тин-тином, сгрузила лед, подняв куски повыше на крышу, чтобы собаки не обмочили, убрала нарту и вошла в чоттагин. Пришлось заново разжигать костер, потому что, пока она была здесь, он потух. Чем же она могла заняться потом? Скорее всего выделывала оленьи шкуры. Разостлала мездрой вверх, разулась и сильными пятками начала мять шкуры. А может, она готовит нерпичьи и лахтачьи кожи, снимая каменным скребком оставшийся засохший жир... Или шьет... Но кому? Кэу или Пины? И в какую ярангу она вошла? Чьей женой она стала по старинному обряду?

И вдруг Гойгою так сильно захотелось об этом узнать, что он, позабыв осторожность, выбрался из пещеры и направился к стойбищу. Он выбрал не ту дорогу, которой ушла Тин-Тин, а пошел верхом. С холма он сразу же увидел яранги.

Садилось солнце, и пугающе огромная и длинная тень Гойгоя протянулась по розовым снегам.

Близко подойти к ярангам он не смог: его могли заметить не только люди, но и почуять собаки. Он крался со стороны прилагунных холмов, таясь за складками, за буграми, за свеженаметенными сугробами. Вон кто-то вышел из яранги. На таком расстоянии трудно рассмотреть. Гойгой добрался до ближайшего холма, с вершины которого обычно охотники осматривали море.

Не видя себя со стороны, Гойгой иногда забывал, что он тэрыкы. И сейчас, глядя на мирную жизнь родного стойбища, он чувствовал себя так, словно ненадолго поднялся на холм, чтобы высмотреть возвращающегося охотника, ближние разводья во льдах. Побудет здесь, продрогнет и спустится вниз, к ярангам, спеша в тепло хорошо нагретого полога... Но тело его оставалось бесчувственным к стуже.

Тин-Тин вышла из яранги Пины, вынесла шкуры и

повесила на высокие вешала. Как же так? Значит, она осталась у Пины? Выходит, Кэу уступил ее? Почему?

Гойгой посмотрел на море и увидел мелькающего в торосах охотника: кто это — Кэу или Пины? На таком расстоянии трудно угадать. Охотник шел с добычей — тащил за собой нерпу. Из чьей яранги выйдет женщина с водой в ковшике, чтобы облить морду нерпы, напоить ее после долгого морского путешествия?

Гойгой перевел взгляд на яранги. Там, видать, тоже заметили идущего с моря охотника. Ждут первой свежей зимней нерпы... Женщина показалась из яранги Пины. И Гойгой узнал ее. Это была Аяна — жена Пины...

Как же так? Неужто никто из братьев не пожелал ее взять? Она живет в яранге Пины, но не женой... Может быть, ждут его? Верят еще, что он возвратится? Чувство теплой благодарности охватило Гойгоя, и он едва не скатился с холма с криком: вот он я, Гойгой, ваш брат, муж! Слезы благодарности хлынули из глаз, но щеки их не чувствовали: слезы катились по шерсти, наросшей поверх кожи...

Гойгой понуро поплелся в свою пещеру, по-прежнему крадучись за холмами и сугробами.

Он вошел в свою пещеру, полную студеной синей мглы, и с глухими рыданиями кинулся на ворох шкур и одежды.

17

Теперь все мысли Тин-Тин были в пещере под скалами. Она ходила по стойбищу, варила еду, разделывала нерпу, выделывала шкуры, возжигала жирник, разводила костер в чоттагине, кормила собак, а сама была там, в студеном неподвижном воздухе каменной щели. Пины с удивлением смотрел на женщину, на ее отсутствующие взгляды и все это приписывал волнению перед брачной ночью.

Разделывая нерпу, Тин-Тин припрятала лакомые куски, чтобы при случае отнести их Гойгою.

Всю ночь она не спала, ожидая прихода нового утра, чтобы проводить Пины в море.

Едва забрезжил рассвет, она выскользнула из полога, принялась разжигать костер.

— Что ты делаешь, Тин-Тин? — спросил Пины, высунувшись из спального полога.

— Готовлю еду...

— Сегодня я не пойду в море, — сказал Пины и широко улыбнулся. — Разве ты забыла? В грядущую ночь ты станешь моей женой.

Эти спокойно сказанные слова подействовали на Тин-Тин так, словно ее ударили кэнчиком. Она сжалась, вобрала голову в плечи и всхлипнула.

— Разве ты не рада? — усмехнувшись, спросил Пины.

— Не знаю, — тихо ответила женщина.

— Таков обычай, — строго произнес Пины. — Ты не можешь оставаться одинокой. У тебя должны быть дети... У нас будут дети...

— Тогда я пойду за тин-тином, — сказала женщина.

— Пресного льда у нас изрядный запас, — ответил Пины. — Если уж тебе надо что-то сделать, подай мне еду.

Тин-Тин растолкла в каменной ступе немного нерпичьей печени с салом, подогрела вчерашнее варево.

Пины ел и едва сдерживал себя: как ему хотелось вот именно сейчас, в это тихое спокойное утро взять женщину, ощутить своими грубыми руками ее мягкое, податливое тело, ее тепло и погрузить себя в пылающее лоно. Что значит всего лишь один день?.. И Пины уже готов был схватить Тин-Тин за меховой рукав кэркэра, как вдруг вспомнил: если бы брат не пошел на охоту в тот день, он был бы здесь... Один день — и все изменилось и в его судьбе, и в судьбе Тин-Тин, и в судьбе самого Пины. Лучше повременить до назначенной ночи. Сегодняшний день должен пройти быстро — зимние дни коротки, зато ночи долгие, и ему хватит времени насладиться молодым женским телом.

Первоначальное намерение остаться на весь день в яранге и поберечь силы для ночи Пины оставил и решил пойти в тундру и поставить песцовые ловушки.

Едва он скрылся за холмами, Тин-Тин стянула с яранги нарту и, положив на нее припасенные лакомые куски нерпы, отправилась к пещере.

Гойгой еще издали услышал ее приближение.

— Я тебя ждал всю ночь.

— А я не спала всю ночь... Все думала о тебе, — задыхаясь ответила Тин-Тин. — Едва дождалась, когда он уйдет...

— Кто? — встрепенулся Гойгой.

— Пины.

— Разве ты осталась у него жить?

Тин-Тин смутилась, опустила глаза.

— Почему никто из братьев не взял тебя?

— Потому что надеялись на твое возвращение, — ответила Тин-Тин.

— И сейчас еще ждут? — со вспыхнувшей надеждой спросил Гойгой и невольно дотронулся до своего заросшего лица.

— Нет, — вздохнула Тин-Тин. — Кэу совершил обряд вопрошания, и ты не возразил, когда он сказал, что Пины хочет меня взять...

— Как Пины? — удивился Гойгой. — По обычаю ты должна перейти к Кэу.

— У Пины Аяна бездетна...

Будто чья-то неведомая сила вымела воздух из пещеры, и нечем стало дышать. Гойгой широко раскрывал рот и чувствовал, как сжимается горло и сердце обливается вырвавшейся из сосудов горячей кровью.

— Как же так? — шептал он хрипло. — Как же так?.. Как же мне быть?

Он подполз к входу в пещеру, и Тин-Тин бросилась к нему с плачем:

— Не надо туда ходить, Гойгой. Они убьют тебя, потому что ты для них больше не человек... Ты — тэрыкы! Не ходи!

Гойгой прижал к себе плачущую женщину, погладил шерстистой рукой по волосам и стал уговаривать:

— Я не пойду... Не надо плакать, не бойся. Я так легко не дамся. Ты теперь со мной...

— Мы убежим с тобой в тундру и начнем новую жизнь, — говорила сквозь слезы Тин-Тин. — Мы зачнем новую породу людей, которые не боятся холода и дрейфующих льдов... Построим свою ярангу...

Гойгой слушал женщину и дивился ее мудрости. Мысленно он соглашался с ней. В этой безысходности был только один путь — уйти подальше от людей, не попадаться на глаза и попробовать жить самим... Ведь кто-то начинал первым... Был такой — Рэу, что стал человеком ради жизни с любимой. Может, потом Гойгой снова обратится в человека?

Ему показалось, что впереди, в темноте грядущего, мелькнул светлый луч надежды. Это вернуло его рассудку трезвость, и он сказал Тин-Тин:

— Не будем торопиться... Надо выбрать такое время, чтобы мы смогли уйти незамеченными. Я могу выдержать холод, пургу, голодать по многу дней, а ты не можешь... Поэтому надо запастись теплой одеждой и пищей на первое время. А потом сами добудем все нужное. Нас двое, мы вместе!

Просветленная и обрадованная возвращалась Тин-Тин в ярангу.

Если в темной зимней ночи
Вдруг сверкнет впереди огонек —
Знай: то утро идет со звоном лучей.
Если в снежной пурге
Вдруг мелькнет неба чистый клочок —
Это идет тишина и покой...
Из самой страшной дали
Ты придешь наконец к очагу,
Что зажгла я в яранге,
Ожидая тебя.
Вместе со мной благодарность воздай
Ты Надежде,
Что вела нас друг к другу...

Она быстро вошла в ярангу и увидела перед собой улыбающееся и торжествующее лицо Пины.

— Хорошую песню поешь, — сказал он Тин-Тин.

Словно плеснули на огонек холодной водой, сильным порывом ветра задули пламя: Тин-Тин потупила взор и прошла мимо Пины, пряча свое горе, так быстро сменившее радость.

Пины посмотрел вслед вожделенной женщине и подумал про себя: мудрость обычаев всегда оборачивается благом для того, кто свято соблюдает их.

Если, долгою жаждой томим,
Наконец ты прильнешь к ручью,
Если, мучимый голодом,
Ты придешь к долгожданной трапезе,
Обессиленный бодрствованием,
Ляжешь на мягкие шкуры, —
Ты получишь блаженство
Сладкое и большее, нежели
Утоление желаний тотчас,
Как подумал о них...

Пины пел хрипло, без переливов в голосе, но в его словах чувствовалась сила пережитого, и Тин-Тин, вслушиваясь, ощутила приближение холода.

Гойгой не мог долго оставаться в пещере. Каменные стены давили, а мысль о будущем звала на простор, глаза искали далекий излом горизонта, где в горных долинах можно было надежно спрятаться от людей.

Мимо пробежал песец, и Гойгой подумал, что он сейчас ближе к звериному роду, чем к людям, и полярный волк ему больше брат, чем те, кто сейчас готовится к вечерней трапезе в стойбище, восседает у костра в ожидании еды.

Он мысленно представил себе Пины, вспомнил его лицо до мельчайших подробностей, чувствуя, как откуда-то снизу поднимается к сердцу, к голове темная волна ненависти. Бедная Тин-Тин!.. Где те боги, что управляют справедливостью? Разве они не видят, как страдает молодое сердце, как оно болит в предчувствии невыносимого страдания?

Но разве не боги, не высшие силы сделали Гойгоя тэрыкы? Не сам же он пожелал сделаться таким? Но почему? Почему именно им двоим выпало такое испытание?

С вершины холма Гойгой видел отблески огней на снегу перед раскрытыми входами яранг. Эти огни понемногу гасли, пока все стойбище не погрузилось в сон.

И тогда живее, чем могло быть на самом деле, с острой всепроникающей болью, обжигающим чувством ненависти Гойгой представил себе, как Пины укладывается рядом с Тин-Тин, укрывается одним пыжиковым одеялом, прижимается горячим, пылающим бедром к нежному телу.

Он скатился по склону и, не думая ни о чем, забыв осторожность, кинулся к темнеющей в наступившей мерцающей звездной ночи яранге.

18

Тин-Тин долго возилась в чоттагине, чистила очаг, кормила собак, выбивала на снегу оленьи шкуры, толкла нерпичий жир в каменной ступе, подметала утиным крылышком крепко утоптанный, прихваченный морозом земляной пол, загоняла собак, чтобы не оставались на открытом воздухе и не мерзли на ветру... Но все же пришло время, и она вползла в полог, увидев в правом углу приготовленное ложе.

Аяна — первая жена Пины — с каменным от горя и злости лицом лежала на спине и смотрела в низко нависший потолок.

Пины сидел у жирника, обнаженный, с лоснящимся телом, сильный. Он небрежно накинул между ног лоскуток тонкого меха. Он делал вид, что не замечает, как Тин-Тин долго укладывается.

Вот померк свет жирника. Остался один тоненький язычок пламени, но и он подпрыгнул в воздухе и погас. Полог погрузился в темноту.

С замиранием сердца Тин-Тин ждала этого мгновения.

Она сжалась в комок под легким пыжиковым одеялом и дрожала, словно лежала не в теплом пологе, не на нежных оленьих шкурах, а в открытой тундре под холодным порывистым ветром.

Тин-Тин услышала, как рядом тяжело улегся Пины. В тот же миг Аяна кашлянула, давая знать, что не спит.

Дышать стало трудно, грудь онемела. Задыхаясь, Тин-Тин приподняла полог и высунула голову в чоттагин. Любимая собака Гойгоя подползла и лизнула ее в лицо шершавым теплым языком. Это неожиданное прикосновение приободрило Тин-Тин, и все же она не смогла сдержать дрожи, когда почувствовала на теле жадные, ищущие руки. Пины начал с грудей, провел по ним кругами, коснулся слегка пальцами сосков и двинулся дальше, к животу. Он продвигался медленно, не спеша, словно охотник на незнакомой тропе, где на каждом шагу тебя подстерегает опасность. Он дошел до пупка и замер, бродя грубыми кончиками пальцев по окрестностям, однако все больше и больше расширяя круги поисков, пока не коснулся границы волосяного покрова лона. Здесь рука Пины остановилась, и даже сквозь меховую занавесь Тин-Тин услышала его глубокий вздох.

Пины прислушался к своим ощущениям и с удивлением обнаружил вместе с огромным до боли желанием какой-то подспудный страх... Да, тело Тин-Тин было юно. Кожа была гладка и нежна, как поверхность созревшей ягоды. Пальцы чувствовали не только ее тепло, но и, как ни странно, легкую прохладу, которая еще больше подчеркивала внутренний жар Тин-Тин.

Резким движением Пины втянул голову Тин-Тин в полог и прижался своим лицом к ее лицу.

Он брал женщину с жадностью изголодавшегося человека, неистово, едва сдерживая себя, чтобы не укусить ее.

И вдруг в какое-то мгновение он понял: Тин-Тин не отвечает ему как женщина. Она лежала равнодушная, и между его и ее телом была холодная пелена отчуждения, которую он так и не мог пробить. Это неожиданное открытие так поразило Пины, что он на некоторое время приостановился.

В наступившей тишине он услышал громкие всхлипывания покинутой Аяны, лежащей у дальней стены спального полога. Она подвывала, постанывала сквозь меховое одеяло. Глухая ярость отняла мужскую силу, и, оторвавшись от Тин-Тин, Пины с ругательствами набросился на бедную Аяну. Он колотил ее сквозь меховое одеяло, часто промахиваясь в темноте, пока в изнеможении не повалился на оленьи шкуры.

Едва он отдышался и снова придвинулся к Тин-Тин, замершей в ожидании, как в чоттагине бешено залаяла собака. К ней присоединилась вторая, третья, и скоро все жилище было полно собачьих голосов.

Пины в ярости голый выбежал из полога и принялся избивать собак. Его кусали, он падал на холодный земляной пол, поднимался и вымещал на бедных животных ярость разочарования, обманутых надежд, неожиданного мужского бессилия перед беззащитной юностью.

Собачий лай утихал.

От яранг в сторону холмов убегал Гойгой, прячась в складках снежного покрова.

Ему удалось незамеченным пробраться к стойбищу. Поначалу собаки не почуяли его. Он радовался, что его ноги, обросшие шерстью, ступали по снегу безо всякого шума, мягко и нежно, как лапы умки.

Гойгой подкрался к яранге Пины и остановился рядом со стенкой, сквозь которую он в воображении видел Тин-Тин в объятиях Пины. Затаил дыхание и прислушался. Шум собственной крови в ушах мешал слушать, и подумалось, как было бы хорошо, если бы можно было остановить сердце.

Послышались плач и стон. Но это не был голос Тин-Тин, а Аяны... А что там? Почему не слышно Тин-Тин? Может, ее нет в яранге?

Стоны и плач женщины становились громче, и вдруг Гойгой услышал проклятия и ругательства разъяренного Пины. Что же там такое случилось?

Забыв об осторожности, Гойгой вплотную прижался к яранге, и тут его учуяли собаки, подняв страшный лай.

...Собачий лай затихал вдали, и Гойгой замедлил шаг. Он ушел довольно далеко, пересекая песцовые угодья старшего брата Кэу. Ветер бил в лицо, начиналась пурга, первая зимняя пурга в новой жизни Гойгоя. Студеный ветер не пробивал шерстистого покрытия, и по-прежнему было тепло, как если бы Гойгой был одет в самые теплые зимние меховые одежды.

Весь путь он размышлял о странной тишине в пологе Пины, о странном плаче его жены.

Эта тишина поначалу успокоила его, но тут же на смену успокоению возникло мучительное подозрение: может, Тин-Тин и Пины уже настолько близки, что их ласки не столь бурны, чтобы их можно было услышать сквозь меховые стенки полога?

Нет, надо скорее уходить отсюда! Вот уже и начались зимние пурги. Он заметут следы, направят погоню по другому пути. Первое, что придет в голову братьям, — это то, что Тин-Тин удрала в родное стойбище, к своим оленным родичам. А они уйдут совсем в другую сторону, следуя берегом моря, чтобы можно было время от времени охотиться. Не забыть наказать Тин-Тин, чтобы захватила его запасное копье и гарпун. Нужен будет и хороший нож... А может, тэрыкы добывают себе еду как-то иначе?

Снег набился в шерсть, и Гойгой приметил, что он порой отряхивается каким-то новым для него собачьим движением. Это было горькое открытие. Хоть и не видел себя Гойгой, но сразу все понял и сразу почувствовал свое новое обличье.

Ветер усиливался, но неведомое ему раньше чутье вело Гойгоя к убежищу. Где-то здесь невдалеке песцовые ловушки Кэу.

И вдруг Гойгой вскрикнул от боли и неожиданного страха: что-то цепкое и твердое охватило его ногу, притянуло к земле. На щиколотке замкнулась большая деревянная ловушка для волков и росомах. Ею иногда ловили запоздало шатающихся по тундре бурых медведей. Ловушка была привязана к тяжелому камню толстым

моржовым ремнем. Ремень Гойгой не без труда перегрыз зубами и заспешил в свою пещеру, чтобы там освободиться от ловушки.

Но без ножа с ловушкой ему справиться не удалось.

19

Пины долго стоял снаружи яранги, качаясь под ураганным ветром, отворачивая лицо от летящего снега. Горечь ночной неудачи не покидала его. Он был в гневе на свою старую жену, на собак, на самого себя... Меньше всего он винил Тин-Тин. Девочка просто испугалась. Испугалась и его, и старой жены, и собачьего лая. Этой ночью будет совсем по-другому.

Он добрался до яранги старшего брата.

Кэу сидел у костра и глядел на огонь.

— Почему так лаяли собаки ночью? — спросил он.

— Может, какой зверь подходил к стойбищу? — предположил Пины. — Однако следов нет — все замело.

— Это был какой-то странный лай, — задумчиво произнес Кэу. — Собаки лаяли со страхом.

— Я этого не заметил. — Пины со стыдом вспомнил, как ночью голый бил собак.

— И мне было очень тревожно на душе, — продолжал Кэу, — поэтому я вышел поглядеть.

Пины замер в ожидании.

— Кто-то убегал в холмы за лагуной, — сказал Кэу. — Я не стал преследовать его, потому что он быстро исчез... И, вернувшись в ярангу, я подумал, что это мне померещилось.

— Скорее всего, это так, — быстро согласился Пины.

— А теперь думаю, что это не так, — задумчиво произнес Кэу.

Он замолк и долго смотрел на огонь.

— Ни наш отец, ни дед, никто из предков, которых мы застали в живых, никогда не утверждали, что воочию видели тэрыкы. Они только рассказывали. Неужто нам выпала доля увидеть его?

Страх почему-то возникает где-то внизу и постепенно поднимается к голове. На этот раз он мигом охватил Пины, и он затрясся:

— Ты думаешь, что это был он?

— Нет, это не Гойгой, — твердо сказал Кэу. — Гой-

гоя больше нет... Есть только тэрыкы — враг и несчастье людей.

— Но как нам быть?

— Спросим богов, — сказал Кэу.

Голос его был спокоен, но Пины слишком хорошо знал старшего брата, чтобы не видеть, как глубоко он обеспокоен.

А пурга усиливалась. Яранги стонали и звенели под напором ветра, порывы его иногда каким-то образом проникали через плотно прижатые шкуры в жилище, рвали пламя, всклокочивали шерсть собак и снова уносились неведомыми путями на вольный простор.

Все жители стойбища слышали собачий лай, по всем ярангам пронесся слух: приходил тэрыкы.

Верили и не верили в это. Конечно, в глубине души почему-то хотелось, чтобы это был именно тэрыкы, хотя это было невероятно страшно... Чем страшнее — тем желаннее.

Однако к вечеру беспокойство стало утихать. Стали вспоминать, как много-много раз предположения о тэрыкы не подтверждались. Возмутитель спокойствия оказывался белым медведем, росомахой, заблудившимся волком... И ни один не вспомнил и не сказал, что ему довелось самому видеть загадочного оборотня.

К вечеру ветер достиг ураганной силы, и никто без крайней надобности не выходил из жилищ.

Пины пришлось почти ползком пробираться в ярангу Кэу, чтобы присутствовать при обряде вопрошания богов.

Приготовления уже начались. Облаченный в священные одежды — в длинный замшевый балахон, изукрашенный разными вышивками и лентами из тюленьей кожи, — Кэу уже настраивался, пробуя голос, стараясь перекрыть вой ветра.

Захватив бубен, Кэу удалился в затемненный полог, откуда заблаговременно вышли его обитатели и сгрудились у костра. Пины занял место у меховой занавеси, чтобы при надобности прийти на помощь брату, а главное для того, чтобы поддерживать вдохновение камлающего одобрительными возгласами.

Сквозь песнопения и невнятные бормотания Пины иногда улавливал имя Гойгоя и упоминание тэрыкы. Голос Кэу становился то сильнее бури, заглушая завывание ветра, то угасал до шепота, а иной раз совсем зати-

хал, и в это мгновение, как и предполагали слушатели, Кэу внимал голосам богов.

После очередной долгой паузы заколыхалась меховая занавесь полога и в чоттагин вывалился потный и обессиленный Кэу. Дрожащей рукой он положил на земляной пол бубен и со вздохом облегчения произнес:

— То был не тэрыкы...

Пины снова пришлось проделать нелегкий путь сквозь ветер и летящий снег. Он долго отряхивался в своей яранге, перед тем как вползти в полог, выколачивая осколком оленьего рога снежинки из меховой кухлянки.

В пологе была одна Аяна.

— Где Тин-Тин?

— Спроси у ветра, — глухо отозвалась Аяна.

— Я тебя спрашиваю — где моя жена? — вскричал Пины.

— Я — твоя жена...

В страшном гневе Пины схватил несчастную, обессилевшую от ночных слез женщину и встряхнул изо всех сил:

— Где она?

— Ушла за собачьим кормом, — выдавила из себя женщина.

Пины выпустил Аяну и бросился вон из яранги. Подгоняемый ветром, он добрался до мясной ямы, где хранились зимние запасы, но не нашел Тин-Тин. Китовая лопатка, прикрывающая яму, была занесена толстым слоем снега.

«Унесло ветром!» — пронеслось в сознании Пины. Он хотел тут же кинуться на поиски, но благоразумие взяло верх. Он сначала вернулся в ярангу, взял моток тонкого нерпичьего ремня, привязал один конец к жилищу и отправился на поиски, идя по кругу и всматриваясь в каждый сугроб.

...А тем временем Тин-Тин добралась до пещеры и откопала занесенный снегом вход.

Гойгой лежал ничком, и на его правой ноге висела деревянная ловушка.

— Что с тобой, Гойгой?

— Помоги снять, — со стоном попросил Гойгой. — Нынешней ночью попался...

Тин-Тин захватила старое копье Гойгоя и остро отто-

ченный каменный нож. Она перерезала толстые ремни, стягивающие ловушку. Даже сквозь густую шерсть видно было, как распухла нога.

— Как ты добралась? — с беспокойством спросил Гойгой.

— Сама не знаю, — ответила Тин-Тин.

— Но тебя будут искать!

— Пины ушел в ярангу Кэу... Ночью лаяли собаки, кого-то почуяли будто бы... А сейчас Кэу вопрошает богов. Как бы беды не вышло, Гойгой!

Гойгой задумался... Можно попытаться уйти сейчас, тем более Тин-Тин здесь. Но вот нога... Она болит, и с такой ногой далеко не уйдешь. Придется подождать...

— Ты иди, — сказал Гойгой. — Еще не время нам уходить. Как нога поправится — уйдем. Уйдем и не будем оглядываться.

— Но ты будь осторожен, — попросила Тин-Тин. — Без надобности не выходи из пещеры. Сейчас люди настороже.

На обратном пути Тин-Тин споткнулась о туго натянутый ремень. Пины схватил ее за плечо и поднял.

— Ты где была? — услышала она приглушенный ветром голос.

— Заблудилась...

Ничего не говоря, Пины обхватил женщину и втащил в ярангу.

Он молча ждал, пока Тин-Тин отряхивалась. Когда она вползла в полог, Пины, оглядев ярангу, вдруг заметил отсутствие копья Гойгоя.

20

Утомленная допросом, Тин-Тин долго не могла уснуть. Она лежала, высунув голову в чоттагин, жадно вдыхая пахнущий талым снегом воздух.

В таком положении и взял ее Пины, но она, как и вчера, лежала неподвижная, холодная под тяжелым, пылающим от гнева и желания мужским телом.

И чем неистовее старался Пины, тем явственнее обозначалось бесплодие его усилий разбудить чувственность Тин-Тин. На этот раз он не обращал внимания на громкие причитания Аяны, на грохот бури, и все же на душе у него, кроме горечи и глубокого чувства разочарования, ничего не было.

К утру немного стихло. Но когда Тин-Тин засобиралась выходить, Пины положил тяжелую руку на ее плечо и коротко сказал:

— Ты никуда не пойдешь.

— Но мне нужно за льдом, за тин-тином...

— Я сам привезу тин-тин, — сказал он.

Разговаривая с женщиной, он внимательно следил за ее лицом, словно стараясь угадать ее мысли.

Его подозрение росло, смешиваясь с чувством горькой неудачи, злости и раздражения. Но вслух сказать то, о чем он думал, он еще не решался. Слишком чудовищно и неправдоподобно... Может быть, все объясняется тем, что Тин-Тин еще на что-то надеется, наслушавшись сказочных преданий.

— И знай, — строго произнес Пины, — никто еще в нашем стойбище, ни живущие, ни те, кто ушел сквозь облака, никогда не утверждали, что видели тэрыкы... То, что видел Кэу в пурге, — ему померещилось. Он разговаривал с богами, и боги ответили, что тэрыкы поблизости стойбища нет...

Тин-Тин слушала Пины с опущенной головой, и все в ней противилось тяжелым, полным убежденности словам. Как ей хотелось крикнуть: на этот раз боги ошиблись! Гойгой жив! И даже в облике тэрыкы он остался человеком и мужчиной!

— Того, кого ты ищешь, нет, — продолжал Пины. — Напрасно теряешь время.

Пины говорил это, а у самого в сознании крепло одно: она что-то скрывает. И это неизвестное касается и тэрыкы, и пропавшего во льдах Гойгоя.

Весь день Пины не спускал глаз с Тин-Тин, благо не надо было ему далеко отлучаться: в такую погоду охотник остается дома. Он следил за каждым ее движением, за каждым ее взглядом. Более всего его мучила мысль об исчезновении старого копья Гойгоя. Наконец, измученный невысказанными догадками и предположениями, он напрямик спросил:

— Ты брала копье Гойгоя?

Тин-Тин вздрогнула всем телом: напрасно она это сделала. Слишком заметной была эта пропажа среди немногочисленного оружия, развешанного по стенам яранги.

— Я брала его, — вздохнула Тин-Тин.

— А куда ты его девала?

Тин-Тин молчала в ответ.

Это было слишком. Пины вскочил на ноги и схватил Тин-Тин за волосы.

— Где копье?

Аяна высунула голову в чоттагин, запричитала, захныкала.

Подозрение с болью вырастало в уверенность, и Пины цепенел от страха... Так вот почему Тин-Тин так холодна и безразлична в ночных объятиях! Она ходит к нему, и они предаются любви в снегах, как белые медведи!

Тин-Тин молчала, словно проглотила язык. Она даже не стонала, когда разъяренный Пины бил ее. Упавшие на лицо густые черные волосы закрывали глаза, из которых лились потоки слез.

Пины схватил кусок лахтачьего ремня, связал Тин-Тин и конец закрепил за главный ствол, подпирающий ярангу.

— Если мне не хочешь сказать — скажешь Кэу, старшему брату, — бросил он, выходя из яранги.

Собака подошла к Тин-Тин и лизнула в залитое слезами лицо. Шершавый теплый язык раздвинул спутанные волосы, открыл глаза. В полумраке яранги, при свете вьюги Аяна, злорадно улыбаясь, точила о камень плоский женский пэкуль — нож.

— Сама судьба посылает мне отмщение за несчастье мое, за все мои унижения, — приговаривала женщина, водя лезвием каменного пэкуля по точильному камню. — Сначала выколю твои бесстыжие глаза, чтобы ты перестала видеть свет и погрузилась в вечную тьму. А потом я вскрою тебе твою грудь, полную дурных мыслей и яда...

Тин-Тин вспомнила, как Аяна ловко разделывала убитых зверей, одним ловким ударом вскрывала грудную клетку нерпы, и содрогнулась.

— Послушай меня, — заговорила Тин-Тин. — Если хочешь вернуть себе Пины, ты не должна убивать меня.

Женщина перестала точить пэкуль.

— Лучше освободи меня, и я навсегда уйду отсюда, из этой яранги, из этого мира, — горячо уговаривала Тин-Тин.

— Ты лжешь! — вдруг закричала Аяна и замахнулась пэкулем. — Не было еще в мире такой женщины, чтобы добровольно ушла от мужчины! Нет!

Тин-Тин закрыла глаза, приготовившись к смерти.

И ей даже ненадолго померещилось, что смерть пришла к ней в образе холодного, смешанного со снегом ветра. Но это лишь приоткрылось жилище, и в чоттагин ввалились припорошенные снегом Кэу и Пины.

Прыжком Пины достиг Аяны и выбил из ее руки занесенный над Тин-Тин пэкуль. Срединный столб крепко держал привязанную женщину. Пины рывком поднял ее голову:

— У тебя было время подумать.

Тин-Тин не отвечала. Кэу подошел вплотную и всмотрелся в ее глаза:

— Напрасно упрямишься. Помни — Гойгоя нет! Тот, кого ты принимаешь за него, — это тэрыкы! Тэрыкы!

Если бы они увидели его хоть одним глазом! Тин-Тин вздохнула и закрыла глаза.

Ветер затихал. Эта первая зимняя пурга не бывает долгой, будто природа лишь пробует силу перед настоящими зимними бурями.

Теперь и Кэу подумывал о том, что он видел в нарождающейся пурге не призрак... Рано или поздно старый опыт подтверждается. И для того, чтобы живущие люди не забывали завещанное предками, судьба посылает испытание верности обычаям и подтверждение, казалось бы, невероятным поверьям.

Но почему боги, которых он вопрошал, ничего не сказали о тэрыкы? Или он услышал лишь то, что он хотел услышать?

21

Гойгой приоткрыл отяжелевшие от долгого сна глаза и заметил, что у входа в пещеру как-то посветлело: видно, буря пошла на убыль. Если это так, то Тин-Тин должна скоро появиться. Бедная Тин-Тин!

И причина этого — он, Гойгой, ставший тэрыкы.

Лучше было бы уйти ему сквозь облака. Но тэрыкы умирает только от руки человека. Так сказано в легендах. Но почему боги, превратив его в тэрыкы, оставили ему человеческое нутро, мысли, привязанности и жалость к другим людям? Или он оказался не настоящим тэрыкы? Страдания от размышлений, от жалости к Тин-Тин, к братьям, которые должны его убить, — зачем все это

надо переживать существу, так непохожему на человека?

Вправе ли он взять с собой Тин-Тин и подвергнуть ее лишениям, которых она скорее всего не перенесет? Путешествие через зимнюю пустынную тундру будет далеко не легким. Придется терпеть и голод, и холод, спать в снегу... Выдержит ли все это Тин-Тин? Вправе ли он идти против судьбы, которая предназначила ему стать тэрыкы, а ей остаться среди людей?

Мысли сверлят голову, точно полчища кусающихся острыми жалами насекомых впиваются в живое тело.

Гойгой подполз к входу в пещеру и выглянул. Ветер гнал поземку, полируя возведенные за пуржистую ночь сугробы. Поверх стелющегося, змеящегося снега было ясно и видно далеко. За ближними синими торосами угадывалось крепко замерзшее море, простирающееся далеко за горизонт. Оттуда, заливая белые снега розовыми лучами, поднималось позднее зимнее солнце.

Распухшая нога пылала огнем.

Он вышел из пещеры, опираясь на копье, и глубоко вдохнул вольного, смешанного со снегом ветра.

Он шел к стойбищу навстречу смерти. Так он решил.

И чем дальше он уходил от своего убежища, тем легче и светлее становилось у него на душе, будто и там утихала пурга.

Солнце светило сзади, и от этого большая тень шла впереди Гойгоя и делала его издали великаном. Он улыбался, с удивлением чувствуя холод пронизывающего ветра.

Поутру из полога выполз Пины. Ясный свет струился из дымохода. Посередине яранги, в окружении сгрудившихся возле нее собак, спала Тин-Тин. Она вздрагивала, вскрикивала во сне, но, прислушавшись, Пины ничего не мог разобрать. Легкое облачко жалости мелькнуло в сознании Пины, но он быстро отогнал его, вспомнив упорство Тин-Тин.

Пины прислушался: легкий шорох ветра и шелест снега по насту.

Вдруг одна из собак подняла голову, навострила уши. За ней вторая, третья. Проснулась и Тин-Тин, встревоженно оглядываясь вокруг.

Собака с рычанием выскочила наружу. За ней бросилась вся стая, оглашая просыпающееся стойбище громким лаем.

Пины выглянул наружу.

Тэрыкы шел с холма, медленно спускаясь к ярангам. Он опирался на копье. Пины прикрыл глаза козырьком ладони, пытаясь разглядеть лицо оборотня, но встающее низкое солнце слепило глаза и впереди тэрыкы шла его огромная тень.

Пины вернулся, взял копье и лук со стрелами.

Из своей яранги вышел вооруженный Кэу.

Братья медленно двинулись навстречу тэрыкы.

Тин-Тин сразу догадалась обо всем. Она рванулась, но ремни крепко держали ее. Она закричала.

— Хочешь увидеть свое чудовище? — злорадно спросила Аяна и одним взмахом руки разрезала стягивающие Тин-Тин ремни. — Иди, иди к своему тэрыкы, — ухмыляясь, произнесла женщина. — Пусть братья убьют тебя с ним... Ты уже не человек, так погибни тоже!

Гойгой был уже на расстоянии голоса от братьев, идущих ему навстречу с копьями и настороженными луками. Он хотел сказать им, чтобы они убили его сразу, не мучили.

— Похоже, что он говорит, — сказал Пины.

— Тэрыкы не имеют речи, — твердо ответил Кэу.

И тут Гойгой увидел ее.

Тин-Тин мчалась с развевающимися волосами. Как тень от уносимого ветром облака, она промчалась мимо братьев с криком:

— Не убивайте его! Он ваш брат! Не убивайте его!

Гойгой схватил Тин-Тин. Ее глаза были полны слез. В последний раз он видел их, в последний раз он видел мир, облака, ощущал холодный ветер, в последний раз видел братьев, которые целились в него.

Собравшись с силами, Гойгой отбросил от себя Тин-Тин и шагнул навстречу братьям. И в то же мгновение он почувствовал, как в грудь с тупым звуком впились две стрелы. Боли не было. Был удивительный ясный свет, в котором он поплыл, слыша удаляющиеся крики людей.

Тин-Тин подбежала к Гойгою, но на его широко открытых глазах уже не таяли снежинки.

Под этим нетающим снегом с лица Гойгоя сходила шерсть, и он представал перед Тин-Тин и изумленными братьями таким, каким он уходил в то весеннее утро...

Третья стрела, пущенная из лука Пины, легко пробила кэркэр, и Тин-Тин упала лицом вперед, на Гойгоя.

В синей прозрачной глубине тин-тин,
В замерзших лучах прошлогоднего солнца,
В неясном звоне морских соленых льдин —
Услышать жизнь...
В ярком солнце и в белом снеге,
На вершинах высоких гор,
В порыве ветра и в шорохе трав,
В криках птиц и в песне женщины —
Услышать жизнь...
И, возносясь к звезде Полярной,
В обиталище ушедших душ,
В россыпях звезд, в сиянии неба,
В Невозвратном пути —
Все слышать и слышать жизнь!



ИРВЫТГЫР,

ИЛИ

ПОВЕСТЬ-ПУТЕШЕСТВИЕ

ВО ВРЕМЕНИ

И ПРОСТРАНСТВЕ

ПО

БЕРИНГОВУ

ПРОЛИВУ





ГЛАВА ПЕРВАЯ

ТАНЕЦ КИТА

1

Летом 1959 года вместе с моим другом, которого я назову Русским Поэтом, мы путешествовали по Чукотке. Собственно, у нас была одна цель — добраться до моего родного селения Уэлен и там пожить некоторое время среди моих земляков — охотников и оленеводов, резчиков по моржовой кости.

Нам попался какой-то странный самолет, который долго летал над всей Чукоткой, прежде чем мы поздним, но светлым вечером приземлились на травяном летном поле села Лаврентия, в центре самого далекого не только на Чукотке, но и во всей нашей стране административного Чукотского района.

Мы переночевали в райкоме партии и на другой день уже на маленьком одномоторном самолетике улетели в Уэлен.

В Уэлене, на улице, которая тянется во всю длину Галечной косы, было пустынно и тихо: охота шла на про-

сторах Ледовитого океана, главная охота сезона — охота на кита.

Мы поселились в школе, и иногда по ночам нас будил дружный вой уэленских собак. Ни с того ни с сего сначала на одном краю села завоет собака, ей отзывается другая, присоединяется третья, и спокойный и сонный воздух прорезает истошный, полный глубокой, непонятной печали всеобщий собачий вой.

Мой спутник закуривал сигарету и некоторое время молча слушал. А потом начинался разговор, который иногда продолжался до самого утра, когда в нашу комнату деликатно постукивал старый охотник Василий Рыпэль и сообщал, что видел в бинокль, как в столовую вошла повариха Клава, так что через полчаса можно отправляться туда на утреннее чаепитие. У Рыпэля бинокль был всегда с собой: старик в последнее время стал плохо видеть, и, если ему надо было рассмотреть что-то важное, он подносил к глазам окуляры. Постоянным предметом его наблюдений была дверь в магазин: по виду выходящего он безошибочно определял, несет ли человек бутылку или же идет пустой. Выждав некоторое время, он отправлялся навестить покупателя. После этого он часто возвращался к нам немного навеселе и, отбросив деликатность, старался всячески встрять в наш разговор, о чем бы ни шла речь: о творчестве Фета, истории раннего христианства, о последних литературных событиях, о делах в Союзе писателей или же о новом способе выделки нерпичьей кожи.

Никакие силы не могли погасить красноречия Рыпэля, и даже его сурово-нежная жена ничего не могла с ним поделать, когда он чувствовал себя в водовороте важного разговора.

И только одно заставляло его замолкать и тихо уходить: появление Атыка.

Я уже много писал об Атыке. И с годами облик этого незаурядного человека все больше привлекает меня. Он не только щедро делился своим талантом, но и привлекал к себе людей какими-то другими чертами — и внешними и внутренними.

Мой спутник, Русский Поэт, потом написал о нем целую поэму, посвятил ему книгу, а я как-то еще не исполнил долга своего перед ним. Нет, я часто упоминал о нем. Он существует во многих моих книгах и статьях, но он достоин большего... Его художнический, поэтический дар

был неповторим, я понимаю это, когда вспоминаю его, смотрю, запрокинув голову, как смотрят на сияющую вершину.

Атык был певцом-импровизатором, танцором, поэтом, то есть, если уместно это слово здесь, — человеком искусства. Он родился на этих берегах, в Уэлене, на длинной Галечной косе в такой же яранге, в какой я появился потом много лет спустя. Фотография этой яранги, обнаруженная мной в несколько неожиданном месте — в библиотеке-музее в Номе, — хранится в моей коллекции. Талант был дан Атыку самой судьбой, а не каким-то учреждением или академией, был вместе с ним всю его жизнь, как органическая часть его сущности. Да, он был охотником, резчиком по кости, то есть обыкновенным человеком из Уэлена, но, помимо всего прочего, он был тем, кого называют Поэтом.

Странное дело: пока нечто есть с нами, мы настолько привыкаем к этому, что понимаем его значение только с утратой. То же случилось и с Атыком. Не стало его, и все яснее и яснее становится, что с ним ушло великое и прекрасное. К сожалению, в жизни такое случается не так уж редко.

Но тогда, когда мы с Русским Поэтом жили в школьном домике, Атык еще был на вершине своей славы, своего таланта и своей мудрости. Она освещала весь его облик, как бы светила изнутри, лучилась в его проницательных глазах.

Когда приходил Атык, умолкал даже Василий Рыпэль. Нет, это совсем не означало, что Атык начинал тут же свои речи, декламации и песнопения. Как всякий истинный талант, он был застенчив и молчалив. Он просто сидел с нами, часто разговаривая о пустяках, например о том, что почему-то именно сегодня особенно горько и громко выли собаки, и даже о том, что в магазин привезли какие-то подозрительно звякающие ящики.

Иногда Атык просил Русского Поэта почитать стихи. Нельзя сказать, что Атык блестяще знал русский язык, но ведь истинная поэзия не только в словах. . .

Чаще всего говорили об охоте на кита. Иногда в неожиданно наступившей тишине можно было услышать выстрелы в море. Но удачи у охотников не было.

— Я слышал, Атык, что вы танцуете танец Кита, — сказал Русский Поэт.

Это я ему рассказал об Атыке и знаменитом танце Кита.

— Это танец Удачи, — ответил Атык. — Добудешь кита — я тебе его исполню.

Это было сказано так просто и серьезно, что Русский Поэт озадаченно посмотрел на меня.

— Как добыть кита? — растерянно пробормотал он.

— Тебе надо сходить на охоту, — пояснил Атык, — и вернуться с добычей.

На следующее утро я провожал Русского Поэта на охоту. Он был снаряжен соответствующим образом. На нем был плащ из моржовых кишок, высокие непромокаемые кожаные торбаса и теплые нерпичьи перчатки. Веселый гарпунер Гоном помог ему взобраться на вельбот.

Лодки отчалили от берега, и мы с Атыком еще долго стояли на берегу, глядя на Берингов пролив.

— А ты знаешь, что там у меня живет брат? — спросил Атык, махнув рукой в сторону островов Диомида.

Я молча кивнул.

Мылыгрока, приходившегося Атыку братом, я увидел впервые в конце тридцатых годов во время песенно-танцевального фестиваля, которые в те годы регулярно проводились на обоих берегах. Мылыгрок и Атык вместе танцевали возле Священных камней.

Недавно приезжие строители положили Священные камни в фундамент новой пекарни, и теперь это место, где когда-то совершалось таинство поэтического берингоморского танца, затерялось среди новых домов Уэлена.

Вечером я услышал знакомый деликатный стук в дверь.

— Они добыли кита! — сказал Рыпэль и почему-то в доказательство показал на болтающийся на груди бинокль. — Русский Поэт добыл кита!

Со всех сторон к месту причаливания шли люди: чукчи, эскимосы, русские — работники полярной станции, учителя.

Вельботы, буксирующие кита, медленно приближались к берегу.

Но среди встречающих Атыка не было.

И я ничего не мог ответить на недоуменный вопрос Русского Поэта: где же Атык?

Он пришел, когда разделка кита подходила к концу. Весь его вид, выражение лица говорили о том, что он находится в особом, приподнятом настроении, которое

у поэтов называется — вдохновение. Люди посматривали на него и улыбались. Меж работавших с болтающимся на груди биноклем ходил Василий Рыпэль и объявлял:

— Сегодня будет дано представление.

В те годы Атык уже редко танцевал. Да и голос ослаб. Поэтому известие о том, что сам Мастер будет исполнять сегодня торжественный танец Кита, немедленно распространилось по всему Уэлену. Многие жалели, что Священные камни теперь лежат в основании пекарни, ибо танец, исполненный у древних камней, обрел бы особое, быть может, еще более глубокое значение.

Атык подошел к Русскому Поэту, пожал ему руку и сказал:

— Видишь, твоя охота оказалась удачной.

И загадочно улыбнулся.

Люди собирались у сельского клуба. Тогда он занимал небольшое здание, бывшую школу, где я когда-то начинал учиться у Татро, моего первого учителя. Он еще поныне крепок и бодр и любит похвастаться, что выучил двух писателей — меня и русского ученого и литератора Владилена Леонтьева, автора не только научных, но и беллетристических книг о жизни чукчей.

Атык, Рыпэль, молодой Гоном, Умка сидели на крыльце, и у ног их лежали, отсвечивая желтыми кругами, бубны. Они — словно осколки солнца, а рядом танцевальные перчатки — простые кожаные, расшитые бисером, нарядные, и просто пестрые шерстяные... Перчатки, лежащие на земле, на полу, — это жест приглашения к танцу. Когда много лет спустя я вошел в школьный зал на американском острове Малый Диомид и увидел у ног Мылыгрока как бы небрежно брошенную пару перчаток, я сразу понял, что это значит...

Русский Поэт внимательно слушал мои пояснения ко всем этим мелочам: жестам, отрывистым словам, которые значили многое и были существенной частью приготовления к священному действу берингоморского танца.

Сначала в круг выходили молодые.

Атык почти не пел, погруженный в мысли, в собственные переживания. Он иногда постукивал по ободу бубна гибкой палочкой из китового уса, пробовал голос, но в полную силу не пел.

Атык часто смотрел на Русского Поэта, улыбался ему ободряюще.

Все ждали его танца. Танца Мастера, человека, который пронес в неизведанных тайниках своей души высшее понимание красоты движения, мысли, выраженной через жест, возглас, песню.

А он все тянул, иногда подшучивал над танцующими, просил безотказного и неутомимого Гонома несколько раз выходить в круг, звал молодых девушек, школьников.

Солнце уже клонилось к горизонту, низко висело над Инчоунским мысом. Потянуло с моря холодком и запахом китового жира. Закатные лучи легли на лицо Атыка, и тут он встал.

Певцы подобрались, запели слаженнее, и удары упругих палочек из китового уса стали ритмичными.

Взгляд Атыка был устремлен поверх голов сидящих, в море, за мыс, быть может туда, где он видел своего брата и мысленно приглашал его. Он натягивал перчатки, раскачиваясь в такт замедленной мелодии, которая потом ударит, как неожиданный порыв ветра, как предвестник урагана. Эта часть танца — как бы размышление, примеривание своих способностей, осмысливание того пути, который надо пройти в следующие считанные секунды.

В это мгновение я заметил, как вздрогнул Русский Поэт. Вздрогнули и все, кто стоял под прохладным ветром Берингова пролива. Словно порыв ветра ударил в тугие паруса, и было едва уловимое мгновение, когда Мастер как бы застыл, замер и уже потом начал свой знаменитый танец Кита.

Я давно не видел, как танцевал Атык. И должен признаться: или мои впечатления детства уже потускнели, или все же это было такое исполнение, какого еще никогда не было.

И все, кто был в этот надвигающийся вечер у крыльца старой школы Уэлена, понимали это и чувствовали, что присутствуют при рождении того, что больше никогда не повторится. Кто-то сохранит у себя это в памяти, кому-то потом всю жизнь будут светить эти чудесные мгновения неожиданной и необычной встречи с великим прекрасным.

Русский Поэт, стоявший рядом со мной, был сильно взволнован. Он молча смотрел на исполнение древнеберингоморского танца, и многое бы я дал, чтобы узнать, что же творилось в это время в душе у человека, воспитанного на образцах искусства, которое признано всем

миром, знатока древнегреческой и древнеримской мифологии, тонкого ценителя живописи, хорошо знающего мировую поэзию.

Атык смотрел на море, туда, где пролегали тропы величайших морских животных — китов, что, по старинным преданиям, являются нашими предками. От них пошли все берингоморские народы, охотники на морских зверей, хранители таких танцев, от южных берегов Чукотского полуострова до мыса Барроу на севере Аляски.

Танец закончен. Замер последний звук бубна, словно унесся, оторвался от желтой поверхности еще дрожащей тугой кожи.

Атык медленно стянул перчатки. Они плохо поддавались, прилипли к влажным пальцам. Он обернулся к Русскому Поэту и улыбнулся. А тот, взволнованный, не знал, что делать, как ему вести себя, ибо он ожидал грома аплодисментов, а люди вместо этого лишь облегченно вздохнули, будто это они стояли перед рядом гремящих бубнов, вспоминая и свою историю, и Кита.

— Это прекрасно! — сказал наконец Русский Поэт. — Я никогда не видел ничего подобного!

Об этом могли сказать и все, кто сегодня был здесь. Такого исполнения танца Кита еще никогда не было. И Атык знал об этом. Уже потом, осмысливая это событие как прошедшее, я понял, что в этом случае Поэт разговаривал с Поэтом и они понимали друг друга.

После этого Атык больше никогда не исполнял танец Кита. Года через два он умер, но перед смертью успел услышать по радио стихи, посвященные ему Русским Поэтом, которые так и назывались — «Танец Кита».

2

Я рассказал об этом Нутетеину, эскимосу из Наукана, селения, располагавшегося на самом мысу Дежнева, на виду островов Имаклик и Иналик. Нутетеин был моложе Атыка, но издавна дружил с ним, и они часто состязались на песенно-танцевальных встречах Ирвытгыра — Берингова пролива.

— Атык был великий мастер, — сказал Нутетеин, чей талант был бесспорно признан всеми и даже увенчан необыкновенным для этих мест званием «Заслуженный работник культуры РСФСР».

Мы разговаривали с Нутетеином в маленьком домике на берегу Анадырского лимана. Он приехал в окружной центр, чтобы помочь создать Государственный чукотско-эскимосский песенно-танцевальный ансамбль. Старик был полон молодого задора, энтузиазма и мечтал:

— Мы возродим все полузабытые, несправедливо отвергнутые как шаманские танцы и песни, в которых запечатлелась история культуры морских арктических охотников. И мы покажем такое представление на большой сцене, из которого сегодняшние люди узнают, как мы жили, о чем думали, откуда пришли и почему мы хотим жить нынче по-новому...

Тогда еще строился Анадырский дом культуры, не было здания прекрасного Дворца пионеров Чукотки, и поэтому вновь создаваемый ансамбль репетировал в служебном кабинете начальника окружного управления культуры.

В домике у Нутетеина было пусто. Кроме кровати стояли два пустых ящика — один заменял стол, другой стул.

Нутетеин, особенно по утрам, тосковал. Он смотрел на мутные воды Анадырского лимана и вздыхал.

— На охоту не хожу — разве это жизнь! — однажды пожаловался он мне. — Человек танцует и поет после того, как он поработал... А я вот — не работаю...

— Но вы числитесь главным художественным консультантом! — напомнил я ему титул, изобретенный начальником управления культуры.

Нутетеин только молча махнул рукой. Он смотрел на чаек и мрачнел.

— И чайки здесь другие, — заметил он.

Чайки как чайки... Но я понимал старика. Он вспоминал легких чаек Берингова пролива, быстрых, стремительных. Атык оставил после себя танец Кита, а Нутетеин — танец Чайки... Это два классических наследия, два драгоценных камня, которые сегодня составляют основу беринговского чукотско-эскимосского танцевального искусства.

И танец Кита, и танец Чайки — это не только танцы. И даже не балетные представления в современном понятии. И не зрелища для услаждения взора, утомленного созерцанием однообразия морской поверхности.

Чукчи и эскимосы никогда не ругали свою землю... Это пошло от более поздних пришельцев, называвших

себя завоевателями Севера, или покорителями Арктики. Нередко они называли Север суровым, угрюмым, безжизненным, неласковым... Для нас же он всегда был родной землей, которую нам не надо покорять и завоевывать, ибо она для нас своя, родная. Родину любят и берегут. Разумеется, непривычному человеку на Севере, особенно на первых порах, нелегко... Но сейчас он сюда приходит вооруженный всяческой техникой, проламывая силой атома ледовый покров океана, с пропановыми плитками, бульдозерами, вертолетами и самолетами. И даже такому, ему трудно и непривычно...

В танцах таких мастеров, как Нутетеин и Атык, как бы сосредоточилось понимание прекрасного у арктических народов. И не только прекрасного, но и всего существенного, извлеченного из опыта многовековых наблюдений.

Если танец Кита — это как бы воспевание человека как самой великой и значительной силы природы, как творца и хранителя огня жизни на земле, то танец Чайки — это утверждение единения человека и природы, любовь к красоте, которая заключена и в прибрежных скалах, и в цветущей тундре, и в чистом небе, и в торосистом, освещенном полярным сиянием ледовом море.

Нутетеин недолго прожил в Анадыре: ему хотелось к вольному морю, на охоту. В один прекрасный день начальник окружного управления культуры и директор создаваемого ансамбля обнаружили, что домик на берегу Анадырского лимана опустел: об отъезде хозяев свидетельствовало отсутствие закопченного чайника на одном из ящиков.

Нутетеин объявился в Уэлене.

Ранним утром, когда солнце уже было высоко в небе, Нутетеин надевал чистую белую камлейку, брал лыжи-снегоступы, ружье и отправлялся на кромку припая. Он шел берегом селения, вдоль гряды прибрежных торосов, затем под тенью ближних скал спускался на лед и шел к мысу, легко, как в молодости, перешагивая ропаки и неровно торчащие из-под снега, выпертые сжатием льдины.

Позади оставался Уэлен, и это чувствовалось по тому, как ощутимо изменялся вкус вдыхаемого воздуха. Он наполнялся свежестью дальних открытых полыней, едва уловимыми запахами весенних тундровых проталин.

Поднимаясь на торос, Нутетеин уже видел острова Имаклик и Иналик. Они хорошо просматривались даже с берега, и мысль до них долетала быстрее полета чайки. Да, некогда их было трое, чья слава гремела далеко за пределами Берингова пролива, достигала Уназика и ледяного мыса Барроу. Их знали везде — в каждом маленьком селении, и даже оленные люди из глубин тундры прикочевывали в летнюю пору к прохладному берегу, чтобы увидеть знаменитых певцов и танцоров и потом сказать своим близким и родным: «Да, я видел этих людей. С виду они ничем не отличаются от нас, но в них живет живое вдохновение и радость ощущения жизни, которые они передают в песнях и танцах. Они умеют то, что ни один из нас не умеет, и этому научиться нельзя. С этим только можно родиться!»

Это были Атык, Нутетеин и Мылыгрок. Третий — там, за проливом. Если дойти до острова Имаклик и выйти на его восточный берег — можно увидеть селение Иналик. Оно круто лепится по берегу, как старый Наукан. Яранги-землянки обращены входами в пролив, в сторону острова Имаклик. В тихий день, наверное, даже можно докричаться — ведь по нынешним меркам расстояние всего четыре километра. Давно, однако, не бывал Нутетеин на острове и не видел издали селения Иналик, где должен жить Мылыгрок.

Когда не было добычи — а она не каждый день дается, — Нутетеин возвращался через старый Наукан. Теперь чуть поодаль от покинутых полуземлянок-яранг стояла метеорологическая станция и маяк — памятник русскому казаку Семену Дежневу. Бородатый человек хмуро смотрел в сторону Ирвытгыра. Говорят, что он первым прошел этим путем и рассказал об этом своему народу.

Хорошо путешествовать. Конечно, когда есть на это время. Рассказы повидавших чудное и далекое всегда интересны и поучительны. Как слушали Лайвока, который первым из науканских жителей побывал в Москве и Ленинграде! Многому невозможно было сразу поверить — но это говорил очевидец и земляк, и его рассказ подтверждали учительницы — Елена Ольшевская и Прасковья Беликова.

Через некоторое время Нутетеина уговорили вернуться в Анадырь: ансамбль набирал силу, уже готови-

лась первая программа, были запланированы гастроли, в которые входила и Москва. . . И Нутетеин вернулся на берег Анадырского лимана. Однако своего старого пристанища старик не обнаружил: весенний разлив и быстрое течение подмыли дерн, на котором стоял домик, и унесли его в открытое море вместе с двумя ящиками — столом и стулом. Нутетеину предоставили хорошую благоустроенную квартиру в одном из первых каменных домов Анадыря. Можно было бы поудивляться и ванне, и тому, что за водой никуда не надо ходить: отвернул кран на кухне и налил сколько тебе нужно — хоть чайник, хоть ведро, но на это уже не было времени. Вдруг все заинтересовались ансамблем. Приехал даже балетмейстер из Москвы, который по утрам заставлял парней и девушек, теперь названных артистами, стоять у стены возле укрепленной длинной палки и вертеть ногами и туловищем в разные стороны, подобно подбитому журавлю. Когда Нутетеин впервые увидел такое — он чуть не помер со смеху. Он смотрел на молодого Теплилика, лучшего исполнителя традиционных эскимосских танцев, как тот силился выпрямить по требованию балетмейстера свои чуть искривленные ноги, и как бы страдал вместе с ним. Но после таких упражнений движения танцоров стали легче, изящнее.

И все же ансамбль складывался, намечалась первая программа, в которой вместе с тем, что исполнялось ранее Атыком и Мылыгроком, было многое из того, что дал молодому коллективу Нутетеин.

На первых концертах он выступал со своим сольным номером. Потому что, как сказал балетмейстер и директор ансамбля, «этому нельзя научить». Нутетеин исполнял Полет Чайки, и, хотя и остальные номера концерта были, возможно, не менее интересными и красивыми, именно танец Нутетеина, внешне даже не очень и броский и видный, вызывал самые долгие и искренние аплодисменты.

Однажды я был на концерте ансамбля в горняцком поселке. Рядом со мной сидел огромного роста мужчина в брезентовой куртке. Он бешено хлопал своими огромными ручищами, и в свете косых лучей полуночного солнца от ладоней летела в стороны золотая пыль.

— Вот это да! — кричал мужчина. — Вот это по-нашему!

В перерыве я спросил его, чем же именно понравился ему танец Нутетеина. Он задумался, вдруг заволновался, забормотал:

— Ну как бы сказать, народное, значит, это, и вообще. . . Да разве такое словами можно оценить!

Да, такое словами оценить нельзя.

Такое можно оценить только любовью и уважением. И на склоне своих лет эту награду получил Нутетеин, исполняя танец Чайки на огромных сценах театров Ленинграда и Москвы.

Последний раз я видел Нутетеина в селе Лаврентия, в тесном зальце ожидания местного аэропорта. Я возвращался из Уэлена, а он улетал туда. Прямо на камлейке у него красовалась очередная медаль лауреата смотра народных талантов.

Мы сидели в ожидании вертолета на улице и разговаривали. Нутетеин рассказывал о концерте в Москве, во Дворце съездов.

— Меня спрашивают, — медленно рассказывал Нутетеин, — каково мне было перед таким множеством людей. А что тут такого? Разве это так плохо, когда много людей? . . А я вот о чем думал. . . Думал уже после танца, когда надо было выходить и сгибаться в знак уважения: я думал — о чем мы говорим с другими людьми, когда исполняем свои танцы? Какой знак мы подаем нашему далекому брату, который еще на другом берегу понимания? Мы говорим ему: я тоже человек, посмотри — я такой же, как ты, я — твой брат, иди ко мне, как к другу! И когда зов услышан — это значит, танец дошел до сердца человека на другом берегу понимания, он откликнулся, понял меня. Вот рассуждают — как мы будем разговаривать с жителями иных миров, которые существуют где-то там. . . — Нутетеин поднял голову и обвел взглядом небо. — Думаю, что мы исполним друг перед другом танцы — и тогда все будет ясно и понятно. Мы всегда делали так, испокон веков, и поэтому в Беринговом проливе давно мир и спокойствие. Единственные состязания, которые остались, — это в силе, ловкости и — главное — в танцах и пении.

Голос из репродуктора объявил о посадке на вертолет в Уэлен.

Нутетеин поднялся. Я помог донести до машины его маленький дорожный чемоданчик. Сам он бережно нес

в чехле из обыкновенной защитной материи свой бубен, древний и простейший музыкальный инструмент.

Это было мое последнее свидание с Нутетеином.

Он ушел сквозь облака в Уэлене и похоронен на вершине горы, откуда он в хорошую погоду мог видеть два берега, острова Имаклик и Иналик, привычный глазу морского охотника вид, тропу зверей. . .

3

Однажды мне попала в руки телефонная книга города Нома. Я вообще люблю читать телефонные книги, и это не столь уж скучное занятие, как кажется на первый взгляд. За именами и адресами скрывается целый мир незнакомого человека, его орбиты, по которым вращаются другие миры близких ему людей. И с замиранием сердца ждешь — а вдруг они пересекутся с твоей орбитой и ты познаешь новый, незнакомый еще тебе мир? Такое ощущение возникает у меня, когда в ясную звездную ночь я смотрю в небо в бинокль. Такое же трепетное чувство охватывает меня, предчувствие встречи, неожиданного, радостного столкновения.

Так вот, в телефонной книге города Нома я вдруг увидел: Мылыгрок. Словно электрическим током пронзило меня, как в детстве. Наш колхозный механик изобрел своеобразный способ измерения силы тока в магнето подвесного мотора. Он давал нам, ребятам, конец провода, крутил маховик и деловито осведомлялся: докуда дошел удар — до плеча или до локтя? Если до локтя, то это плохо, а до плеча — вполне достаточно.

На этот раз током меня пронзило всего, и я не поверил своим глазам. Я исследовал возможные варианты транскрипции эскимосского имени, все больше и больше уверяясь в том, что это таки Мылыгрок. Только имя стояло — Линкольн. Тот ли это Мылыгрок, кто был одним из замечательного триумвирата Мастеров Ирвытгыра? Или это родственник, близкий или дальний, может быть потомок?

И вот я лечу в Ном.

В первый же вечер встречи, который состоялся в зале пресвитерианской церкви этого маленького города, где всего-то жителей около трех тысяч и почти полтора десятка разного рода молельных домов и церквей, я встре-

тил Мылыгрока. Не Линкольна, а Дуайта, именно того, кто в действительности и является третьим Мастером.

Сквозь потускневшие дальние годы я вспомнил его: да, он поседел, но стройности фигуры не утратил, точно так же как до самых последних дней своих юношески стройными были и Атык, и Нутетеин.

Он подошел ко мне и сказал просто:

— Я Мылыгрок. Я слышал, что вы меня искали...

Как некий пароль я ему назвал имена Атыка и Нутетеина, и этого было достаточно, чтобы Мылыгрок понял: я все знаю и понимаю.

— Мы сейчас летим на мыс Барроу, — деловито сказал мне Мылыгрок. — Пробудем там несколько дней и возвратимся на Малый Диомид, в Иналик. Там мы с тобой встретимся. И поговорим.

В тот вечер в зале пресвитерианской церкви гремели древние бубны жителей острова Святого Лаврентия, древнего Сивукака, который нынче носит официальное наименование Гамбелл, по имени первого миссионера, обратившего эскимосов этого острова в свою веру.

Перед рядом певцов лежали перчатки, но Мылыгрок даже не подошел к ним. Он сидел рядом со мной, иногда подпевал, но настроения танцевать у него не было.

Он тихо, чтобы не мешать соседям, расспрашивал меня об Атыке, несколько раз подчеркнув: «Он был мне братом...»

Назначенное свидание на острове Иналик могло сорваться, порвать ту непрочную нить связи, которую мне удалось протянуть сквозь годы и расстояния. Но голос Дуайта Мылыгрока дышал уверенностью:

— Жду тебя в Иналике.

Иналик... Крохотное селение, притулившееся к крутому берегу скалистого островка в Беринговом проливе. Весь Берингов пролив в ширину около девяноста километров от мыса Дежнева до мыса Принца Уэльского. Почти посередине пролива лежат два острова, которые официально на картах называют либо островами Диомида — Большой Диомид — советский, и Малый — американский, либо соответственно — остров Ратманова и остров Крузенштерна. Между этими островами ровно четыре километра и сто метров. Около часа неспешной прогулки по льду, который зимой сковывает именно эту часть пролива. Остальная часть Берингова пролива в зимнюю пору, несмотря на кажущуюся узость на карте,

непроходима: сильное течение не дает возможности льду установиться, застыть непрочным мостом между материками.

Иналик сегодня насчитывает полтораста жителей, среди которых проживает только один белый человек — заведующий начальной школой. В остальном Иналик — эскимосское селение, сохранившее в этот бурный век свою этническую чистоту.

Попасть на остров трудно. Погода в Беринговом проливе крайне неустойчива: часты туманы и пурги. В этом месте, между континентами, бушуют постоянные ураганные ветры, которые легко могут поломать посадочную площадку, расчищенную на льду пролива между островами.

И все-таки я прилетел в Иналик. На маленьком одномоторном самолетике, обшарпанном изнутри, с торчащим из обшивки поролоном и поцарапанным пропеллером. Мы пролетели Теллер, сделали круг над Уэльсом и взяли курс на середину Берингова пролива.

Северные селения на громадном пространстве Арктики издали, особенно с воздуха, производят щемяще-жалостное чувство затерянности и иногда даже какой-то безысходности и вместе с тем трогают до глубины сердца своей видимой незащищенностью и каким-то детским доверием к природе.

Это особенно относится к Иналику, который кажется случайно зацепившейся за скалы арктического острова горстью домишек.

Сделав круг и оставив по левую сторону громаду острова Ратманова, мы сели на маленький ледовый аэродром, к которому на снегоходах уже мчались встречающие.

Среди них был и Мылыгрок. Он мне сказал:

— Ну вот видишь — ты здесь. Надолго приехал?

— На сутки-двое, не больше, — ответил я.

— Неделю погостишь, — сказал Мылыгрок, погружая мой багаж на прицепную нарту.

Устроившись в гостевой комнате в школе, я тут же отправился в домик Мылыгрока, который стоял последним в этом крохотном селении. Я видел, как в пурге взлетал самолетик, погода явно и безнадежно портилась.

Мылыгрок встретил меня на улице: он прорубал ступени в твердом сугробе, чтобы гостю легче было подниматься.

Изнутри домик представлял собой крохотное помещение, которое к тому же разделено на три части. В большей — керосиново-мазутная плита, скромная мебель и в углу, под окном, низкий столик-верстачок, на котором белела костяная пыль. Несколько незаконченных фигурок из моржовой кости указывали на то, что хозяин дома не теряет времени понапрасну и всегда в творческом настроении.

— Я рад, что ты пришел ко мне, — сказал Мылыгрок, знакомя меня с женой и двумя сыновьями. — Я ждал этого почти тридцать лет, с тех пор как наши связи прервала холодная война. И я надеюсь, что твой приезд сюда знаменует начало новых отношений. . .

На этом официальная речь Мылыгрока прервалась: на широкие тарелки легли блины и ароматный кофе щедро полился в толстостенные кружки.

Мылыгроку более шестидесяти лет. Но он выглядит намного моложе, подтянут, улыбчив. Заметив, что я осматриваю дом, он сказал:

— Я его построил своими руками, из упаковки, в которой нам привезли новую школу. Дом, конечно, тесноват. . .

После завтрака Мылыгрок на мгновение скрылся в закутке и вынес оттуда несколько книжек.

— Прочти прежде всего вот это, — сказал он мне, раскрыв книгу на заложенной странице.

Книга поучительных историй для народного чтения называлась «Держи открытыми окна своего ума».

«Карл Ломен, оленный король Аляски начала века, рассказывает: один гренландский эскимос долгие годы обслуживал полярные экспедиции. В награду за труды его привезли в Нью-Йорк, чтобы показать ему большой город. И действительно, все изумило его в этом огромном городе. Возвратившись домой, он принялся взахлеб рассказывать удивительные истории о высоченных домах, наставленных один на другой и почти достигающих неба, о неких жилищах, которые движутся по улицам, опираясь колесами на железные полосы, о стеклянных бутылках, внутри которых горит нестерпимой яркости свет. . . Поначалу с интересом слушавшие его земляки постепенно охладели к его рассказу и, не дослушав, разошлись. Новость о вранье возвратившегося путешественника быстро распространилась по селению, и бедняга тут же получил прозвище Садлук, что означало —

Большой Врун. Его настоящее имя было забыто, и он прожил с этой позорной кличкой до конца своих дней.

...Когда знаменитый полярный путешественник, сам наполовину эскимос, Кнуд Расмуссен совершал свое путешествие из Гренландии на Аляску и на Чукотку, его проводником был земляк Садлука — Митек. Впоследствии Митек со своим другом Расмуссеном посещал европейские города — Осло и Копенгаген, некоторое время жил в Нью-Йорке, где видел множество поразительных для эскимоса вещей. Позднее он вернулся к себе, в Гренландию, но, помня трагедию бедного Садлука, мудро решил, что его землякам нужны совсем другие рассказы о его путешествии. Он рассказывал красочные истории о том, как он вместе со своим другом Расмуссеном плавал по Гудзону, разбивал бивак на острове Манхаттан, разжигал костер, охотился на уток, бил нерпу — словом, поездка в Нью-Йорк была удивительно интересной... Митек в глазах своих земляков слыл весьма честным человеком. Соседи относились к нему с величайшим уважением...»

Когда я дочитал до конца, Мылыгрок взял книгу, осторожно закрыл ее и спросил:

— Ну как?

Я пожал плечами: что это — предостережение мне, чтобы я не рассказывал небылиц по возвращении домой? Или что-то другое?

— Люди ищут людей в людях, — размеренно сказал Мылыгрок. — В этих историях для меня поучительно вот что: чем больше мы будем находить сходства, объединяющих черт в людях, тем лучше всему человечеству...

Мылыгрок положил сверху другую книжку. Это был эскимосский букварь, изданный в Ленинграде.

— Я учился грамоте по-английски, — сказал Мылыгрок. — Мне уже было порядочно лет. В сорок четвертом году на наш остров приехали две католические «маленькие сестры». Мы поначалу недоумевали: почему именно к нам и почему — «маленькие»? Потому, что ли, что наш остров невелик? Они открыли школу для взрослых. Читать и писать я довольно быстро выучился. На этом мое образование закончилось... Но, когда я бывал на вашем берегу, я видел, как чукчи и эскимосы учились грамоте на своем родном языке. Вот мне удалось достать эту книгу. — Мылыгрок положил темную большую ладонь

на книгу. — По ней я самостоятельно выучился нашей эскимосской грамоте...

Пурга на Малом Диомиде, похоже, разыгралась не на один день. Каждое утро, просыпаясь, я прислушивался, и первый звук, который я слышал, был грохот ветра и бьющего в стену дома летящего снега. В запорошенное окно едва виднелся пролив, а остров Ратманова исчез в белесой, крутящейся мгле.

Я силился разглядеть ярко-красный конус на ледовой посадочной площадке, но и его не было видно.

В первый же вечер моего приезда в спортивном зале школы островитяне показали мне танцы. Мылыгрок пел вместе со всеми, но не танцевал.

Это было воспоминание моего детства и юности.

...Большие байдары под косыми парусами неожиданно показывались из-за мыса.

— Инэтлинцы[1] едут, инэтлинцы едут! — разносилось по всем ярангам Уэлена.

Кожаные байдары жителей Иналика намного больше уэленских, и они вмещали часто десятка по два человек — мужчин, женщин и детей.

Они причаливали напротив нового здания магазина, и тут же попадали в дружеские объятия родных, близких.

Разумеется, давний обычай имел под собой и экономическую основу: на Малом Диомиде оленей не было, а люди Севера ничего не знают лучшего для зимней одежды, как необычайно теплый и легкий олений мех, словно специально созданный природой для жестоких холодов и пронизывающих студеных ветров. А уэленцы, в свою очередь, получали стальные ножи, табак, всякую яркую мелочь. В годы моего детства в нашем магазине уже было почти все, что раньше покупалось на другом берегу.

Гости обычно устраивались на жительство у своих знакомых или в школе. Они ходили по ярангам, гостевали у одних, переходили к другим и с удивлением рассматривали электрические лампочки, которые в те годы были повешены прямо в ярангах, в пологах, толпой ходили на пустырь смотреть на работу ветряной электростанции, которой заправлял эскимосский паренек Тэнмав, сын костореза Гэмауге.

---

[1] Инэликские, то есть жители острова Малый Диомид.

Спортивные состязания начинала молодежь. Сначала бежали по кругу, прототоренному в береговой гальке. Бежать по гальке трудно, и счет здесь велся на круги — кто дольше продержится. Тут же внутри круга разминались борцы, а у Священных камней уже собирались те, кто ожидал увидеть главное действо — песенно-танцевальные состязания.

Часто к уэленцам присоединялись и науканцы. Три Мастера сходились у Священных камней, обещая необыкновенное зрелище. В конце тридцатых годов искусство всех троих было признано равно высоким, и выступления Атыка, Нутетеина и Мылыгрока уже не носили характера соперничества. Каждый показывал свое.

Атык исполнял танец Кита, Нутетеин — танец Чайки, а какой танец был у Мылыгрока? Я почему-то никак не мог припомнить.

Я спросил Мылыгрока, и он сказал:

— Мой танец можно было бы назвать танец Радости... Но в те годы на такой танец больше прав было у твоих земляков. И все же я отдавал этому танцу все, потому что был молод и полон надежд.

Мылыгрок пережил смерть своей горячо любимой жены. Сейчас он женат вторично, на эскимоске родом с юга Аляски, с полуострова Уналашка. Джесси подарила ему еще одного сына. Он сейчас учится в последнем классе начальной школы.

Ровно семь дней я провел на Малом Диомиде, в селении Иналик.

И каждый день я встречался с Дуайтом Мылыгроком.

И когда я задумал написать эту книгу, в которой есть все — и вымысел и факт, и легенда и строчка из документа, и дорога и долгое сидение в пуржистом Иналике, я решил, что эту книгу будут вести три Мастера Ирвытгыра — Атык, Мылыгрок и Нутетеин.

Накануне моего отъезда, поздним вечером, когда голоса певцов уже несколько сели и охрипли, молоденькая девочка Фрэнсис Омиак подала мне танцевальные перчатки.

— Я их связала для вас, — сказала она смущенно.

Я принял дар.

Конечно, мое исполнение не шло ни в какое сравнение с танцем Радости Мылыгрока, но Мастер был рядом, вел танец уверенно и искоса поглядывал на меня. Я волновался, может быть даже сбивался с ритма, но зрители

были достаточно снисходительны, чтобы наградить мое скромное исполнение аплодисментами.

В тот вечер, двадцать четвертого февраля семьдесят восьмого года, Мылыгрок словно вернулся в молодость. Он был неутомим в танцах и в пении, и Джесси, его жена, шептала мне:

— Я не узнаю его! Он стал словно другим!

Мы еще не раз встретимся на страницах этой книги и с Атыком, и с Мылыгроком, и с Нутетеином.

Древнее название Берингова пролива — Ирвытгыр. Оно означает — «Место Единения». Таким был Берингов пролив для людей, которые любят эту землю беззаветно.

ГЛАВА ВТОРАЯ

МОРЕ КОРМИТ ЭСКИМОСА

1

Охотничий промысел жителя Ирвытгыра — это непрекращающаяся погоня за едой, поиски пропитания, способов поддержания тепла внутри человеческого организма.

Естественно, что и добыча пищи, и связанные с ней действия, обычаи, верования — все это было овеяно особой атмосферой, соответствующими обычаями, верованиями, философией.

Так называемые охотничьи суеверия — от наскальных рисунков до ритуальных танцев — на самом деле являлись способами особой психологической подготовки охотника к его нелегкому делу.

Еще в детстве я познакомился с множеством запретов, связанных с пищей и ее добычей. Прежде всего, находясь за продолговатым семейным общим блюдом — кэмэны, — полагалось брать пищу только ту, что непосредственно находилась перед тобой. И когда, пользуясь моментом, я пытался выискать казавшийся мне полакомее кусочек, я тут же получал строгий оклик:

— Гарпунь моржа у борта, а не вдали!

Это означало, что «морж», на которого я «нацелился», находится гораздо дальше остальной предполагаемой добычи: чтобы бить наверняка, надо «гарпунить» кусок, лежащий непосредственно перед моим носом.

Не полагалось мальчишкам и молодым мужчинам есть некоторые части моржа, тюленя, оленя: на каждый случай имелось соответствующее объяснение. Нарушение каралось тяжелым наказанием: может сломаться рука, щиколотка, нога, ключица и так далее... Я по своей глупости иногда подумывал о том, что все эти запреты выдуманы взрослыми, чтобы оставить для себя самые лакомые части нерпы или моржа.

Кости полагалось обгладывать дочиста. Не дай бог оставить куски мяса, лохмотья сухожилий. Чтобы этого не случалось, нас с детства обучали владению охотничьим ножом, который служит для чукчи и эскимоса универсальным столовым прибором. Считалось, что оставленное на кости мясо означает высшую степень пренебрежения к тому или иному животному, которое, конечно, все замечает, все видит, особенно если дело идет об уважении и почитании.

Ирвытгыр был идеальным для северного человека местом охоты. В проливе пересекались пути мигрирующих животных — моржей, тюленей, китов. Именно на этом месте гуще всего селились люди. Если посмотреть на старую карту Чукотки, изданную еще до укрупнений, упорядочений селений, по побережью Ледовитого океана к Ирвытгыру примыкало около двадцати селений и стойбищ. Еще гуще селились люди южнее Ирвытгыра. От Уэлена до Уэлькаля насчитывалось около четырех десятков населенных пунктов! Это на азиатском побережье пролива. Точно такая же картина наблюдалась и на побережье Аляски, где поселения эскимосов, охотников на морского зверя, тянулись от Алеутской гряды до мыса Барроу и дальше, опровергая привычную мысль европейцев о пустынности и ненаселенности этих мест.

Ко времени встречи жителей Ирвытгыра с белыми людьми здесь уже на протяжении веков существовала высокая цивилизация морских охотников, жили люди, создавшие культуру, орудия труда, жилища, философию и нормы общественной жизни, присущие этому району и этим народам.

Царская Россия, справедливо названная В. И. Лениным «тюрьмой народов», простирала свои колониальные устремления далеко на восток, покоряя крестом и водкой большие и малые народы. Якуты полностью восприняли христианство, сменили свои исконные имена на русские и стали верными союзниками в завоевании ца-

ризмом северо-востока. Они проводили казацкие отряды через реки, горные хребты, служили переводчиками и соблазняли оленных людей преимуществами веры в русского бога.

К трехсотлетию дома Романовых была издана книга с перечнем верных царизму народов. В этом перечне чукчи были названы «не вполне покоренным народом», который не платил обязательной дани царскому дому в виде пушнины и в религиозном отношении стоял далеко от русского православия.

Однако к тому времени жители Ирвытгыра уже хорошо были знакомы и с русскими, и с американцами, которые прибывали с другой стороны.

Географическое положение приморских жителей Ирвытгыра стало бедой: многочисленные корабли ринулись в эти края за дешевой пушниной, моржовыми бивнями, оленьими шкурами, китовым усом.

Если раньше белый человек приходил на эти берега от случая к случаю, то с началом китобойного промысла в Беринговом море Ирвытгыр превратился в постоянное пристанище разного рода не только собственно китобоев, но и разного рода авантюристов.

В детстве я слышал множество рассказов о кораблях «бородатых», о том, как они совершали набеги на беззащитные стойбища и селения, уводили оленей, грабили яранги, похищали девушек...

Бывало и так, что молодые юноши из селений, примыкающих к Ирвытгыру, нанимались на китобойные шхуны, и их туда охотно брали: как-никак эскимосы и чукчи знали толк в китовой охоте.

В яранге у Атыка, неподалеку от очага, на стене, сколоченной из плавниковых досок, выброшенных щедрым штормом, висела ручная гарпунная пушка, отливавшая при мерцающем пламени костра старой медью. В ее ствол свободно пролезал мой кулак. Когда в яранге никого не было, мы с моим товарищем Ачивантином осторожно снимали со стены пушку и подтаскивали ее ко входу. Мы устанавливали ее так, чтобы в ствол было видно море.

Другая вещь, которой Атык особенно дорожил, — старинный морской бинокль в кожаном чехле с медными украшениями. Надо было поймать особо доброе настроение у Атыка, чтобы выпросить у него позволение глянуть в волшебную трубу, приближавшую самые далекие вель-

боты, проплывающие у горизонта, далекие пароходы, путника, мелькавшего среди холмов за южным берегом лагуны.

— Я был еще совсем молод, когда в Кэнискун пришел капитан Джон Кук, — рассказывал Атык. — Его шхуна называлась «Джон энд Уинтроп». Хороший корабль. Американец искал молодого человека, который мог бы быть и переводчиком, и гарпунером. . . А к тому времени я уже прилично говорил по-английски, а уж эскимосский знал, как чукотский. Я понравился капитану. . . Ну, как бьют китов тангитаны — не мне вам рассказывать. Насмотрелся я всякого. Мы оставляли позади себя полуразделанные туши, вырезая из них только китовый ус, часть жира и амбру. Такая вонючая, липкая штука, она образуется в желудке у кита и очень ценится тангитанами.

Работа была трудная, но для меня привычная.

Проплавал я сезон у Кука, побывал в Сан-Франциско. Все, что я в жизни до этого видел и переживал, не сравнить с тем, что я пережил в этом удивительном городе. . . Все заработанные деньги остались в Сан-Франциско, — туманно сказал Атык. — Но на память остался мне этот бинокль, с которым я уже никогда в жизни не расставался.

Конец девятнадцатого и начало двадцатого века — вот годы, когда на Ирвытгыр со всей неумолимой и жестокой тяжестью обрушилось «бремя белого человека».

В те времена случайный путешественник мог набрести на небольшое стойбище на долгом пути от Ванкарема до Уэлена, полное трупов и одичавших от голода и людоедства собак.

А тангитаны продолжали посещать берега Ирвытгыра, привозя лучший и самый удобный в мире товар — спирт. На него все можно было купить. И еще одно свойство было у этого товара — отведав его, владелец пушнины, моржовых бивней, драгоценных изделий из моржовой кости становился необыкновенно сговорчив и покладист.

Сколько было вывезено за бесценок пушнины и других товаров с Чукотки — об этом можно только догадываться и приблизительно представить размеры грабежа, сославшись на один известный пример.

В зиму 1929/1930 года к северу от Колючинской губы зазимовала шхуна американского промышленника

Олафа Свенсона с грузом пушнины более чем на миллион долларов! И это добыча только за один год уже при существующем контроле со стороны советских органов!

Для того чтобы вызволить драгоценный груз, Олаф Свенсон не пожалел денег и нанял специальные самолеты для вывоза мехов на материк. Правда, эта операция закончилась трагически — экипаж американского самолета в составе Эйельсона и Борланда потерпел крушение и летчики погибли, дав имя безымянной косе, которая сегодня называется косой Двух Пилотов.

Первой и главной причиной стремительного вымирания населения на обоих берегах Ирвытгыра была отнюдь не природная беспечность северян, как иногда изображали некоторые капитаны жизнь в Арктике, не их примитивизм, а столкновение с самой природой капитализма.

Сокращались поселения, люди оставались в одиночестве и, не выдерживая его, переселялись, покидая древние обиталища, веками копившийся в очаге пепел костров. Даже такая безобидная болезнь, как корь, опустошала побережье, наподобие невидимого всесжигающего огня.

Люди не могли противостоять даже обычным простудным заболеваниям. И тут ничего удивительного не было: организм людей был подорван голодом, недоеданием или же употреблением недоброкачественной пищи, сдобренной низшими сортами «дурной веселящей воды», которая в то время широко потекла на морское побережье, а оттуда в тундру.

Тогда и начали появляться даже у серьезных ученых предсказания и предположения о якобы неизбежности вымирания малочисленных северных народов, об их неспособности противостоять натиску современного мира, контактам с предприимчивым белым человеком.

Царскому правительству, занятому трудными проблемами в связи с подъемом революционного движения, войнами, недосуг было заняться судьбой каких-то страшно далеких, едва похожих на людей существ, закинутых судьбой на самый край Азиатского материка. Американское же правительство цинично заявляло, что не желает вмешиваться в самобытность жителей Аляски и островов Берингова пролива.

И возможно, случилось бы непоправимое: люди попросту бы вымерли, если бы не Великая Октябрьская социалистическая революция.

2

Перед началом праздничного концерта, посвященного двадцать третьей годовщине Октября, я пораньше пришел в школу. Я уже был первоклассником и имел полное право заходить в это самое большое здание в Уэлене, казавшееся нам огромным дворцом.

Когда я впервые услышал: «Зимний дворец» — я прежде всего представил себе нашу школу: теплую, со множеством комнат, с кухней, где в плиту был вмазан вместительный котел, в котором всегда вдоволь талой воды изо льда или снега. Такое же здание в моем тогдашнем представлении стояло на берегу Невы в далеком Петрограде. Царь, видимо, занимал ту же комнату, что и наш директор школы, а остальные домочадцы и охрана проживали в классных комнатах. Царь пешком, по длинному коридору, ходил в нужник, в котором было отчаянно холодно и из круглой дыры свистел ветер. . .

В предпраздничный день вся школа и снаружи и изнутри украсилась флагами и транспарантами. Белыми буквами, вырезанными из бумаги и наклеенными сгущенным молоком на кумач, были начертаны лозунги на родном чукотском языке. Привычные слова в строгом начертании выглядели непривычно и даже иногда смешно. В большом зале, который получался, когда между двумя классами снимали перегородку, висели портреты, и среди них мой любимый портрет Буденного.

В первом классе я мечтал стать кавалеристом и даже для практики пытался взобраться на нашу собаку, которая тихо рычала, выскальзывала из-под меня и убегала на берег лагуны, где я ее уже не мог поймать.

Само торжество намечалось к вечеру, но в школе уже собирались самые нетерпеливые, и среди них большинство было таких же, как и я, младших школьников.

Для того возраста, в котором мы пребывали, прошлое — это всего-навсего вчерашний день или в лучшем случае лето прошлого года, заполненное тревогами и предположениями: возьмут или не возьмут в школу? Одних брали в семилетнем возрасте, других — только вось-

милетними. О давнем прошлом попросту не задумывались, и дореволюционное время для нас было седой, далекой, дремучей древностью, теряющейся на границе преданий и сказаний о волшебных превращениях.

Но для наших отцов прошлое было хорошо еще сохранившимся в памяти.

И мы слушали рассказ Атыка о его мытарствах на китобойной шхуне затаив дыхание.

— В этом доме раньше жил исправник Хренов, — рассказывал Атык. — Когда я шел мимо, его жена показывала на меня пальцем и говорила дочери: «Если ты не будешь есть кашу, я тебя отдам вот этому чукче и он тебя съест!» В Сан-Франциско меня, проголодавшегося, не пустили в харчевню и еще сказали вслед: «Куда лезешь, морда!» Словом «человек» мы называли только друг друга, — горестно вспоминал Атык. — Когда совершилась революция и весть об этом дошла до нас, мы поначалу не поняли, что это такое. Да и откуда нам, неграмотным, было знать. Внешне все оставалось по-прежнему: тот же Хренов, те же торговцы. . . И вдруг говорят: большевики приехали. Сначала мы не поняли, кто это такие. Но они удивили нас сразу. Собрали всех и сказали: «Отныне вы все хозяева и своей земли, и своей жизни». Не совсем понятно было. И раньше-то мы считали себя хозяевами своей жизни и не спрашивали никого, как нам поступать. А дело было вот в чем: начиналась новая жизнь, и хозяевами этой жизни мы были сами. В чем новизна этой жизни была? А в том, что, скажем, вельбот, принадлежавший Гэмалькоту, отныне принадлежал всем. Так же было с байдарами, китовыми пушками. И на охоте добыча делилась поровну, и больше не надо было отдавать большую ее часть хозяину вельбота и байдары. Приехали учителя. . . Среди них был Петр Яковлевич Скорик. Тот самый, по чьим учебникам вы теперь учитесь. Приехал, не зная языка. . . Выучился и выучил нас читать и писать. Вам трудно понять, что значила грамота, наша собственная чукотская грамота для нас. Мы все думали, что она только для тангитанов и никакому чукче или эскимосу никогда ее не одолеть. Одолели. . . И стали уважать себя. И те, кто приехал и назвал себя большевиками, больше не пугали чукчами своих детей. Потом пришли доктора и стали лечить. Это было ново и поначалу страшно. Шаманы обиделись и затаили злобу на врачей. Те, кто поумнее, поняли, что доктор лечит лучше, и не

стали препятствовать. Скорик и другие большевики-учителя говорили нам: в нашей новой стране, в Советской стране, нет разницы между людьми, ибо мы все пришли в этот новый мир одинаково бедными и будем строить будущее вместе. Мы будем уважать обычаи людей и извлекать из них лучшее для будущего.

...Возможно, что на этом вечере был доклад, но мне запомнилась речь Атыка и его танец, который он исполнил вместе со своим другом Анкакымыном. Это был совсем новый танец, который мы еще не видели. Не о морской охоте, не о летящих птицах, не о китах. Это был танец об открытии новой лавки, в которой охотник покупал по новым, справедливым ценам новый винчестер.

С этого танца в творчестве Атыка началась новая полоса. Он пытался отразить в ограниченных, строго и навсегда отобранных жестах и напевах то новое, что пришло в Уэлен. Если бы произведения Атыка были записаны, сняты на пленку, проанализированы, сегодняшние историки искусства увидели бы воистину драматическую и мучительную работу подлинного художника, ломавшего каноны, нерушимые правила древнего искусства. Нашлись бы, очевидно, в творчестве Атыка подлинные открытия, новаторские приемы, которые незаметно, исподволь перешли потом в творчество многих певцов и танцоров Ирвытгыра.

Могу только вспомнить, что в те годы все значительное, что происходило на Чукотке, по эту сторону Ирвытгыра, немедленно отражалось в творчестве Атыка.

Я уже не раз писал о знаменитой песенно-хореографической композиции, посвященной челюскинской эпопее, которую мне довелось увидеть в детстве. Это была удивительно волнующая вещь даже для маленького мальчика. Как живой перед моими глазами стоит Атык, разгоряченный танцем, застывший наподобие ледяной глыбы, и в высоко поднятой руке он держит маленький красный флажок.

Атык пел о колхозном строительстве, о новом маяке, который поставили как раз на том месте, откуда высматривали проходящих китов и моржовые стада, о первом выпуске уэленской школы, о проводах первых студентов Анадырского педагогического училища...

Двадцать восьмого июня сорок шестого года, нака-

нуне своего отъезда из Уэлена в Ленинград, я пришел попрощаться с Атыком.

Его яранга стояла недалеко от интерната, в низине, обращенной к лагуне.

На Уэленской косе уже повсюду стаял снег, на буграх зазеленела трава, зеленым пухом сбегая к журчавшему ручью. Но в море еще белел ледовый припай, простирающийся от берега на несколько километров.

Как обычно, Атык сидел у порога своего жилища и что-то мастерил.

Я поздоровался с ним и присел рядом.

Мы долго молчали. Потом он спросил:

— Когда уезжаешь?

— Завтра. Науканские обещали взять на свою байдару.

— В Ленинград?

Я кивнул.

Атык вздохнул и сказал:

— Далеко.

Да, Ленинград далеко от Уэлена, но он уже тогда был хорошо знаком уэленцам. Наш земляк Отке учился там, погиб под Ленинградом мой родич художник Вуквол... Не раз к нему в гости ездил его брат Туккай и привозил оттуда занимательные рассказы о городской жизни. От него я подробно узнал, как на самом деле выглядит жилище бывших царей — Зимний дворец.

— Долго тебе придется ехать, — еще раз вздохнул Атык.

Ехать и впрямь мне пришлось долго: почти три года. По дороге в Ленинград я успел поработать грузчиком в бухте Провидения, кончил два курса Анадырского педагогического училища и даже проучился половину семестра в Хабаровском педагогическом институте.

Но тогда, в Уэлене, мне казалось, что я приеду в Ленинград той же осенью.

— Тосковать будешь, — сочувственно произнес Атык. — Но когда сильно затоскуешь — вспомни наши песни. Это помогает.

Атык оживился, отложил работу и задумчиво сказал:

— Вот когда я был далеко от Уэлена — я только песнями и жил. Вспомню какую-нибудь — и тут же перед глазами знакомый берег лагуны, вон те зеленые холмы, яранги, шум морского прибоя и даже запахи родных очагов...

Атык запел. Он пел негромко, почти про себя, но я хорошо слышал: это была нежная, новая мелодия. В ней была грусть расставания и щемящая сердце сладость сознания того, что есть на огромной земле Галечная коса, твоя родина — два ряда яранг, вытянувшихся с запада на восток.

Эта мелодия, песня без слов, запала мне в память на всю жизнь. И она всегда звучит во мне, на всех моих путях-дорогах, напоминая родной Уэлен и берег Ирвытгыра.

3

— Я прошлое плохо помню, — признался как-то Нутетеин. — Не гожусь я на роль дедушки, рассказывающего о прекрасном прошлом, когда люди были лучше, зверя больше, мясо жирнее и женщины красивее. . . Мне всю мою долгую жизнь казалось, и в этом я уверен и сегодня: будущее всегда лучше прошлого, каким бы прекрасным ни было уходящее. Мне всегда не терпелось заглянуть в завтрашний день. Уж я такой, — извиняющимся тоном сказал Нутетеин и замолчал.

Пришлось долго ждать, когда он снова заговорит.

Мы сидели в одной из комнат его новой анадырской квартиры, пили чай и смотрели в широкое окно на захватывающий дух простор Анадырского лимана.

Была зима, снег лежал за оконным стеклом и на вершинах дальних хребтов. . . Снег уже блестел и на голове Нутетеина.

— Иногда вот что приходит на память, — тихо продолжал Нутетеин. — Ночь. Ураган треплет моржовую крышу яранги, и сердце замирает от страха — а вдруг оторвет и унесет в море, в кипящие волны, на острые подводные камни. Такое частенько случалось в нашем Наукане. . . Потом вспоминается голод. Страшное время. Такое чувство, что ты никому в мире не нужен, даже самому себе. И непонятно, зачем боги послали тебе жизнь, привели тебя в этот прекрасный мир, который сам по себе живет, не нуждаясь в тебе. Сначала варили кожу со старых байдар. Целый день в котле кипело вонючее варево, и есть его приходилось, зажимая нос. Мальчишкой я спускался в опустошенные мясные ямы, чтобы найти там хотя бы кроху съестного. . . От слабости ноги не держа-

ли. Идешь-ползешь по Наукану и боишься, чтобы ветер тебя не сдул в море...

Запомнил я приезд американских туристов. Теперь я многое понимаю: они смотрели на нас, как на забавных, очень похожих на людей животных, и, скажи им тогда кто-нибудь даже в шутку, что мы им ровня и братья, подняли бы его на смех или рассердились... Они ходили между яранг, громко хохотали, показывали друг другу пальцем что-нибудь интересное, необычное и фотографировали. Ставили нас к стене яранги, ближе к байдаре, возле старого китового черепа, иногда даже давали подержать что-нибудь во рту, например полуобглоданную кость... Наверное, кто-нибудь из детей тех путешественников-туристов теперь смотрит на эти старые пожелтевшие фотографии...

Нутетеин взял из вазы, стоящей на столе, апельсин и грустно улыбнулся.

— Вот за такой апельсин я фотографировался... Я не мог оторвать взгляда от этого удивительного плода, словно крошечного детеныша самого солнца. Да я не только сфотографировался, сделал бы еще что-нибудь необыкновенное, чтобы только заполучить этот апельсин. И я получил его. Было большое искушение сразу же съесть. Но в то же время было безумно жалко разрушать эту красоту. И я наотрез отказался резать апельсин. Я положил его за пазуху, и плод лег на мой живот своей прохладной пупырчатой кожей, согрелся там и потом напоминал мне о себе удивительно живой тяжестью. Так я жил с апельсином несколько дней. Спал с ним, ел, ходил на охоту. Но однажды, когда я его вынул и посмотрел на него, любуясь удивительным цветом, я вдруг увидел сбоку зеленоватое пятно, потом другое — апельсин портился. Заболел... Пришлось его съесть... И наконец, первая книга, которую я увидел, и читающего человека. Это был русский учитель. Он сидел в школе, перед керосиновой лампой, и шевелил губами, будто разговаривал с невидимым собеседником. Этим собеседником была книга. Я как раз возвращался с охоты. Школа работала уже второй год, и детишки пытались овладеть грамотой. Я тогда не считал это серьезным и дельным, поэтому отказался ходить в ликбез. Но этот читающий учитель что-то перевернул у меня в душе. Не помню, сколько времени я простоял у окна, пока совсем не закоченел. Все глядел и глядел на читающего человека, на

его лицо, в котором отражались мысли, чувства. Человек жил какой-то другой жизнью, и я понимал и чувствовал, что в это самое мгновение он был не здесь, в ветхом домике, лавке, приспособленной под первую школу в Наукане, а совсем в другом месте, может быть даже в жарких странах, о которых я недавно услышал и очень этим интересовался, особенно намерзшись за целый день на дрейфующем льду Ирвытгыра. На следующий вечер я уже сидел за партой и пытался написать первую букву.

Нутетеин помолчал.

— Может быть, с тех пор я и старался жить только будущим. Ибо не терпелось мне побыстрее одолеть стену, которая стояла между мной и теми многочисленными разговорами, которые застыли в строгом молчании в буквах. Я разглядывал строки, вглядывался в очертание каждой буквы и, представляете, находил сходство с людьми... Трудно открывалась мне грамота. Может быть, потому, что я очень торопился и все ждал, когда со страниц вдруг грянет голос и разбудит меня. В таком ожидании я ложился спать с букварем и клал его под голову. Часто просыпался ночью, прислушивался, но, кроме ветра, ничего не слышал... А вот во сне видел часто себя грамотным, громко читающим и разговаривающим с буквами. Меня иногда попрекали потом, что, мол, живу как-то оторванно, где-то впереди, где еще никого нет. Может, это верно было. Переделал ярангу по-новому, прорубил окно, соорудил подставки-кровати, старался носить матерчатую одежду. В переделанной яранге было страшно холодно, а в матерчатой одежде я часто простужался. Не обращал на это внимания. Пел я о будущем и видел себя чайкой, летящей против ветра навстречу будущему... Помню, поехал впервые на культбазу, в залив Лаврентия. Там все было в диковинку: ряды деревянных домов, железная дорога, больница, интернат, радиостанция и ветровая электрическая станция. В большой пекарне пекли хлеб и возили на вагонетке в интернат. И только на мысе Кытрыткын, на отшибе, стояла яранга Пакайки, одинокого жителя этого места. Пошел я как-то к нему в гости, вошел в ярангу, вдохнул дым костра, где горели куски плавника, подобранного на берегу, и вдруг подумал: «А что будет, если все это исчезнет, уйдет, как дым, сквозь отверстие в яранге, навсегда? Что тогда останется?» Пакайка уго-

щал меня черным русским чаем и хвастался, что ему сказочно повезло:

— Мои дети прямо с порога яранги идут в будущее. Бегают в школу, живут в интернате и приходят ко мне, когда скучают по нашей чукотской еде... Все у них хорошо там, на культбазе, только еда или слишком сладка, или слишком солена. Нет той в ней крепости, что в нашем копальхене, в моржовом или нерпичьем мясе. У нас ведь как — поел утром и до самого вечера сыт. А у них — три раза в день кормят да еще посреди дня чаепитие устраивают, будто они не молодые ребятишки, а бездельничающие старухи...

Пакайка мечтал о будущем для своих детей, и его мечты сбылись. На том месте, где стояла одинокая яранга старожила залива Святого Лаврентия, выросли многоэтажные дома районного центра. Мне тогда, в яранге Пакайки, пришла мысль о том, что песня может сохранить многое. Может быть, именно в песне и нашем танце более всего отстоялся дух народа. И подумалось: пока будут звучать наши песни, пока мы будем исполнять наши танцы, пока будет звучать родная речь — мы будем оставаться жителями Ирвытгыра, даже если будем жить во дворцах из стекла и камня...

Восприятие новой, незнакомой жизни моими земляками — это благородное и интереснейшее поле для исследования. Мы, рожденные уже при Советской власти и выросшие в новом нравственном и идейном климате, можем только догадываться о той мучительной и трудной ломке в психологии, в сознании, в обычаях, которые переживали наши отцы и деды.

И если говорить о еще одной благородной грани Великой Октябрьской социалистической революции, то эта грань касается важнейшей области жизни человека: области межрасовых отношений.

К началу двадцатого столетия белый человек в глазах жителей Ирвытгыра настолько не заслуживал уважения, что, когда говорили о ком-то, что он «стал как белый человек» или «поступил как белый человек», это означало, что он пал очень низко в глазах своих земляков.

И в таком отношении была своя причина. Вслед за путешественниками, обуреваемыми жаждой новооткрытий, познания земли и неведомых народов, шли обыкновенные торговцы, для которых главной целью была

нажива. Нажива любой ценой, даже попросту грабеж. Северные пространства для рыцарей наживы были благодатной сферой приложения их сил. Взять что-то у дикаря, который в глазах торговца отнюдь не принадлежал к роду человеческому, задаром, отнять силой или за сущую безделицу — все это считалось обычным делом. Точно таким же обычным почиталось брать без всякой платы в услужение женщин, с которыми приживались дети, не считавшиеся, однако, в глазах пришельца белыми людьми.

Ложь, обман, хитрость, жадность, равнодушие к беде и боли другого — пороки, которые из века в век почитались постыдными и низкими, — в таком изобилии наличествовали у так называемого белого человека, что люди Ирвытгыра только диву давались и старались первое время подальше держаться от покорителей Арктики.

В своем «Аляскинском дневнике», к которому мне не раз придется обращаться в этом повествовании, я нашел запись разговора с Мылыгроком.

«Случилось так, что я долго не был на азиатском берегу Ирвытгыра, — вспоминал Мылыгрок. — До меня доходили слухи об установлении новой власти в России. Но, честно говоря, меня это мало интересовало: в дела белого человека мы не вмешивались, да и было бы смешно вмешиваться... Ты знаешь, что мы получили право голосовать за нашего президента только в конце пятидесятых годов! А в то время! Какие там выборы!.. Я почему-то думал, что большевики — это какие-то религиозные деятели. Но вот что настораживало: уж больно сильно ругали их наши газеты. И ругали их потому, что, мол, большевики за то, чтобы у людей все было поровну. И я тогда думал: может, это наши старые эскимосы каким-то чудом воскресли и возродили древнее право равного дележа?.. Потом я приехал в Наукан, в Уэлен... Да, это было совсем не то, что ожидалось. И честно скажу — завидовали мы нашим землякам по Ирвытгыру. Словно другое солнце для них взошло».

Однажды довелось мне с младшим сыном плыть по Ирвытгыру с южной стороны, из бухты Провидения, на маленьком гидрографическом судне «Маяк».

— Никогда не думал, что Берингов пролив так широк! — удивился сын.

Весь путь от бухты Румилет, где мы провели несколько дней и ночей, до Уэлена нас сопровождали стаи китов, косаток, дельфинов, то и дело по курсу выныривали моржи, тюлени. Тысячи птиц летели в разных направлениях...

Острова в Ирвытгыре лежали впереди, маня синими крутыми берегами. Отсюда, с юга, Ирвытгыр представлял собой внушительное зрелище — видно было все: и берег Азии, оканчивающийся мысом Пээк, или иначе мысом Дежнева, и мыс Кыгмин — мыс Принца Уэльского. Дальше, за двумя островами Имаклик и Иналик, открывался удивительно широкий, просторный Ледовитый океан, в то лето почти свободный у берега ото льдов.

Погода в Ирвытгыре неустойчива.

Летом — бесконечные сырые, плотные туманы с редкими проблесками. Зимой — пурги, мороз и беспрестанное движение льдов, зловещее их шуршание о береговые скалы и зеленоватая толща студеной океанской воды.

И — берега... Манящие, уютные берега друзей...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

БАБУШКА АЛЬПЫНА И КНИГА

1

Летом 1977 года в бухту Провидения вошло стадо моржей и расположилось на мелководье у продовольственного магазина «Снежный». Многие жители поселка, иные прожившие лет по двадцать, впервые видели клыкастых животных, хотя изображение моржа украшает даже этикетку водочной бутылки производства Магаданского винно-водочного завода.

Я шел со стороны мыса, где расположено провиденское кладбище. Могилы вырыты в суровой каменистой почве, высоко над морем. В тихую погоду отсюда открывается величественный и до головокружения прекрасный вид. Отчетливо просматриваются далекие мысы, водная гладь до другого материка, отражающая небо и облака. Еще не весь лед ушел из бухты: кое-где плавали обломки ледяных полей. Я обошел могилы, места успокоения людей, которых я хорошо знал. Сережа Теплилек... Он снимался в кинофильме «Самые красивые ко-

рабли» и умер в разгар съемок... Володя Седых, сын эскимоски Ухсимы... Капитаны, моряки, оленеводы...

У магазина мне повстречалась похоронная процессия. Умерла бабушка Альпына. Она — живая история науканских эскимосов, ближайших наших родичей.

Гроб был установлен на украшенной кумачом грузовой машине. Прильнув к краю открытого гроба, в горе застыла дочь. Первой за гробом шла внучка — эскимосская поэтесса Зоя Ненлюмкина. В неутешном своем горе она никого не замечала вокруг: бабушка Альпына была для Зои больше, чем родной человек. Несколько дней назад она приходила ко мне, рассказывала о бабушке, о том, чем она обязана ей... Бабушка умерла, не приходя в сознание, но держа в руках руку любимой внучки.

Моржи играли у берегов Наукана, живые, мощные, лоснящиеся толстой бугристой кожей.

С высокого берега, из дверей каждой яранги, обращенных прямо на пролив, можно было увидеть проплывающих мимо животных.

В сорок шестом году я провел весну и начало лета в Наукане. Охотился на моржа и светлыми летними ночами ходил в крохотную школу, где в небольшом зальце эскимосы пели свои древние песни. Нутетеин, еще сильный и молодой, играя своими сильными руками в вышитых перчатках, выходил перед певцами. Это было время исполнения его знаменитого танца «Полет Чайки», который потом стал классикой эскимосского песенно-танцевального искусства. Приехал из Уэлена Атык, с Иналика на кожаной байдаре приплыл Мылыгрок, и после моржовой охоты, когда береговая галька еще была скользка и мокра от крови, в школьном домишке началось пение, и удары бубнов разбудили уснувших на птичьем базаре, в крутых скалах кайр.

Среди зрителей находилась учительница Валя Кагак. В эту весну она выходила замуж за русского учителя Серикова и всем своим видом подчеркивала некий уход от древнего эскимосского быта и уклада. Только вчера я помогал ей переносить железную кровать, привезенную из Уэлена. Ее установили в пологе родительской яранги, и железные ножки глубоко вдавились в моржовую кожу-пол, настеленную на мягкий тундровый мох.

Среди поющих была и бабушка Альпына, в ту пору еще молодая и сильная женщина.

Она выходила на крохотную площадку перед поющими и затеняла глаза ресницами, именно так танцует эскимосская женщина: с нежностью, кротким и любящим взглядом, с мыслями, глубоко запрятанными в горячем сердце. В движениях тела — слабый намек, затаенное обещание.

Интересно, что через много лет, когда я увидел эскимосских девушек, учениц средней школы в Номе, танцующих перед бубнами, вдруг ощутил отсутствие чего-то важного, значительного и существенного. Девушки танцевали с широко раскрытыми глазами и улыбались зрителям. И хотя движения их были вполне соответствующими вековым строгим требованиям исполнения эскимосского танца, лишенный едва уловимой стыдливости, танец был уже не тем. . .

Я не был знаком с бабушкой Альпыной. Зато я много знал о ней из рассказов, стихотворений, заметок, а то и просто разговоров с Зоей Ненлюмкиной.

Я хорошо мог представить ту обстановку, в которой она родилась и выросла: крутые тропы Наукана, землянки-яранги, вросшие в скалистый уступ, птичий гомон по весне и далекий, тревожащий и будящий крик моржа в Беринговом проливе. И зимние ураганы, часто уносящие человека в размолоченное ветром море, в ледяное крошево. . .

В любви ожидание и встреча — это два великих события, которых часто лишен современный человек. Любимый уходит в море, в опасность и в то же время искать пищу, добычу, а значит, и жизнь. Сначала он хорошо виден в прибрежных торосах, а потом скрывается, растворяется в синеватой зимней белизне, в студеном ветре, в легком снегопаде, рождающемся в чистом, синем, промороженном, бессолнечном зимнем небе. . . И наступает долгое время напряженного ожидания, тревожных предчувствий, сладких надежд; приходит мечта увидеть, услышать, ощутить снова близость любимого человека, с которым тепло в самую лютую стужу. Сколько надо волевого усилия, чтобы не дать подняться из мутных глубин памяти страшным легендам, рассказам об унесенных на льдинах, превратившихся в оборотней, ставших добычей диких зверей.

И все же взгляд то и дело обращается на ледовую поверхность пролива, ищет темную фигурку, которую любящее сердце может узнать по походке, по неулови-

мым признакам даже на таком значительном расстоянии.

И в сердце в это время рождаются самые нежные слова, которые никогда не будут сказаны, произнесены вслух, чувства, которые прожигают насквозь и дымком нежности окутывают любимого.

И даже рвущуюся из сердца радость надо держать внутри, загонять ее в те глубины, где она еще больше горячит кровь.

Охотник долго поднимался по крутому берегу Наукана. Он шел слегка согнувшись: на ременном буксире за ним волочилась добыча — нерпа, лахтак или же — о, какая это удача! — свернутая шкура белого медведя.

Женщина уже ждала его с ковшиком холодной воды. Это для того, чтобы дать напиться гостю-добыче и самому охотнику. Этот ритуал уходит далеко в древность и все же сохранился до наших дней. Я помню, как знаменитый косторез, лауреат Государственной премии Иван Сейгутегин возвращался с добытой нерпой с моря. На крыльце большого многоквартирного дома со священным ковшиком его ожидала жена, которая неодобрительно и подозрительно посматривала на меня. Но мне хотелось убедиться: сохранил ли в своем сердце Иван Сейгутегин почтение к обряду, к памяти о своем отце, знаменитом морском охотнике, которого тоже звали Сейгутегин. И когда он все это свершил с уважительностью и даже основательностью, я подумал не о силе традиций, не о живучести пережитков, а о том, что человеческое в человеке, даже иногда не осознаваемое разумом, сильно и вечно.

Сущность и ценность человека не только в нем самом, в его индивидуальной непохожести на других людей, в его самобытности, в его внутренней священной свободе разума, но и в неразрывном единстве с породившей его землей, что зовется родиной. В этой земле не только его история, прошлое, настоящее и будущее, но и образ мира в его величии. И даже Вселенная. Сказанное в не меньшей мере относится и к его соплеменному окружению, которое продолжает человека не только в его близких и дальних родственниках, но и распространяется на весь народ, на всю человеческую общность, что зовут народом, народностью, а ученые-этнографы — этносом. Чукчи это называют словом «варат», что приблизительно можно перевести как «общинносущие».

Вот почему так важно для человека иметь свою родину, место рождения, сферу обитания его родичей, его народа, его этноса. И как бы ни была природа этого края скудна и даже безрадостна в глазах других людей, она для него — самое прекрасное, самое близкое, самое родное, и оно может быть сравнимо только с матерью...

Наукана сегодня больше нет. В конце пятидесятых годов, в пору укрупнений, концентраций и других хозяйственных экспериментов, решено было Наукан переселить. Объяснение было такое: невозможно вести крупное строительство. Рядом были хорошие места, где можно было поставить новый Наукан, сохранив и этническую общность, привычную языковую среду, культуру, и те нравственные устои, которые позволили людям на самом краешке материка стоять крепко и гордо хранить человеческое.

Часть науканцев переселилась в Уэлен, часть — в Лорино, большинство — в селение Нунямо, у входа в залив Лаврентия.

Сегодня уже и Нунямо нет. Пришло в упадок хозяйство, культура, порушились старые семейные и нравственные устои людей, которые были сильны прежде всего тем, что жили на своей земле и жили вместе.

Последнее, что сделали с остатками науканцев, — переселили их в районный центр Лаврентия, где нет охотничьих угодий, привычного занятия, с одной стороны, с другой — нет крупного производства, на котором эти жертвы социальных экспериментов районного масштаба могли бы найти себя. Гордым морским охотникам, привыкшим к вольным просторам океана, китобоям, предлагают конторские должности, места кочегаров и уборщиков, неквалифицированных работников многочисленных районных учреждений.

Некоторые из науканцев живут в Анадыре, есть они и в бухте Провидения.

Я побывал на могиле бабушки Альпыны. Свежая желтая земля Чукотки еще не потемнела. На жестяном венке надпись: «От дочерей и внуков». И надпись на обелиске: «Альпына. 1901—1978 год».

А день был такой прекрасный, ясный, с океанским дуновением, и темные скалы с белыми заплатами нерастаявшего снега отражались в спокойной воде.

На обратном пути я завернул ближе к бухте, где возле маяка-мигалки с укрепленным на высокой башне колоколом недавно поставили памятник Витусу Берингу. Огромный якорь впаян в цемент, и на чугунной доске навечно выбита надпись. Этот памятник сохранится долго, как и имя мореплавателя, увековеченное в названии пролива, разделяющего два великих континента... Хотя из европейцев этим проливом впервые прошел Семен Дежнев, не говоря уже о том, что этим проливом испокон веков плавали и чукчи, и эскимосы.

Правда, на карте их имен нет. Даже старые исконные названия мест, бухт, проливов, мысов переименованы ретивыми картографами для благозвучия. Так, лишь среди местных жителей бытует старое название эскимосского селения Уназик, а на карте — имя малозначительного офицера царского флота Чаплина. Вот почему так радостно и неожиданно вдруг услышать такое географическое название — остров Матлю. Маленький необитаемый островок лежит в бухте Ткачен (настоящее эскимосское название — бухта Тасик, и опять для кого-то переиначенное на неизвестное для здешних людей название Ткачен, очевидно по созвучию с некими «ткачами») как раз напротив нового Уназика, или официально — Ново-Чаплина. Эскимос Матлю, как и его соратники Майна, Ухсима и Ашкамакин, — это история новой жизни северо-востока, эскимосского народа.

Любопытно, что попытки насаждения христианства на чукотском берегу, установления своей, как тогда называли, «туземной администрации» для облегчения управления этим далеким краем потерпели полный провал. Философия белого человека, упрощенная религиозная доктрина, якобы приспособленная для восприятия примитивным разумом невежественного дикаря, вызывала лишь усмешку у людей, чей взгляд на окружающий мир, несмотря на кажущийся мистический туман, был ясен и весьма прагматичен. Изображая прошлую жизнь северных народов, часто впадают в крайнюю степень пренебрежения к воистину бесценным завоеваниям, добытым невероятными жертвами, правдивым сведениям о природе и человеке, которые позволяли этим людям не только существовать в экстремальных природных условиях, но и создать удивительную материальную культуру, моральный кодекс, народную медицину. Знание астрономии, биологии животных, населяющих прибрежные

водные просторы, знание оленя до такой степени, что люди могли прогнозировать его популяцию и предпринимать меры для избежания голодовок... И еще: возникло искусство, устное народное творчество, которое отличалось духом социального и исторического оптимизма. Именно эти качества народного духа эскимосов и чукчей явились препятствиями, с одной стороны, для восприятия идеи самодержавия и официальной христианской религии, с другой — той внутренней силой, которая помогла правильно осознать всю привлекательность нового, что пришло с Советской властью. Впервые у людей, задавленных повседневной заботой о добыче пропитания, страхом перед участившимися с приходом белого человека повальными эпидемиями, часто превращавшимися в народные бедствия, — появился проблеск, который они справедливо назвали зарей новой жизни.

Новая идеология полностью отвечала самым сокровенным мечтам жителей северо-восточной окраины Азии, которых даже царское правительство отказывалось признавать своими подданными.

Идеи социального равенства, основанного на справедливом отношении к труду как к основополагающему мерилу всего сущего и человеческого, — это было то, что лежало в основе несформулированной, но веками осознаваемой философии чукотско-эскимосского трудового сообщества.

Вот почему и Матлю, и Майна, и Ухсима, и Ашкамакин, как и их чукотские сверстники — Тэгрынкеу, Тевлянто, Отке и другие, рьяно взялись за претворение в жизнь ленинских идей переустройства общества.

Как известно, Советская власть на Чукотке была формально утверждена лишь в 1920 году. Громадная отдаленность края, куда обыкновенное письмо иногда добиралось года полтора, пространства Чукотки, доступные лишь оленьему и собачьему транспорту с их весьма и весьма невысокой скоростью, разбросанность населенных пунктов и полное незнание людьми своего местоположения на планете Земля, — это лишь видимые на поверхности сложности, с которыми встретились первые русские большевики, учителя, приехавшие в этот край. Добавьте к этому и то обстоятельство, что сама-то Советская республика была еще очень молода, экономически только начинала подниматься. И все же нашлись и средства и, главное, люди, подлинные рыцари идеи социального пе-

реустройства, которые в двадцатых годах прибывали на полуразвалившихся пароходах в Анадырь, в бухту Пенкегней, в залив Лаврентия, в Уэлен, в Уназик и Наукан.

Как-то мне в руки попал дневник учительницы Прасковьи Кузьминичны Беликовой. Она описывала свое пребывание в Наукане в начале тридцатых годов. Эскимосы только начинали оправляться от страшных лет, следовавших одна за другой эпидемий неизвестных заболеваний и частых посещений торговцев с главным колониальным товаром — плохо очищенным виски. Обилие непривычной новизны — даже граммофоны появились в нищих земляных ярангах, пугая собак ярко начищенными металлическими частями, — не облегчило жизни арктических охотников, а принесло бедствия и неразрешимые жизненные проблемы.

Науканцам странно повезло в том отношении, что у них первыми учителями были женщины — Елена Ольшевская и Прасковья Беликова. Эскимосы поначалу с недоверием приглядывались к ним, подозревая скрытый подвох. Но эти удивительные женщины поселились в яранге, а единственный деревянный домик, в котором находилась лавка, переоборудовали под школу. Эти женщины не только учили грамоте. Они ходили по ярангам, лечили больных, не боясь вступать в состязание с шаманами.

Понемногу недоверие таяло, устанавливалось небывалое доселе отношение эскимоса к белому человеку.

2

В страшную пургу, когда с вершин нависших над Науканом гор сорвался сметавший все на своем пути ветер-ураган, словно сказочный неведомый великан снежно-зловонно начал дышать на жалкие людские жилища, от домика, сколоченного из реек и фанеры, цепляясь за льдистую землю руками в дареных рукавицах из оленьего камуса, в окраинную ярангу-полуземлянку ползла молодая учительница Прасковья Беликова, чтобы навестить своего умирающего ученика. Ее медицинские познания были слишком скудны, чтобы оказать больному какую-нибудь существенную помощь. Поначалу заболевшего лечили старинным, испытанным способом — позвали шамана, человека в племени наиболее знающего, умудренного опытом.

Я сам в какой-то мере виноват в создании такого образа шамана, что он стал буквально пугалом... В данном случае меня даже не утешает то обстоятельство, что я шел следом за теми литературными изобразителями «примитивной» жизни, где шаману отводилась наиболее зловещая, пользуясь современной литературоведческой терминологией, роль типичного отрицательного героя.

Утверждают, что шаманы пользовались всяческими шарлатанскими штучками, обманывали народ... Но ведь народ долго обманывать нельзя. Это стало исторической аксиомой, и на этот счет есть и соответствующие высказывания, и афоризмы. Грош цена вообще такому народу, которого до того заморочили шаманы, что он простых вещей уже не может различать. А как же насчет разного рода таинств и непонятных вещей? Загадок, удивительных исцелений и, разумеется, поражений? Положа руку на сердце, спросим себя: а в современной науке, медицине? Не думаю, что их стало заметно меньше.

В книгах известного ученого и писателя Владимира Германовича Богораза-Тана, особенно в его многотомном труде «Чукчи», приводится множество поразительных «шаманских чудес», большинство из которых он сам затрудняется объяснить.

Науканский шаман, видимо, относился к числу тех шаманов, которые понимали, что долг их — любой ценой спасти жизнь человеку. Никакой клятвы Гиппократа он не давал, но твердо знал: на этой скудной земле людей не так уж много, чтобы вот так опускать руки перед неотвратимым на первый взгляд роком. На Севере человек стоит дорого. Вот почему он пришел в ветхий школьный домик и попросил учительницу прийти к больному.

Альпына, тогда еще молодая женщина, но уже имевшая своих детей, по долгу соседки тоже пришла помочь.

И вот в тесный чоттагин, остро пахнущий замерзшей собачьей мочой, прошлогодним китовым жиром и копальхеном, вошла запорошенная снегом русская учительница. Ее почтительно встретили и провели в полог.

В дневнике, который мне давала читать перед своей кончиной Прасковья Кузьминична Беликова, откровенно говорилось об ужасающем впечатлении, которое произвела на нее, рожденную пусть в небогатой, но все же интеллигентной семье, обстановка в полутемном, освещаемом лишь колеблющимся пламенем жирника пологе. Ее ученик лежал у задней стенки мехового жилища, при-

мыкавшего к каменной стене. На меху оленьей шкуры кое-где проступал иней. Но, конечно, самым ужасным был вид самого больного. Он лежал в забытьи и что-то шептал сухими спекшимися губами. Учительница приложила ухо:

Саунина вита кона
Стаитут накра нипес...

Поначалу ей показалось, что мальчик говорит по-эскимосски, и она вопросительно посмотрела на озабоченную мать, которая сидела у жирника и черной палочкой, почему-то напомнившей Прасковье Кузьминичне дирижерскую, поправляла в каменной плошке пламя.

— Мы не понимаем, что он говорит, — ответила она на невысказанный вопрос.

— И я не понимаю, — подал голос шаман. — Похоже на заклинания, но незнакомые и мне...

И тут учительница поняла: эскимосский мальчик в забытьи шептал начальные строки стихотворения, которое они несколько дней назад разучивали в классе:

Заунывный ветер гонит
Стаи туч на край небес...

Ребятишки не понимали большинства слов, смешно их коверкали и удивленно и зачарованно слушали о дереве ели, которая стонет...

— Как собака? — сочувственно спросил один из учеников.

Учительница понимала, что сравнение с собакой отнюдь не обидно для ели, для всего поэтического строя русского стихотворения.

— Что он говорит? — встревоженно спросила мать, поняв по лицу учительницы, что до нее дошел смысл слов больного мальчика.

Но не было времени объяснять. У Прасковьи Кузьминичны было лишь немного аспирина, который она дала выпить находившемуся без сознания мальчику. Но лекарство вместе с водой вылилось в уголки губ: мальчик умер.

Смерть в эскимосских и в чукотских ярангах не вызывает истерических воплей.

«Смерть есть смерть, — говорил мне Нутетеин. — Смерть открывает человеку величие и ценность жизни. Лишь насильственное убийство, даже на войне, опошли-

ло смерть. А на самом деле ведь это та же великая загадка, что и рождение человека, и вообще зарождение жизни. . .»

И все в это мгновение, когда слышно уносящееся время, лишь застыли в молчании, и слезы тоже были в молчании, ибо не было даже плача.

Начались приготовления к печальному обряду окончательного прощания, и как-то в этой вроде бы суматохе учительнице показалось, что она тут уже лишняя и лучше было бы ей уйти.

Но у порога ее остановил шаман и сказал:

— Ты погоди. Ты должна быть при обряде вопрошания, ибо только ты поняла, что он сказал перед смертью.

Мне не раз приходилось наблюдать обряд вопрошания. В многодетной яранге моего воспитателя дяди Кмоля смерть была частой гостьей.

Сам обряд совершается внешне просто. Для этого только нужна палка для выделывания шкур и какое-нибудь изголовье, на которое можно положить обряженную голову покойного.

Близкие молча собираются на печальное действо и рассаживаются в некотором отдалении от покойного, уже обряженного для далекого путешествия в другой, тоже вполне реальный, но почему-то так мало желанный мир. А здешний мир, каким бы он жестоким и трудным ни был, всегда держал в своей власти настоящего человека. . . И все же почему есть люди, которые добровольно уходят из жизни, покидают близких, обрекая себя на преждевременное, собственным разумом выбранное вечное забвение?

3

На острове Иналик, на крутом его берегу, в продуваемом всеми ветрами домике Мылыгрока мы как-то заговорили с ним об этом. Речь, собственно, зашла о беде века — об алкоголизме. На этом крошечном островке, обращенном своим единственным поселочком в сторону большого соседа — острова Ратманова, вот уже несколько лет не пьют. К этой проблеме на протяжении книги мы еще не раз будем возвращаться. Одна из причин воздержания, по мнению Мылыгрока, заключалась в том, что люди стали добровольно уходить из жизни. Мы перешли с Мылыгроком на проблему самоубийства: добро-

вольный уход из жизни. У народов Севера до столкновения с так называемым цивилизованным миром самоубийство было величайшей редкостью. Исключения — неизлечимая болезнь или немощная старость, когда сильный когда-то человек вдруг становился ненужным или даже обузой в этом скудном едой мире. Были случаи самоубийств и на почве психического расстройства, ревности, вот, пожалуй, все... И вдруг в начале века люди стали уходить из жизни после долгих веселых шумных песнопений, клятв в нерушимой дружбе и разного рода проявлений жизненного оптимизма! Буквально на следующий же день после этого! И тогда Мылыгрок высказал догадку: люди уходят добровольно из жизни тогда, когда они больше не могут чувствовать себя самими собой. «Их сущность уходит из них — зачем жить?» — заключил Мылыгрок и взялся за необточенного еще белого медведя из моржового клыка. Медведь будто только что вылез из воды и даже не успел отряхнуться.

4

...Обряд вопрошания... Он особенно касался тех, кто вдруг, без видимых причин уходил из жизни, и тогда у близких людей был резон беспокоиться: зачем он это сделал? А вот для других — зачем он, этот обряд?

Это попросту прощальная беседа, ибо человек, пусть уже навеки замолкший, еще здесь, рядом, и вы можете дотронуться до его тела. Отчего не воспользоваться лишней минутой возможного общения? И не только дотронуться до него, но и поговорить с ним.

Техника этого общения довольно проста: палка для выделывания шкур просовывается под голову умершего и ему задаются вопросы, на которые ввиду особенности момента даются короткие ответы: да или нет. Никаких попыток выразить какое-то колебание или сомнение — или... или... Зато вопросы были до того пространны, что в них иногда заключался и сам ответ.

Именно такой обряд и совершился на глазах потрясенной учительницы, молодой женщины, для которой все происходящее вокруг часто казалось кошмарным, невероятным сном.

Она уже кое-что понимала на эскимосском языке, и ей казались какими-то кощунственными вопросы о

самых житейских делах, вроде таких: какую чашку хотел бы взять умерший с собой, не хотел бы он оставить запасные нерпичьи рукавицы для своего младшего братишки?

Наконец шаман, кося глазом на учительницу, задал вопрос:

— А не хотел ли ты взять что-нибудь с собой из школьного, из того, чем ты пользовался в деревянном домике, где учат отличать следы человеческой речи?

Сквозь тонкие шкуры мехового полога и земляные стены жилища врывались грохот бури и завывание ветра, вся яранга, несмотря на то что была почти наполовину врыта в каменистую землю, содрогалась, будто великан пытался вырвать ее из земли и снега и швырнуть в пролив Ирвытгыр, в ледяную кипящую кашу из снега и воды. Иногда хотелось вдруг проснуться далеко-далеко отсюда за Нарвской заставой в Ленинграде, в своей уютной комнате, с окнами на цветущий весенний сиреневый сад, который виден во всей красе даже в полночь — в белые ночи. . .

А здесь зимние ночи белы от снега светящейся вьюги, от белесого неба, исполосованного сполохами полярного сияния, жутковатого в своей красе.

Прасковья Кузьминична замерла: неужто и впрямь мальчик что-то скажет и она услышит его голос. Но голоса ушедших слышат только шаманы. Они потом «переводят» их на обыкновенные житейские, употребительные слова.

Шаман слушал на этот раз очень внимательно и медленно приподнимал гадательной палкой, служившей как бы рычагом, голову покойного.

— Он хочет взять книгу на эскимосском языке! — торжественно возгласил шаман.

Это было невероятно и невозможно! Первый в истории арктического народа печатный труд только-только пришел в Наукан, да и то почему-то привезли только три экземпляра, хотя тираж был довольно внушительный. Посмотреть первую эскимосскую книгу пришли все жители Наукана. Они набились в тесный единственный класс науканской школы, задние старались разглядеть книгу поверх голов оказавшихся впереди. Люди кричали: «Садитесь, нам не видно! Мы тоже хотим посмотреть на запечатленный разговор!»

Букварь бережно брали в руки, некоторые пытались на прочность попробовать бумагу, нюхали ее, удивлялись тонкости материала, разглядывали ее на свет.

Из «Аляскинского дневника»:

«Линда Бадтен живет на окраине Фэрбенкса в довольно скромном домике. Вместе с ней живут дочь-студентка и работающий сын. В одном из журналов, посвященных строительству нефтепровода, напечатан портрет эскимосского парня, сына Линды, как пример участия эскимосов в строительстве стройки века: парень работал подручным в прачечной. Сама Линда родом с острова Святого Лаврентия. Многие годы она работала учительницей. В ее небольшой библиотеке — старый эскимосский букварь, первое печатное издание на языке древнего арктического народа... Линда берет старый эскимосский букварь и говорит: представляю себе волнение людей, которые первые увидели эту книгу... В ее библиотеке и новый эскимосский букварь, составленный Верой Анальквасак и Людмилой Айнаной...»

— Будто шкура неведомого зверя, тонко выделанная и хорошо выбеленная... Мочой, видать, белили, не иначе, — говорил один «знаток» всего, который всегда существует в любом нормальном человеческом обществе.

И вот эту драгоценность надо было отдать на безжалостное уничтожение, ибо учительница не раз видела, как хоронят эскимосов: их попросту кладут на голую поверхность каменистой земли и оставляют. А вещи, сопровождающие навечно уходящего, кладутся поблизости и придавливаются камнями, чтобы их тотчас не унесло ветром. Судьбу букваря легко представить: пурга разорвет и разметет его по всей тундре — и следов не останется. И все же...

И учительница дала согласие на то, чтобы умерший мальчик был похоронен с первым эскимосским букварем.

Я долго, до конца ее дней, знал русскую учительницу Прасковью Кузьминичну Беликову. Ее сын — Лев Васильевич — работал директором уэленской школы в бытность мою там учеником, а впоследствии возглавлял северное отделение Педагогического института имени Герцена.

За годы работы на Чукотке ни мать, ни сын не нажили себе палат каменных, не обзавелись ценными вещами, золотом, бриллиантами, мехами. В те годы, когда они работали, на Севере платили столько же, сколько в обыкновенной сельской школе в Центральной России.

Что же тогда двигало этими людьми, точно так же как их сверстниками и соратниками? Такими были и Екатерина Семеновна Рубцова, имя которой хорошо известно на острове Святого Лаврентия, ибо она создала письменность для чаплинского, уназикского, диалекта эскимосского языка, который является родным языком для жителей американского острова Святого Лаврентия, Петр Яковлевич Скорик — отец чукотской письменности, Георгий Меновщиков, Елена Ольшевская, Тихон Семушкин...

Великое время рождает великие чувства и великие поступки, граничащие с подвигом.

В дневнике Прасковьи Кузьминичны Беликовой написано так: «Если есть вершинные поступки у человека в жизни, то для меня это поступок, когда я положила на грудь умершего эскимосского мальчика первый букварь на его родном языке...»

И еще из «Аляскинского дневника»:

«Телефонный звонок был долгим и нетерпеливым. Звонили из Анкориджа. Разница во времени с Номом — два часа, и поэтому спросонок я сначала ничего не мог понять. После расспросов я наконец уяснил, что в Анкоридже собирается конференция учителей, работающих в основном в сельских школах, и устроители конференции — правительство штата Аляска — просит меня выступить с лекцией. Я с радостью тут же согласился, справедливо полагая, что лекция моя будет связана с проблемами преподавания родных языков, будет возможность поговорить о литературе...

В Анкоридже, по сравнению с Номом, было тепло, блестели лужи, сверкал подтаявший снег и вдали сияли удивительно красивые горы, обрамляющие прекрасную естественную гавань — залив Кука.

Я знал, что мне заказан номер в отеле «Вествард-Хилтон», принадлежащем одной из эскимосских ассоциаций. В просторном, хорошо обставленном холле зачем-то стояла огромная металлическая

клетка и на плюшевом диване крепко спал подвыпивший эскимос.

У лестницы, ведущей на второй этаж, я увидел доску, на которой, прикрепленная кнопками, висела афиша. Уже с порога я ясно различил крупно напечатанное или нарисованное мое имя. Теплая волна тщеславия прошлась по моему усталому от путешествия сердцу, и я подошел поближе, чтобы полюбоваться на афишу. Но то, что я прочитал при ближайшем рассмотрении, заставило похолодеть мое сердце, только что омытое теплой волной тщеславия. Там было буквально напечатано: «Гость из Сибири, чукотско-эскимосский писатель, лидер и лингвист, доктор Юрий Рытхэу прочтет лекцию о правах человека»! Я мог еще примириться с этими незаслуженными почетными званиями, но тема лекции! Мне совсем не хотелось вступать в полемику с одним крупным специалистом по этому вопросу в той стране. Так, прямо с чемоданом в руке, я пошел разыскивать устроителей конференции, чтобы отменить лекцию либо переменить тему. В холле второго этажа под соответствующей вывеской сидела маленькая черноволосая женщина. Я поздоровался, назвал себя и, что называется с ходу, сказал, «что мы так не договаривались». — «Но почему?» — «У вас по этому вопросу есть более сведущие специалисты». — «Вы имеете в виду нашего президента? — улыбнулась женщина. — Мы бы его тоже с удовольствием послушали. Но учителя, которые уже знают о вашем приезде из газет, радио и телевидения, хотели бы встретиться именно с вами и послушать вас... Мы вам заказали прекрасный номер, оплатили вам билеты в оба конца, и вдруг...» Дама продолжала улыбаться, но за этой улыбкой таилась и некая угроза финансовых санкций...

Уже и прекрасный вид меня не радовал, даже выходить на улицу не хотелось, чтобы не видеть ненавистной афиши...

Вице-губернатор штата Аляска Лоуэлл Томас объявил об открытии конференции и тут же предоставил мне слово.

— Права человека, — сказал я, — так же широки и велики, как широк и велик сам человек. Они буквально касаются всех аспектов его жизни на

земле. Они переплетаются между собой, и часто даже бывает так, что права одних людей задевают и ущемляют права других людей. К сожалению, история человечества во многом богата именно такими примерами. Я прекрасно осознаю, как труден и сложен этот вопрос, как велика и сложна проблема прав человека в современном мире...

В президиуме сидела маленькая черненькая дама и с якобы доброжелательной улыбкой посматривала на меня.

Я продолжал:

— Поэтому позвольте мне коснуться в моей лекции только одного аспекта прав человека — его права на свой родной язык, права на собственный, дарованный природой, историей, судьбой — называйте это как хотите — способ выражения своих мыслей, чувств, взглядов на жизнь, мир, своего понимания красоты... Я провел не так много времени в вашей стране, чтобы судить, как осуществляется это право у вас. Я буду говорить о том, как в нашей стране это право, которое я как литератор считаю одним из сокровенных прав человека, было не только провозглашено в первых ленинских декретах, но и на деле осуществлено.

В четвертом ряду слева сидела эскимосская учительница Дженни Алова. Ее история может служить типичным примером неблагополучия в стране, где толки о правах человека подняты на высоту международной политики. Она давно мечтает увидеть хотя бы одну книгу изданной по-настоящему в типографии на своем родном языке... Она рассказывала, как еще совсем недавно, когда она была школьницей, чиновники из Бюро по делам индейцев физически наказывали ее за то, что она осмеливалась говорить на своем родном языке... И все же она закончила среднюю школу и даже на некоторое время добилась разрешения учить своих земляков родному языку по букварю, составленному русской учительницей Екатериной Семеновной Рубцовой. К ней придрались: нет учительского диплома и поэтому она не имеет права учить эскимосских детей родному языку. Тогда Дженни поступает в Гарвардский университет. И ей лично, и ее родичам, которым пришлось во многом отказывать себе, чтобы дать воз-

можность ей учиться, пришлось нелегко. Дженни закончила университет, получила диплом, но места в школе для нее нет... Она занята в основном канцелярской работой в Номе и по своему почину обучает трех учеников родному языку, грамматике... А в ее родном селении учительствуют люди, не знающие ни языка, ни истории ее родного языка...

Когда я закончил и собрался уходить с трибуны, раздались возгласы:

— Нет, не уходите! У нас есть вопросы!

Эта непредусмотренная часть лекции заняла почти столько же времени, как и сама лекция. И среди множества вопросов был и этот вопрос: что двигало такими людьми, как Екатерина Рубцова, Петр Скорик, Георгий Меновщиков и Прасковья Беликова, которые лучшие годы своей жизни отдали просвещению народов Севера?

Такими родило их великое время Революции...»

Среди первых грамотных эскимосов, которые пошли в школу уже в зрелом возрасте, была и бабушка Альпына.

Со стороны мыса Пловер тянет ледяной стужей, а воздух чист и свеж, каким он может быть только здесь, на Чукотке, в длинные дни мая.

Если подняться на Кивакские горы, то в ясную погоду можно увидеть берега острова Святого Лаврентия, американской земли Берингова моря.

Их не видно с могилы бабушки Альпыны.

За ней — высокий мыс Столетия.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

БОГИ И ТЕЛЕВИЗОРЫ

1

Из Лос-Анджелеса через космический спутник связи шла телевизионная передача, и бормотание диктора странно напоминало шаманские заклинания своей неопределенностью и ровной страстностью.

Мой хозяин Джеральд Куннукай сидел за чистым обеденным столом напротив меня и производил какие-то расчеты на миниатюрном компьютере. Машинка светилась холодным льдистым светом при каждом нажатии кнопки. Видимо, не совсем привычное занятие коммерсанта накладывало свой отпечаток на внешность Джеральда: он был толст и рыхл и этой особенностью резко отличался от остальных своих земляков, обычно проводивших время на дрейфующем льду или на охотничьей кожаной байдаре в погоне за китом.

Дом Куннукая был поставлен прошлым летом. Заказанный за большие деньги, оборудованный пока еще бездействующими удобствами и разными отключенными приспособлениями, он резко отличался от крохотных, однокомнатных преимущественно, домишек селения Гамбелл на острове Святого Лаврентия. Это было жилище нового человека, достигшего определенного положения в большом и сложном обществе современной Америки.

Жена Куннукая Эстер широким древним улыком[1] разделывала нерпу на разостланной клеенке, и перед ней двое мальчишек с вожделенным ожиданием смотрели на действия матери в предвкушении лакомства — сырых тюленьих глаз.

Мать хозяина сидела в кресле и сучила нитки из сухожилий оленьих ног.

А за окнами дома бушевала полярная пурга, и от летящего снега стекла окон светились, как огромные телевизионные экраны.

До моего дома в бухте Провидения было меньше часа полета, и это обстоятельство придавало ощущение нереальности происходящего: полет домой через Берингов пролив невозможен, и домой мне придется возвращаться другим путем, совершив вторично почти кругосветное путешествие.

Я пытался мысленно представить, что делают нынче советские кровные соплеменники Джеральда и Эстер Куннукаев — учительница Людмила Айнана, старый охотник и общественный деятель Иван Ашкамакин... Я знал, что Айнана работала над новым учебником эскимосского языка, Ашкамакин недавно ушел на пенсию... Время суток разнится часа на два, но вот день недели

---

[1] Улык — женский эскимосский нож с широким лезвием.

уже другой — сейчас здесь воскресенье, а там, на моем берегу, уже понедельник...

Ощущение нереальности возникало и по другой причине. С одной стороны, в моем сегодняшнем окружении было много знакомого, привычного, напоминающего мои детские годы,— от нерпичьего мяса, варившегося на электрической плите, до фигурки старой женщины в кресле, сучащей нитки из оленьих сухожилий. Она очень напоминала мою бабушку Гивэвнэут, хотя та не сидела в таком покойном кресле, а располагалась возле жирника. А вот застиранный ситцевый вытычгын[1] и поблекшая татуировка на изборожденном морщинами лице были так знакомы... Звуки речи, даже завывание пурги — все это привычное, вошедшее в гены человека Арктики в сумеречном прошлом, когда зимним светом было лишь мерцание полярного сияния.

И в то же время этот цветной телевизор, счетная машинка и даже привычка хозяина усердно молиться перед завтраком — все это казалось мне нарочитым, чуждым, и казалось, что все это исчезнет и мы возвратимся в старую ярангу, под вой древней, как песня, пурги.

Какой живучестью и жизнеспособностью должен обладать этот образ жизни, в своих главных и существенных чертах сохранившийся до стремительного и сложнейшего сегодня! Он прошел не только огромную дистанцию времени от того рубежа человеческой истории, который в науке зовется неолитом, но и продрался буквально через тернистые тропы современной истории, колониальную эпоху, время повальных голодовок, мора от неизвестных ранее болезней, страшного давления от, казалось бы, неумолимой и неодолимой лавины пришельцев, вооруженных уничтожающим оружием, разного рода хитроумными изобретениями, вроде бы облегчающими жизнь, но порой усложняющими устоявшийся веками быт морского охотника!

В какой-то особой сущности он живет на обоих берегах Берингова пролива до сегодняшнего дня, конца бурного двадцатого века, сохранив и даже в какой-то степени укрепив те особенности и характерные черты, которые поразили и восхитили первых полярных путешественников, столкнувшихся в краях белого безмолвия, в ледяной пустыне, в стране полуночного солнца с людь-

---

[1] Вытычгын — матерчатый балахон.

ми, чей образ жизни был удивительно приспособлен к суровым условиям Севера.

Это были единственные в своем роде люди, которые сделали символ холода — лед и снег — строительным материалом для своих жилищ, срослись со скудными на взгляд южного человека окружением так, что любой иной настрой жизни болезненно отзывался и на их умственном, и на физическом здоровье.

Часто историки и этнографы, ринувшиеся в эти далекие и труднодоступные края, рисовали людей Севера как людей крайне примитивных, с весьма несложной философией, языком и общественным устройством. Этих ученых не смущало несоответствие того, что эти, с точки зрения этнографической науки, примитивные люди смогли ужиться с Арктикой, в то время как цивилизованный мир лишь только начинал свои экспедиции и возвращавшиеся из полярных стран окружались почетом и поклонением. Они становились национальными героями, просвещенное человечество одаривало их почетными званиями, возводило им памятники, иные даже становились крупными государственными деятелями, ибо пребывание в высоких широтах почиталось неким очистительным подвигом.

На Север устремлялись действительно незаурядные личности, составившие украшение человеческой истории конца девятнадцатого и начала двадцатого века. Имена Нансена, Руала Амундсена, Роберта Пири остались не только в благодарной памяти потомков, но и поныне живы как образцы высоких устремлений, почти что неземной отваги.

Наша отечественная история также запечатлела на своих золотых страницах полярные исследования Георгия Седова, Русанова, Шмидта. . .

К вечеру, когда пурга немного утихла, Джеральд Куннукай и его жена Эстер пригласили меня посетить церковь.

— Она у нас новая, — с некоторой гордостью сообщил Куннукай. — Прихожан еще маловато. Но то вероучение, которое проповедуется этой церковью, мне нравится. И еще: наш президент тоже баптист, как и мы с Эстер. . .

И Куннукай с нежностью посмотрел на свою жену, которая с помощью ручного фена сооружала прическу из непослушных черных волос.

В доме Джеральда Куннукая не было недостатка в

предметах старого эскимосского культа. Разного рода амулеты-охранители висели по углам, в холодных сенях виднелись священные пучки ремней, припорошенные снегом. И вдруг — баптистская церковь...

Снег бил в лицо, и мороз был достаточно силен.

Божий дом находился, к счастью, недалеко от жилища Куннукая. Мы скатились с крутого сугроба прямо к дверям и вошли в просторный тамбур. В приоткрытую дверь виднелась детская комната, где прихожане могли оставлять своих малышей и без помехи предаваться молитве. В длинном зале в чинной торжественности стояли стулья и было удивительно пусто; кроме молодого и очень худого священника и его молодой и такой же худой жены, так похожей на своего мужа, что они оба вполне могли сойти за брата и сестру, никого не было. Они явно обрадовались нашему приходу, и почему-то особенно мне. Они буквально не знали, куда меня посадить, как выказать свою радость!

И Эстер и Джеральд чувствовали себя здесь по меньшей мере хозяевами. Они передвигались по пустому залу, не остерегаясь задевать сиденья, и громко переговаривались между собой.

— Эстер, ты сыграешь на органе или на пианино? — громко спросил Джеральд, словно здесь не было ни священника, ни его жены.

— А вы что предпочитаете? — спросила меня Эстер.

Я был несколько обескуражен неожиданно открывшимися талантами Эстер Куннукай, которая только что ловко разделывала нерпу.

— Пожалуй, и то и другое, — неуверенно ответил я.

Полилась торжественная, несколько тягучая музыка, так удивительно подходившая к погоде, чем-то даже перекликающаяся с воем ветра, с ударами снежных зарядов о тонкие стены храма.

— Она у меня училась в миссионерской католической школе, — с гордостью сообщил мне Джеральд, явно наслаждавшийся не столько звуками музыки, сколько умением жены играть на музыкальных инструментах лялюрамкынов[1].

Способность жителей Берингова пролива к восприятию музыки поразительна. Трудно объяснить, откуда в условиях скудости и малого разнообразия природных

[1] Лялюрамкын — белые люди.

звуков возникла такая тяга к гармонии звуков, к глубокому пониманию казалось бы чуждой и далекой музыки, рожденной в других широтах, на других меридианах. Едва только появились первые незнакомые музыкальные инструменты на берегах Берингова пролива, как сразу же эскимосы и чукчи освоили их и стали исполнять не только музыку лялюрамкынов, но порой перелагали на незнакомое и чуждое звучание и свои родные мотивы.

К сожалению, это не получило широкого распространения. По своей природе музыка Берингова пролива создана для голоса, сопровождаемого ударами бубна, и попытки переложить ее для современных музыкальных инструментов начисто лишают ее своеобразия.

На острове Святого Лаврентия в домах нередко можно увидеть и гитары, и даже аккордеоны.

В селе Сивунга на острове Святого Лаврентия я жил в небольшом, еще не до конца оборудованном отеле, принадлежащем семье Галягыргынов. Всем заправляла Ора — женщина сильная и властная, а ее муж Эдвард молча и покорно ходил за ней.

Однажды он робко осведомился у меня, играю ли я на аккордеоне. Я вопросительно посмотрел на него.

— А я вот играю, — сказал Эдвард, улыбаясь застенчивыми глазами.

Я понял, что ему не терпится продемонстрировать свое умение, и, будучи артистом в душе, он получает полное наслаждение, лишь доставляя своей игрой наслаждение другим. По всей видимости, жена не разделяла его любви к этому блестящему многокнопочному инструменту, и поэтому мы выбрали такое время, когда в доме никого, кроме нас двоих, не было.

Нежно склонив голову на инструмент, Эдвард исполнял услышанные по радио мелодии русских народных песен.

— Мне они очень нравятся, — вздохнул Эдвард, сделав короткий перерыв. — В них есть что-то наше. . . Только не могу уловить и сказать, что именно.

2

Детство мое начиналось с русской песни, и моя мать пела в минуты душевного волнения:

Ах, попалась, птичка, стой,
Не уйдешь из сети,

Не расстанусь с тобой
Ни за что на свете...

Эта незатейливая мелодия и непонятные слова, значение которых едва ли понимала и моя мать, возвращают меня в детство точно так же, как песни Берингова пролива, слышанные мной у Священных камней Уэлена. Теперь Священных камней нет, но песни остались, остались они и здесь, на острове Святого Лаврентия, несмотря на попытки церкви и администрации по делам индейцев свести на нет национальную самобытность арктических народов Аляски.

Давид Шайнен, переводчик Библии на эскимосский язык, долго живущий в Номе, рассказывал мне:

— Какие только божьи кары не сулились эскимосам, чтобы отказались они от своих песен и танцев! Ничего не помогло! Миссионеры ходили по жилищам, выискивали бубны, ломали их, сжигали на кострах, как во времена средневековой инквизиции сжигали книги, а люди не унимались. Тихими зимними ночами то тут, то там можно было услышать рокотание бубнов, голоса поющих. В чем тут дело — не могу понять!

Много вопросов ставит эта удивительная жизнь среди льдов и бушующих метелей. Почему человек так предан этой земле, на которой, кажется, так мало внешне привлекательных черт?

И все же... Люди живут здесь тысячелетия. Мы встретились с эскимосским археологом Тасьяном в Магадане, в его заваленном археологическими трофеями кабинете, и он показывал мне орудия труда, обработанные с такой тщательностью, с такой любовью, словно они предназначались для какой-нибудь выставки, а не для простого и повседневного употребления.

— Видите, — сказал мне Тасьян. — Многие тысячи лет назад... А многое было как сегодня...

И посейчас, когда по каким-нибудь соображениям людям приходится покидать насиженное место, переселяться в пределах далее своей же земли, каждый раз — это трудное и грустное решение. И не только потому, что здесь лежат кости предков.

...Эстер переменила инструмент: заиграла на пианино. В пустом зале звуки обретали объемность, наполнялись силой, созвучной с мелодией снежной бури. Она играла один из этюдов Шопена, вкладывая в исполнение

свое понимание этой музыки, бесконечно далекое от принятого академического, классически устоявшегося толкования.

И мне вдруг пришло в голову, что это уже не Шопен звучит в деревянном зале, а эскимосская музыка, идущая из древних коренных пород, сложившихся на заре человеческого существования на стыке материков, быть может, еще в то легендарное время, когда существовал мост, земная твердь, соединявшая эти берега.

Я не разбираюсь в особенностях современной католической религии. Иногда, если отвлечься от некоторых привходящих моментов, слова проповедника напоминали своими штампами арсенал лектора из какого-нибудь районного отдела общества «Знание». Проповедник говорил о коварстве золотого тельца, предостерегал от забвения всего остального во имя обогащения, что может худо кончиться и принести неисчислимые бедствия не только самому алчущему, но и его семье и близким. Джеральд Куннукай внимал словам проповедника со столь сосредоточенным видом, что я начисто отбросил мысли о том, что он и проповедник сговорились заранее между собой, чтобы разыграть передо мной этот спектакль. Могло ли это и впрямь говориться для единственного прихожанина, каковым являлся Джеральд Куннукай? Он мне раньше объяснил, что церковь эта новая и еще не так много жителей Гамбелла понимают значение и всю привлекательность новой религии.

Проповедь-предостережение, казалось, еще больше прибавила настроения моему гостеприимному хозяину.

На обратном пути он весело покрикивал на расшалившихся ребятишек:

— Атаяхак! Не уходи в пургу, держись с нами! Кававын, держись ближе к матери!

Как-то неловко было спрашивать его мнение о проповеди, и я, оказавшись снова в его большой «ливинг-рум» с мерцающим экраном телевизора, полюбопытствовал об именах его детей.

— Мы стараемся давать нашим детям наряду с христианским именем и свое, эскимосское, чтобы дети помнили о своем происхождении, о своих предках. Человек не должен забывать о принадлежности к этой земле, — сказал Куннукай наставительно.

3

Я вспомнил историю своего имени — Юрий Сергеевич. В детстве меня просто звали Рытхэу, и это никого не удивляло. Даже в школе, где учителя для простоты общения награждали каждого ученика русским именем, почему-то ко мне не пристало ни одно. Может быть, оттого, что я уже много читал и каждое имя слишком крепко было связано с обликом того или иного литературного героя, едва ли не каждую неделю я называл себя то так, то этак, не упустив и благозвучных иностранных имен из сочинений Майн Рида и Джека Лондона. Некоторое время я носил имя Джек в честь любимого писателя, пока у работника полярной станции не появилась собака с тем же именем.

За редким исключением я обходился своим именем — Рытхэу, которое нынешние «знатоки» моей биографии толкуют по-разному: то это кажется им «жданным», то «желанным», то еще как-нибудь. Имя же мое, если вникнуть в его глубинное значение, в семантику корня, означает — «забвенный», «забытый», «неизвестный». Это наиболее близкие по значению русские слова. В этом имени соблюдены все правила и установления чукотской номинации: в корне моего имени «гэу/гиу» — «знание, известность, наличие в действительности». Так, мою бабушку звали Гивэвнэут, что значило — «известная женщина». Отрицательное значение моего имени объяснялось приставкой — «рыт».

Нужда в русском имени и отчестве встала передо мной в бухте Провидения, где для поступления на работу мне потребовался паспорт. Тамошний начальник паспортного стола был человеком аккуратным и сумел доказать, что жить без имени и отчества советскому человеку никак нельзя, ибо в паспорте для этого предусмотрены специальные графы. Его не остановило мое заверение в том, что у меня нет ни имени, ни отчества и все это заключено в слове Рытхэу, в котором наличествует наша родовая семантическая единица «гэу/гиу».

— Украсть, что ли, мне имя и отчество? — едва не плача спросил я его.

— Твое дело,— сказал начальник паспортного стола.

Накануне решающего дня я отправился на другой берег бухты Провидения, к своему знакомому — начальни-

ку полярной станции, которого звали Юрий Сергеевич.

За ужином я рассказал ему о своих затруднениях.

— Так скажи ему, что тебя зовут Юрий Сергеевич! — сказал мне хозяин.

— Какой же я Юрий Сергеевич? — растерялся я. — Юрий Сергеевич — это вы!

— А теперь будешь и ты, — сказал начальник полярной станции, на этот раз уже серьезным тоном.

Эта идея начала мне нравиться, но уж больно невероятным казалось, что человек вот так запросто может дарить свое имя. Скорее я бы понял его, если бы он вдруг снял с себя красивую форму полярника или, на худой конец, предложил мне фуражку с красивым, золотом вышитым гербом. А тут — имя. И не какое-то одинокое, как чукотское Рытхэу, а длинное, как китовый гарпун, — Юрий Сергеевич, которое даже можно рассматривать в перспективе, выстраивать на строке в один или в два ряда, как тебе захочется.

— Но это как-то... — замялся я. — Все-таки имя и отчество, многовато... Может, имя только, а отчество у кого-нибудь другого взять?

— Бери все или ничего, — с оттенком нарождающейся обиды произнес Юрий Сергеевич. — А может, тебе не нравится быть Юрием Сергеевичем, так скажи!

— Нет, нравится! — решительно ответил я.

Мне почему-то казалось, что начальник паспортного стола будет допытываться, как и откуда я взял себе имя и отчество, но он как-то равнодушно и просто сказал:

— Давно бы так! А то взяли моду с одним именем, будто Гомеры или императоры без номеров...

Теперь принято на Чукотке в чукотских и эскимосских семьях давать русские и вообще европейские имена. В Сирениках живет Арон Нанухтак, в Уэлене Роберт Чейвын. Старое родовое имя стало фамилией. Чукотская девушка, выходя замуж за русского, берет его фамилию, и, наоборот, русская обретает старое чукотское или эскимосское родовое имя... Бывает, даже русские дают чукотские или эскимосские имена своим детям.

Вместе с образом жизни претерпевают изменения и имена людей, обычаи идентификации личности в обществе.

И все же, как бы ни назывались люди этой земли, они в сущности остаются самими собой, несмотря на колос-

сальное давление со стороны новой культуры, нового образа жизни.

В городской библиотеке Нома я нашел фотографию старого Уэлена, на которой изображена наша яранга, а рядом — господин в широком плаще, в шляпе и соответственно одетая дама.

Корабль стоял на рейде, возбуждая жгучее любопытство ребятишек.

Он гордо сиял начищенными медными частями, стеклом иллюминаторов, символом нездешнего мира маячил в отдалении, непривычно украшая пустынное водное пространство, полное загадок, неожиданностей и бурь. Для нас он всегда был неземным: я это хорошо помню по своим первым детским впечатлениям от приходящих кораблей. Лишь когда на судне прибывал кто-то из наших родичей, проделавший по тем временам умопомрачительно далекое путешествие, корабль в глазах моих земляков не казался таким чуждым.

Я пишу эту книгу в бухте Провидения. Несколько дней назад ледокол «Ленинград» расколол лед, раскрошил припай. Остатки его выносит отсюда северо-восточный ветер. Из моего окна виден порт, разгружающийся лесовоз «Барнаул»... Дом мой стоит приблизительно на том же месте, где в 1948 году стояла большая брезентовая палатка, в которой жили ожидавшие выезда на «материк». Я был одним из них. Тогда для меня почему-то не существовало красоты этой бухты. То есть я не любовался, не восторгался, не думал о том, как это прекрасно. Я просто уходил с книгой за маяк-мигалку, спускался вниз к воде на большой плоский камень и сидел часами, любуясь играющими китами напротив мыса Столетия. Впереди лежала целая жизнь, еще неизведанная, неизвестная. Именно это ожидание было самым волнующим. С тех пор прошло тридцать лет. И вот я стою у окна, смотрю на берег, где получил русское имя и отчество, и думаю, как много уместилось в промежутке времени, которое в космическом масштабе даже меньше мгновения.

Приехав сюда, в вестибюле райисполкома я встретил Ивана Ивановича Ашкамакина, эскимоса, морского охотника, ныне персонального пенсионера. Последние годы Ашкамакин жил в Янракынноте, иногда ходил на охоту, ловил подо льдом рыбу... В поселок Провидения пришлось переселиться из-за многочисленных внуков: у него десять дочерей, и большинство из них работают в

лечебных учреждениях районного центра. Ашкамакин занимает две просторные квартиры в соседнем подъезде и все равно — вижу по его глазам — скучает по маленькому тесному домику в Янракынноте.

— Странные мы люди,— задумчиво говорит он мне.— Вроде бы вот живи, наслаждайся, а на душе беспокойно.

— Почему беспокойно? — спрашиваю.

— А вот что охота началась там, — он кивает в сторону дальних проливов. — Охотники тащат вельботы по весеннему льду, летят утиные стаи. Вчера ночью не спал — слушал журавлиный крик. . . Не спал и думал: а вот меня там нет. Без меня все происходит. И не больно уж я там нужен, но неспокойно у меня на душе. Кровь волнуется, будто я молодею.

Образ человеческой жизни. . . Это ведь часто существенная часть самого человека, может быть именно то, что составляет его подлинную ценность. Образ жизни складывается веками, лепя облик человека, образ народа, то, что мы называем иногда национальным характером.

— Ну как они там? — Ашкамакин кивает уже в другую сторону, в направлении острова Святого Лаврентия. — Охотятся? Поют ли наши песни или же полностью переняли американский образ жизни?

— Охотятся, — ответил я Ашкамакину. — И песни поют.

Жители острова Святого Лаврентия — родные братья уназикских эскимосов. По всей видимости, этот остров был заселен выходцами с Индиан Пойнт, как называется на американских картах мыс Чаплина, на котором располагалось древнее эскимосское селение Уназик, переведенное в бухту Ткачен. Многие жители острова Святого Лаврентия носят чукотские имена. Одного зовут Валяна, что значит по-чукотски «нож», а другого Ванкытыльын — «клыкастый».

— Они вас хорошо помнят, — сказал я Ашкамакину.

— Когда я был молодой, они часто приезжали к нам, — сказал Ашкамакин. — Любопытствовали: как мы собираемся жить. Я тогда помогал учителю Ерженину. Как приедут островитяне, и давай проситься в школу. Придут взрослые, старики, женщины, усядутся на пол и смотрят на доску. А наши ребятишки уже бойко умели читать и писать на нашем языке. Задачки решали. . . Правда, в учебниках по арифметике говорилось про яб-

локи, груши и прочие тогда нам незнакомые фрукты, но мы с Ерженином нашли выход: все это заменяли нерпами, моржами и китами. Была у нас одна задачка, которая никак не могла быть решена: трое охотников убили десять китов, пять съели. Спрашивалось, сколько осталось китов. Ерженин составил такую задачку. Стали решать. Поднялся шум: как же так? Разве могут три охотника одолеть кита? Что у них была за байдара? Ну, а как дошло до того, что они съели пять китов, тут вовсе ерунда получилась. Что это за обжоры такие? Или они великаны из сказок?

ГЛАВА ПЯТАЯ

ОСТРОВА В ПРОЛИВЕ

1

Сразу же, как только обогнешь мыс Сенлун и увидишь вблизи берега отдельно стоящую скалу Сенлуквин, с которой охотники высматривают проходящих моржей и китов, чуть поодаль, по направлению юго-восточного ветра, в проливе Ирвытгыр перед взором возникают острова Инэтлин и Имэклин.

Острова так близко стоят друг к другу, что с материка они кажутся одним скалистым массивом, брошенным природой на середину Берингова пролива. Малый Диомид длиной две с половиной мили, шириной полторы мили и высотой тысяча триста девять футов. Соответственно Большой Диомид в три раза больше, но высота примерно такая же, как у меньшего брата, состоящего из гранита и известняка.

В детстве мне пришлось провести целый день на скале Сенлуквин в пору летней моржовой охоты, и я наблюдал, как в течение дня удивительно менялось освещение и цвета островов в проливе.

При ясном солнечном свете они издали предстают сине-зелеными, окрашивая в тот же цвет и окружающую воду.

Но вот с американского берега надвинулись серые тучи, и острова тут же обрели свинцово-серый цвет. Этот цвет наиболее присущ островам и наиболее распростра-

нен в этом районе земного шара даже в белую зиму, когда небо затянуто низкими снежными тучами.

Но в тот яркий день детства на острова летели стаи тупиков и кайр, и я представлял, как их ловят островитяне большими сетями, которые они натягивают на две палки, или же огромными сачками. Птицелов прячется в скалах и оттуда, из расщелины, накрывает сетью доверчивых птиц.

Приезжавшие в Уэлен жители Имаклика и Иналика привозили вареные птичьи яйца как дорожную еду и угощали нас, ребятишек.

Острова представляют собой убедительные свидетельства существования Берингии — земли, лежавшей между двумя материками и погрузившейся в пучину в конце последнего ледникового периода.

Зимой сорок пятого года в уэленском интернате под вой январской пурги янранайский мальчик Энмынкау рассказал мне легенду о происхождении островов.

Это случилось на памяти предыдущих поколений и дошло рассказами, которые нынче почитаются священными, относящимися ко времени изначальности существования человека. Тогда не было двух отдельных островов Инэтлина и Имэклина: это была единая земля, населенная единым народом. На этой единой земле с обширными прибрежными равнинами жили охотники на морских зверей, добытчики нерп, лахтаков, моржей и китов. На этой земле стояли две горы, и в долине между этими возвышенностями земными протекал узкий, мелкий проливчик, который легко можно было пройти по мостику из валунов.

Земля была прекрасна своим расположением, ибо стояла она на звериной тропе, на пути перелетов, и скалистые горы давали приют многочисленным гнездящимся птицам.

Люди этой земли чтили богов, охотились, заботились о будущих поколениях, передавая им обычаи, предания, легенды, поучительные сказки, опыт и знания, которые добывали в ежедневном нелегком труде. Слова «счастье» они не знали, просто жизнь, которую они вели, отвечала их представлениям об истинном назначении человека на земле, о его долге перед людьми и будущими поколениями.

Так продолжалось из года в год, пока не появился Ипак.

Это был сильный, здоровый, крепкий человек, которому, казалось, все доставалось легко и просто. Он не знал устали ни в охоте, ни в беге на вершину горы, ни в еде. У него был большой, вместительный каяк, длинное тяжелое копье и гарпун с поворотным наконечником. Когда острое жало впивалось в кожу животного и ременный линь натягивался, укрепленный к нему особым образом наконечник гарпуна поворачивался так, что он становился поперек раны, накрепко привязывая добычу к каяку. Такими поворотными гарпунами жители Берингова пролива испокон веков добывали не только нерп, лахтаков и моржей, но даже и китов.

Ипаку все доставалось легко в этом трудном, полном опасностей мире. Он выходил живым и невредимым из самых трудных приключений и, как бы ни было скудно на тропе зверей, всегда возвращался с добычей. Лучшие женщины шли в его ярангу, и множество горластых детишек заполняли его обширные жилища. Однако добыча Ипака всегда бывала так велика, что ее хватало не только его многочисленным домочадцам, но доставалось и всем тем, кому в тот день не повезло: Ипак был щедр и чтил обычаи предков, за исключением одного: он был небрежен к богам.

Он не всегда приносил им жертвы, даже заклинания произносил скороговоркой, словно стараясь поскорее отбыть неприятную повинность, и непочтительная улыбка играла на его губах, когда убеленные сединой старейшины славили Высшие силы за насланные богатые дары — нерп, лахтаков, китов и моржей... Все это ему казалось ничего не стоящим лицемерием, рабской привычкой, смысл которой давно был потерян в тумане прошедших веков. Сам же Ипак уже поговаривал о том, что боги иной раз бывают куда беспомощнее сильного человека...

Ипак любил охотиться в одиночестве. Он выгребал подальше от берега, в сияющий стык неба и сверкающего моря, который всегда одинаково был удален от его каяка. Иногда возникала дерзкая мысль — а не попытаться ли заглянуть туда, за этот стык, разогнать свою лодку так, чтобы догнать убегающий горизонт.

Но небо неизменно и всегда было на равном расстоянии от каяка, точно сам Ипак и его кожаное суденышко были центром вселенной.

А может быть, так и есть?

И тогда сладкое чувство жаркого восторга охватывало Ипака и он запевал во весь голос, разрывая напряженную, сверкающую тишину спокойного моря.

Со всем, что есть на небесах и в море,
Готов я сразиться!
Плывите сюда, неведомые силы,
Ипак вас ждет в каяке!

Голос уносился вдаль, замирал, скатившись за линию горизонта, и, насторожившись, Ипак слышал плеск воды о кожаные борта каяка, биение собственного сердца и звон от тока крови, отдававшийся в ушах.

В тот примечательный день короткого северного лета, когда солнце уже окуналось в воду и каждая последующая ночь была темнее предыдущей, ничто, казалось, не предвещало необычного.

Каяк Ипака мирно покачивался на мертвой зыби, на вечном, мощном дыхании океана, словно на гигантской груди спящего великана. Солнце грело поверхность моря, сушило полупрозрачную моржовую кожу каяка, пекло голову охотника. Ипак загарпунил нерпу и привязал ее ремнями к левому борту. Он только что прокричал в пространство свою излюбленную песню, а теперь отдыхал, прикрыв глаза от блеска водной поверхности.

В первое мгновение ему показалось, что это сон. Он широко раскрыл глаза, крикнул, но сон не проходил, превращаясь в удивительную явь: неведомое, не видимое им ранее чудовище, неслышно выпрыгнув из воды, вцепилось ему в спину и рвало крепкими и острыми когтями летнюю кухлянку из шкуры молодого оленя.

Сильными резкими движениями Ипак пытался стряхнуть невидимого врага, силился дотянуться, схватить его, но это было невозможно. Тот крепко сидел на спине, и холодные когти уже царапали кожу. Ипак дважды перевернул каяк, но морская вода не причинила когтистому зверю никакого вреда. Напротив, купание словно прибавило ему силы, и он крепче вонзился в спину, и Ипак уже чувствовал, как по ложбинке спинного хребта потекли струйки горячей крови.

Оставалось одно: грести к берегу. Двухлопастное весло замелькало в воздухе, и водяной след не успевающих стекать капелек образовал радужный круг. Каяк устремился к берегу с такой скоростью, что захоти Ипак в это мгновение, он мог бы догнать убегающий горизонт.

А неведомый зверь тем временем превращал спину Ипака в сплошную кровоточащую рану. Капельки соленой воды разжигали огонь боли. Казалось, еще немного, и зверь доберется своими толстыми роговыми когтями до спинного хребта и начнет разъединять позвонки. Ужас и страх смерти прибавили силы Ипаку. Каяк мчался над водой, превратившись в сказочную летящую лодку, волна судорожно билась под кожаным днищем, и берег стремительно приближался.

Когда Ипак вместе с каяком влетел на низкий галечный берег, первое, что он сделал, — освободившимися руками схватил чудище, оторвал его от спины и с удивлением принялся разглядывать.

Это оказался совсем небольшой зверек, величиной со среднюю нерпу. По виду он походил и на нерпу, и на маленького лахтака, но торчащие по углам пасти небольшие белые клычки добавляли сходство с моржом. Кто же он был, этот неведомый зверек, покрытый короткой красной шерстью? В его глазах было что-то человеческое, надменное и насмешливое одновременно. Это еще больше разъярило Ипака. Он достал из кожаных ножен остро отточенное лезвие из стекловидного камня. Взгляд зверька при виде ножа стал еще более дерзок и насмешлив. Казалось, еще немного, и он расхохочется по-человечески над разъяренным бессильным гневом охотником.

Молча созерцали собравшиеся на берегу, как Ипак снял красную шкуру со зверька, оставив на его теле слой белого жира, кое-где сочащегося кровью. Зверь не произнес ни звука, не застонал, не зарычал, лишь продолжал не мигая смотреть на разъяренного Ипака большими, черными, блестящими глазами.

Отделив шкуру, Ипак раскачал за ласты зверя и швырнул далеко в море. Вода всплеснулась, приняв его, сомкнулась, и на поверхности осталось лишь большое радужное пятно.

Ипак покрыл снятой шкурой свою окровавленную спину и медленно поднялся на высокий берег к своему жилищу.

Наступила ночь. Сгустившиеся в небе тучи усиливали темноту. Ветер поднял волны.

Буря нарастала с необыкновенной быстротой. Вскоре волны достигли крайних яранг, поставленных ближе к урезу воды. Встревоженные жители искали спасения на

возвышенных местах, поднимаясь на горы Имаклик и Иналик.

Ближе к полуночи разразилась настоящая буря. Огромные волны обрушивались на берег, сметая все на своем пути. Хлынул проливной дождь. Казалось, разверзлась, раскололась громом и блеском молний небесная твердь и вся накопленная влага обрушилась на землю. Ветер срывал жилища, уносил кожаные лодки, подхватывая и неосторожных людей, тех, кто не сумел найти надежного убежища или зацепиться за землю.

Люди теперь понимали, что на них обрушился гнев богов, возмездие за надругательство над неведомым зверьком, покрытым красной короткой шерстью.

Словно наступила вечная тьма, поглотив и небо, и землю, и море. Плачущие дети, женщины, мужчины, старики и старухи — все в страхе и в поисках спасения карабкались по склонам двух гор как можно выше, убегая от высоких волн.

Иные теряли рассудок и кричали, что отныне пришел на землю конец, и солнце больше никогда не осветит ее своими теплыми лучами, и небо не откроет лучезарного сверкающего свода. А что касается звезд, то они сорваны ураганами и раскрошены на мелкие осколки молний.

Люди уже не верили своим ощущениям и не замечали, как слабел ветер, как утихали волны, а под утро воцарилась неправдоподобная умиротворяющая тишина. И уже не верилось, что в природе, полной такого покоя, может быть и оглушающий грохот, и ослепительный блеск молний, и низвергающийся с неба водопад.

Когда солнце, большое и чистое, поднялось над омытым и четко очерченным горизонтом, с вершины двух гор люди больше не увидели земли — от нее остались только две горы, ныне возвышающиеся островами в проливе Ирвытгыр — Имаклик и Иналик...

После Виктора Энмынкау я еще несколько раз от разных людей слышал эту легенду, приводил в своих книгах в разных вариантах. При этом главный смысл сохранялся: возмездие богов.

Эта по своему содержанию и грандиозности описываемых явлений почти что библейская история — несомненно, отголосок действительных событий, память о не-

обычайном стихийном бедствии, о природной катастрофе, которая запечатлелась в памяти людей и сохранилась до наших дней в виде притчи-сказания.

Однако поразительным является и то, что люди далекой от нас эпохи, времени последнего ледникового периода, к которому наука и относит погружение в морскую пучину Берингии, умели видеть свою неразрывную связь с природой, единение человека с окружающей средой на достаточно, мы сегодня сказали бы, «научном уровне», чтобы извлекать нравоучительный опыт даже из тех явлений природы, которые еще не были подвластны человеку.

Я увидел из окна моего номера в Анадыре, как Виктор Энмынкау, лектор окружкома, шел к себе домой в обеденный перерыв. Я окликнул его, позвал к себе и спросил, помнит ли он легенду об образовании пролива Ирвытгыр и как он ее рассказывал мне.

— Легенду помню, а как рассказывал тебе — забыл.

И мы вместе вспоминали студеный зимний вечер в уэленском интернате.

При свете ранних сумерек мы нарубили угля из смерзшейся до каменной твердости кучи на берегу моря, затопили печь и долго сидели перед открытой дверцей, глядя на пляшущий огонь. Шла война, но в воздухе уже пахло весной победы — зима сорок пятого шла на убыль.

Недалеко от нашего интерната из сугроба торчал вход-лаз в полуземляную ярангу школьного истопника Ваальгиргина. Он появился в Уэлене со своим многочисленным семейством году в 1939-м и построил ярангу по образцу островных жилищ, наполовину врыв ее в землю, хотя в равнинном Уэлене, расположенном на галечной косе, нужды в этом не было. Вместе с главой семейства — высоким, неразговорчивым, одноглазым Ваальгиргином в яранге поселились два его сына — Амая и Иякук, а из его дочерей самой заметной была красавица Улесик.

Эпидемия гриппа тогда не пощадила и семью Ваальгиргина. К концу войны в живых остались лишь Иякук и Улесик. Они переселились в другое место — Улесик жила в бухте Лаврентия, а Иякук, закончив Анадырское педагогическое училище, перебрался на жительство

в верховье реки Анадырь, в места лесистые и так непохожие на его родной Иналик.

Да, семейство Ваальгиргинов было родом с Иналика, островка в Беринговом проливе. Это одна из тех горных вершин из легенды, рассказанной мне зимним вечером в уэленском интернате Виктором Энмынкау.

Какие великие потрясения заставили большое семейство сняться с места и двинуться через пролив даже не в Наукан, в котором жили одноязычные с ними эскимосы, а в Уэлен, большинство жителей которого говорило на чукотском языке? Мы дразнили Амаю, Иякука и Улесик «американцами», и тогда, в годы союзнических отношений, это, на наш взгляд, не было обидным, но почему-то высокий и мрачный Ваальгиргин становился еще более мрачным.

Я подозревал некую тайну, и это еще более усиливало интерес к необычному семейству.

Летом 1946 года, когда меня уже не было в Уэлене, приезжали с дружеским визитом иналикские эскимосы. Это была праздничная встреча — все радовались окончанию войны и были уверены, что наступили времена вечного мира и дружбы.

Из «Аляскинского дневника»:

«Тогда у меня была своя байдара, — вспоминал Мылыгрок, поглядывая на трепещущий на ветру красный ветроуказательный конус на посадочной площадке между островами Крузенштерна и Ратманова. — Мы погрузили наши семьи, набрали подарков — кофе, сгущенного молока, шерстяных перчаток, разного барахла. Спиртного тогда у нас не было: сухой закон.

Когда мы подплывали к Уэлену со стороны мыса Сэнлуквин, я велел поднять на нашем умиаке красный флаг. Такие же флаги подняли и другие байдары.

Хорошо нас встретили в Уэлене. Среди встречающих я увидел Атыка. Он был бодр и будто даже стал моложе. В те годы ваша страна молодела буквально на глазах, освобождаясь от старого, чтобы строить и крепить новую жизнь.

Тогда я услышал знакомое русское слово: побе-

да! Это слово часто повторяли летчики, самолеты которых я обслуживал в аэропорту в Номе. И я тогда сказал это слово Атыку: победа!

Большинство гостей разместилось в полупустующем интернате и в школе. Я жил у Атыка, и долгими вечерами мы говорили о будущем. Да, мы верили в то, что наши страны навеки подружились, закалив свою дружбу в огне войны. И предполагали, что и общение наше будет более частым: ведь наши правительства обязались жить в мирном соседстве и помогать друг другу. А тогда наши страны нуждались во взаимной помощи.

Не думал я тогда, что последний раз вижу Атыка. Мы с ним вышли у Священных камней Уэлена на танец Победы. Мы сочинили этот танец за одну ночь, хотя на это обычно идет целая зима, а то и год. Но в этот раз мы понимали, что люди ждут от нас этого танца.

И вот когда замерли бубны, мы застыли с Атыком в дружеском объятии и подняли над собой два скрещенных флажка — советский и американский...

А потом все переменилось, — вздохнул Мылыгрок. — И вот так продолжалось почти тридцать лет, и до твоего приезда я уже больше не разговаривал ни с одним советским человеком, а тем более родичем Атыка...»

2

В феврале семьдесят восьмого года устойчивая погода в Беринговом проливе была такой же редкостью, как и во все другие времена.

Об этом свидетельствовал непрекращающийся грохот пурги, который убаюкивал меня вечером и будил меня по утрам в Иналике.

Я жил в школе, на втором этаже довольно добротного здания, оборудованного всеми современными бытовыми удобствами. В доме была местная система канализации, горячий душ, электрическая плита и холодильник. Единственное окно смотрело на южную сторону, на ряд занесенных по самую крышу эскимосских домишек.

Ветер несся по узкой трубе, образованной двумя островами в Беринговом проливе, хватая со льда не успевший слежаться снег и неся его на юг, на свободные от ледового покрова холодные воды Тихого океана.

Я включил радио. Знакомый голос диктора из Анадыря, с Чукотки, знакомил слушателей с прогнозом погоды. Ничего утешительного. Такая же ненастная погода царила от мыса Шмидта до мыса Наварина.

Я переключил канал и услышал передачу радио Нома. Говорили тоже на эскимосском языке и передавали прогноз погоды. Те же самые безрадостные вести: снег и ветер и на Аляскинском побережье, от мыса Барроу до Кадьяка.

Я услышал тихий стук в дверь.

— Вы уже встали? Я вам приготовила кофе. Спускайтесь вниз.

Это была Дора Аляпана, повариха иналикской школы, жена помощника учителя.

Сам Джон уже вел урок с малышами в нижнем большом классе. Он улыбнулся мне из-за стеклянной двери и повернулся к классной доске, а Дора налила мне полную толстостенную кружку кофе с молоком и уселась напротив.

— А вы знаете, на том берегу, — она кивнула за окно по направлению к советскому острову Ратманова, — у меня есть сестра... Ее зовут Улесик...

Я насторожился. Дора сама заводила разговор, к которому я примеривался, собирался приступить, но не знал, как начать.

Я молча ждал.

— Она уехала отсюда совсем молоденькой, — продолжала Дора после некоторой паузы, — и я тоже тогда была еще девочкой... Уехала, и с тех пор о ней никаких известий...

Дора протерла очки концом белого фартука и пытливо посмотрела на меня.

— Я знаю Улесик, — произнес я. — Мало того, я учился с ней в одной школе в Уэлене, который здесь, в Америке, чаще называют Ист-Кейп.

Дора хотела что-то сказать, но я продолжал:

— Я давно ее не видел. Знаю, что один из ее братьев,

Амая, умер, а второй, Иякук, живет в Марково, в селении, расположенном в верховье реки Анадырь.

— Значит, вы знали Улесик! — всплеснула руками Дора. — Вы должны все о ней мне рассказать! Но не здесь, а у меня дома! Приходите сегодня на пирог, ведь завтра день рождения Джорджа Вашингтона.

Природа отметила день рождения первого американского президента такой пургой, которая даже здесь, на родине арктических ветров, случается не так часто. Правда, как это водится на Севере, погода не является уважительной причиной, чтобы пренебречь приглашением в гости.

Поэтому в назначенный час, вооружившись палкой с острым наконечником, с помощью которого можно было цепляться за оледенелый снег, и электрическим фонариком, я с трудом открыл дверь, подпираемую с другой стороны ветром со снегом, и встал на четвереньки, взяв направление на домик Джона и Доры Аляпана.

Очки мои тут же залепило снегом, и только чутье вело меня к высокому крылечку на сваях. Благо домик был совсем рядом со школой. Вскоре я уперся в столбик, облепленный твердым снегом со стороны ветра. Одолеть три ступеньки не составило труда. Перейдя холодный тамбур со знакомым устойчивым запахом жира морского зверя, я вошел в комнату, ярко освещенную электричеством и заполненную теплым запахом испеченного, только что вынутого из духовки пирога.

Из кассетного магнитофона слышался слаженный хор, исполнявший на эскимосском языке духовные гимны.

— Наши две маленькие сестры застряли в Номе и вот уже второй месяц не могут собраться приехать сюда. Церковь совершенно замело снегом, — флегматично заметил Джон. — Если до весны не приедут, не стоит и труда откапывать: солнце само растопит снег и откроет дверь в храм божий.

Домик Джона Аляпана выстроен Бюро по делам индейцев, которое кроме просветительных дел должно заботиться о жилищном строительстве для индейцев и эскимосов Аляски.

Не только изнутри, но и снаружи домик поражал своей даже не легкостью, а легкомысленностью. Сколоченный из тоненьких реек калифорнийской сосны, он весь дрожал, как бумажный змей перед полетом. Но каким-то

чудом в доме держалось тепло, хотя за этими тоненькими стенами бушевал ледяной ураган.

Пирог был отменный, свежий, хотя все его составные были из консервов.

После чаепития Дора уселась рядом со мной на диван и сказала:

— А теперь расскажите мне все об Улесик...

Что я мог рассказать? Да, девочка была красива и привлекала внимание не только старшеклассников, но и молодых учителей. Однако держалась неприступно и даже отчужденно.

По-русски она довольно быстро научилась говорить, но вот чукотский язык ей почему-то давался с трудом, хотя ее братья буквально через неделю заговорили с нами так, будто этот язык был родным для них с самого детства.

Двадцать девятого июня сорок шестого года я уехал из Уэлена. Первую часть пути я прошел по льду берегового припая, сильно подпорченного солнцем. Мне пришлось обходить насквозь протаявшие промоины, прыгать через широкие трещины. Кожаная байдара науканских эскимосов ждала меня где-то у кромки льда, и я боялся промахнуться и выйти в стороне, к открытому морю.

Науканцы сдержали слово: они ждали меня точно в условленном месте, но уже в нетерпении посматривали в сторону берега.

На долгом пути в университет, который растянулся почти на три года, среди лиц, которые чаще всего приходили мне на память, я вдруг видел лицо Улесик, смуглое, застенчивое, загадочное и очень редко с улыбкой.

Вернулся я в Уэлен почти через восемь лет, летом пятьдесят пятого года. Нашей яранги на старом месте уже не было, директором школы был мой бывший одноклассник, русский, который почитал за родной язык чукотский, Владилен Леонтьев.

Поздним вечером мы сидели в учительской и под обычный ночной уэленский концерт — вой собак — вспоминали детство, людей, которые окружали тогда нас.

Вспоминали, естественно, школьных учителей, людей, которые так или иначе были связаны со школой. Дошли и до Ваальгиргина и его семьи.

— Никто так и не разгадал загадки его неожиданного

приезда в Уэлен, — задумчиво проговорил Леонтьев. — А ведь что-то за этим было... Эскимосы, как и чукчи, очень редко покидают родное место. Для этого должны быть очень веские причины.

— Разгадка семьи Ваальгиргина лежит на другом берегу Ирвытгыра, — сказал я тогда более для красного словца, нежели для действительного осмысления судьбы «американца».

Потом мы поговорили о судьбе детей нашего школьного сторожа.

Иякука я встречал потом в Анадыре, в Магадане, когда работал в газете «Магаданская правда», а вот с Улесик свидеться не удавалось, хотя я не раз бывал в бухте Лаврентия, где она работала медицинской сестрой в районной больнице...

Обо всем этом я рассказал Доре.

Она снимала очки и протирала платком заслезившиеся глаза.

— Значит, она жива, — с облегчением произнесла Дора. — Раз работает в больнице, значит — жива. Все же ближе к докторам, к медицине: если что — сразу тут же помогут, — пояснила она.

— Так почему же Ваальгиргин переселился в Уэлен? — задал я наконец свой вопрос.

— Потому что у него была трудная судьба, — тихо ответила Дора. — Он хотел справедливости.

Я решил не мешать ее сбивчивому, трудному рассказу.

— Тогда все помешались на торговле, на деньгах, — продолжала Дора. — Старались все продать с себя, лишь бы заполучить лишний доллар. Люди уезжали в Ном, покидали свои жилища, свои семьи, обещая вернуться богатыми, на новом деревянном вельботе с хорошим мотором... Человека два и впрямь вернулись на вельботах, а остальные либо вернулись такими же нищими, какими уходили, либо остались навечно на болотистом кладбище за аэродромом Нома.

Ваальгиргин никуда не уезжал. Он ходил на охоту, добывал нерпу, моржа. Сам мастерил патроны. Один такой патрон разорвался у него в руках: он потерял два пальца на правой руке и глаз...

Как-то ему довелось побывать на вашем берегу. В годы, когда он был совсем еще молод. Все люди нашего острова ездили к вам больше повеселиться, потан-

цевать, послушать новые песни. Но не таким был Ваальгиргин. Он смотрел на другое: как менялась жизнь на вашем берегу. Я слышала разговоры об этом, когда была девочкой.

И когда возвращался сюда, у него разговоров было только о том, что в Наукане построили новую школу, в Уэлене начали выпускать газету, в которой можно читать статьи и на эскимосском языке. . .

Наши старики говорили: жизнь белого человека — чужая для нас жизнь, и все эти книги, газеты, грамота и даже доктора — все это чужое нам. Мы жили без этого с незапамятных времен, проживем и дальше.

А Ваальгиргин напоминал:

— А новые вельботы, которые почти задаром дают охотникам, новые моторы, ружья?

Против этого трудно было возражать.

Случилось чудо — у нас тоже открыли школу. Наш первый учитель выслушал Ваальгиргина и сказал:

— Все, что ты говоришь, — порча от большевиков.

Ваальгиргин не согласился с ним.

— Я видел большевиков в Уэлене и Наукане, — сказал он. — Мой друг Утоюк — большевик, мой знакомый русский Леонтьев, тот, который построил мастерскую для косторезов, — тоже большевик. Он потерял руку, когда воевал за то, чтобы сами простые люди были хозяевами своей жизни. . .

— Большевики призывают к дележу всех богатств, — возражал учитель.

— Это в обычаях нашего народа, — стоял на своем Ваальгиргин. — Когда мы добываем кита или моржа — каждый получает свою справедливую долю, если даже он в тот день не выходил на охоту.

— Ты — самый настоящий большевик! — рассердился учитель и перестал разговаривать с Ваальгиргином.

На Ваальгиргина стали посматривать косо. Иные, кто уже обзавелся деревянным вельботом, отказывались брать его к себе: остерегались его разговоров. В нашей яранге стало совсем худо. Я была самая младшая, и меня взяли в семью дяди Аляпана. Вместе с ними мы уехали в Ном, чтобы найти там работу. . . Я никогда не думала о том, что в последний раз вижу своих братьев и сестер. Дядя Аляпана уговаривал Ваальгиргина поехать вместе: на аэродроме требовались рабочие — через

Ном в Советский Союз перегоняли военные самолеты на германский фронт.

— Я вернулась после войны, в сорок девятом году, — грустно продолжала Дора. — Никого из нашей семьи уже больше не было здесь: все уехали. Уехали, чтобы больше не вернуться. . .

Дора сняла очки и отвернула залитое слезами лицо от меня.

Что я ей мог сказать в утешение?

Весной 1946 года Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую речь в Фултоне, знаменующую начало холодной войны.

А Ваальгиргин перебрался по льду между островами на советский остров Ратманова и поселился у своих родичей. Через некоторое время он уехал в Уэлен. . .

— Когда мы узнали, что вы к нам прилетаете, — продолжала, успокоившись, Дора, — я обрадовалась: наконец-то я узнаю, что стало с моими братьями и сестрой. Все эти долгие годы я с надеждой всматривалась в тот берег, и мне казалось, что вот-вот покажется байдара, я увижу отца, мать, братьев и сестру. . . Но шли годы, я уже стала носить очки, мои собственные дети выросли и обзавелись семьями, а оттуда не было никакой весточки. Хотела я написать, но куда — адреса-то я не знала. . .

Дора отошла к печке и принялась заваривать кофе.

Ее муж, Джон, который все это время сидел поодаль и всем своим видом показывал, что не вмешивается в нашу беседу, подсел ко мне на диван.

— Она мне часто рассказывала о своей семье. Да и здешние все хорошо помнят эту историю. . . Да, жизнь непростая вещь! — философски заметил Джон Аляпана, помощник учителя школы на острове Малый Диомид, Крузенштерна или, как этот клочок земли был издревле назван, — острове Иналик.

Джон Аляпана не имеет формально диплома учителя, и образование его приблизительно равно нашему восьмилетнему. Но жизненный опыт у него весьма солиден: шесть лет он прослужил в натовских войсках в Европе, во Франкфурте-на-Майне.

— Служба была спокойная, если не считать того, что

время от времени нас собирали и читали лекции об агрессивных намерениях Советского Союза. Потом показывали кинофильмы вроде «Русские идут!». Интересно было смотреть! Многие наши солдаты верили всей этой чепухе и расспрашивали меня о русских, полагая, что если я живу в двух милях от вашей страны, то чуть ли не каждый день общаюсь с русскими и пью у них чай из самовара... Иналикских эскимосов, как и остальных местный жителей Аляски, охотно берут в армию. Один из военных откровенно признавался мне в Номе, что эскимосы дисциплинированные солдаты, быстро осваивают военную технику. В каждом эскимосском селении сегодня существует вроде добровольного отделения Национальной гвардии. Время от времени военнообязанные мужчины проходят обучение... Некоторые из эскимосов даже воевали в Корее и Вьетнаме, — признался Джон Аляпана.

Несколько раньше вице-президент корпорации «Берингов пролив» Чарлз Джонсон рассказывал мне о своем родном брате, который был тяжело ранен во Вьетнаме.

У Дуайта Мылыгрока среди книг его личной библиотеки я увидел тщательно и любовно изданный томик «Северяне в войне». В нем рассказывалось о военной службе эскимосов и индейцев Аляски, а в конце книги был приведен довольно внушительный список погибших, начиная со второй мировой войны и кончая последней — вьетнамской.

— Но мы никогда не представляли братьев по ту сторону Берингова пролива нашими потенциальными врагами, — заверил меня Джон. — Никогда! Чем дольше мы живем и чем больше нас вовлекают в свои авантюры белые люди, тем больше мы укрепляемся в мысли: пусть они отстанут от нас и позволят нам жить так, как мы сами хотим! Мы любим свою землю, свою историю и свой образ жизни!

Джон Аляпана светил мне электрическим фонариком, пока я спускался на обледенелую тропу, направляясь в свой приют в школе.

Идти можно было только наугад. Ветер хлестал в лицо снегом, выдувал из легких остатки воздуха, заставляя судорожно, по-рыбьи широко разевать рот.

И такая погода продолжалась уже почти неделю безо всякой передышки: обычная зимняя погода Берингова пролива.

Да, непривычному человеку и впрямь покажется эта земля проклятой богом, непригодной для жизни и тем более невозможной для возникновения каких-то общечеловеческих ценностей — искусства, философских учений, прекрасных изречений о красоте, гармонии...

И тем не менее человек здесь живет и борется за свою жизнь на протяжении тысячелетий. Мало того, он считает эту землю самой прекрасной, не сравнимой ни с какими другими землями ни красотами, ни удобствами, ни климатом, ни ландшафтом...

Я с детства слышал рассказы от бабушки и дяди Кмоля о «жарких странах». Это вполне естественно — противоположное всегда привлекательно и любопытно. Каких чудес я не наслушался! Но при всем при этом всегда подчеркивалось, что в тамошних землях, где отовсюду поднимается непригодный для вольного и свободного дыхания горячий воздух, настоящему человеку — лыгъоравэтльану (а это значило ни много ни мало — «человек в истинном значении») — жить невозможно. Наша земля, само собой, считалась наилучшей для жизни, для всего того, что составляло смысл этого понятия — жизнь. Ибо как можно существовать без истинной пищи — мяса моржей, лахтаков, китового сала, тундровых растений, оленей — там, где попросту эти животные не водятся? Как можно запирать вольный огонь костра в каменный ящик-печку и самому же поселяться в каменном ящике-доме? И даже в деревянном доме не так вольно, как в яранге, в которой ты ясно слышишь дыхание ветра за моржовыми и оленьими шкурами. Как можно жить чем-то другим — служить в конторе, ковыряться в земле, целыми днями трудиться, склонившись над станками на больших заводах и фабриках, вместо того чтобы охотиться за зверем на вольном воздухе, грести или плыть под парусом по океану или идти по бескрайним ледовым полям в поисках спящего тюленя или разводья, в котором можно подкараулить нерпу?

В школе сведения об иных мирах, о других географических понятиях все же не затмевали преимуществ родного края.

Мое учение в школе пришлось на пору великих северных экспедиций — плаваний по Северному морскому пути «Сибирякова», «Челюскина», зимовки папанинцев на дрейфующей льдине, перелетов через Северный полюс. Слово «полярник» тогда было сродни нынешнему — «космонавт».

Невдалеке от Уэлена, на косе, где стояла видимая отовсюду ажурная мачта электрического ветродвигателя, находилась полярная станция. Естественно, что там работали полярники — метеорологи, запускающие шары-зонды, воздушных змеев. Они обращались с хитроумными приборами, полными для нас волнующих загадок; радисты ловили с помощью высоких антенн издалека летящие слова, и мы, ребятишки, часами стояли на морозном ветру, стараясь «поймать» глазами хоть одно словечко, обрывок таинственного небесного разговора, который в радиорубке превращался сначала в птичий писк, а потом уже, под карандашом радиста, в обыкновенные человеческие слова. Другие обитатели полярной станции ставили в море разлинованные вешки, отламывали осколки льда и тщательно их разглядывали. Именно на полярной станции я впервые в жизни приобщился к чуду века — посмотрел первый в своей жизни кинофильм «Пышка», снятый по одноименному знаменитому рассказу Мопассана.

На полярной станции были и обыкновенные, рядовые работники: повариха; специальный человек, который возил летом воду, а зимой лед на собачьей нарте и топил баню. И все-таки все они для нас прежде всего были настоящими героями, и мы не могли смотреть на них без чувства восхищения, тайной зависти и мечтали когда-нибудь если уж не стать радистом или метеорологом, то хотя бы возить воду или лед в эти прекрасные дома будущего, где горело электричество и музыка по радио транслировалась чуть ли не целый день.

В окружении полярников, которые героически покоряли Север, Арктику, мы как-то не задумывались о своем месте и почему-то не возникало мысли: вот вырастем и тоже будем покорять и завоевывать.

Среди покорителей было много таких, которые бесконечно ругали и климат, и холод, и пургу, и ровную, без единого деревца тундру, и даже порой критиковали жителей этого края, выражая непонимание: как это можно здесь жить всю жизнь, от самого рождения до самой

смерти, и не желать жить где-то в другом месте, где тепло, есть зеленые леса, мягкие луга, где вода не обжигает тело, если ненароком угодишь в нее, а мягко ласкает?

Пожалуй, самым характерным был один американский генерал в Вашингтоне, о котором мне рассказал административный директор медицинской службы Нома и прилегающих окрестностей Уильям Данн, муж эскимосской учительницы Дженни Алова — единственной обладательницы диплома Гарвардского университета среди своего народа.

Недавно на острове Иналик, или на Малом Диомиде, в осеннюю пору, когда пролив между материком и островом забит ледяной крошкой, не позволяющей свободно плавать на кожаном умиаке, а на другом берегу острова, обращенном к советскому берегу, еще не появился лед, на котором обычно садится самолет с материка, тяжело заболел мальчик. Требовалась срочная медицинская помощь.

Надо заметить, что вот уже несколько лет жители Иналика просят оборудовать посадочную площадку на плато островка. Это особенно важно как раз для таких случаев, которые не так уж редки. Практически несколько месяцев — от трех до четырех — Иналик бывает полностью отрезан от внешнего мира.

С большим трудом перегнали с Кадьяка военный вертолет, который и эвакуировал больного мальчика в больницу в Номе.

По этому случаю жители Иналика еще раз обратились в правительство с просьбой оборудовать посадочную площадку. В Вашингтон для беседы был вызван Билл Данн.

Мы сидели за вечерним чаем в домике, притулившемся у покрытого льдом залива Нортон, — «с видом на лед». Широкое окно открывало панораму залива, по которому на снегоходах мчались к лункам краболовы. Иногда мимо окон, взметая лапами снег, проскакивала собачья упряжка. Каюр стоял на концах полозьев, держась за высокую спинку гоночных нарт.

— Я рассчитывал на этот раз вырвать ассигнования на строительство посадочной площадки, — рассказывал Билл. — Поэтому и не жалел красок в своей речи, расписывая суровость климатических условий островка в Беринговом проливе.

Я смотрел в лица людей — сенаторов, конгрессменов, высокопоставленных чиновников госдепартамента, — многие из них со льдом соприкасались лишь в стакане с виски, на представителей Пентагона, холеных, высокомерных, и старался изо всех сил, показывая, как человек Севера борется за свое существование на крошечном островке посреди необузданной стихии... Обо всем я сказал: о летнем тумане, который может месяцами висеть над островом, о ледяных дождях, покрывающих блестящей коркой и землю, и жилища, и лодки, и даже просто идущих людей, их одежду, шерсть собак. Описывал ураганные зимние ветры, дующие по нескольку недель беспрестанно, холод...

Когда я закончил, уверенный в том, что люди, призванные заботиться о своих собратьях на далеком арктическом острове, растрогаются и немедленно отпустят требуемые деньги для строительства посадочной площадки, один из присутствующих генералов вдруг спросил:

— А вы уверены, что на острове живут нормальные люди?

Я не понял поначалу вопроса точно так же, как и другие присутствующие на совещании.

— Господа, — генерал был взволнован. — Посудите сами: природные условия этого острова просто поразительны. Поразительно и то, что находятся какие-то безумцы, которые живут там и вдобавок еще и цепляются за этот клочок совершенно непригодной для нормальной жизни земли! Я думаю, что их надо лечить, а не идти на поводу их безумных требований — строить посадочную площадку.

Билл Данн замолчал. После продолжительной паузы он заметил:

— В одном он прав: в любви есть всегда элемент некоторой ненормальности с точки зрения обывателя.

— Ну, а как насчет посадочной площадки? — спросил я.

Он безнадежно махнул рукой:

— Отложили на неопределенное время...

3

В направлении на юго-восток от острова Малый Диомид, в непосредственной близости от Азиатского материка, лежит остров Аракамчечен. За проливом, на матери-

ковом берегу стоит село Янракыннот, что в переводе на русский значит — «отдельно стоящая твердая земля». Домики Янракыннота стоят на высоком мысу и видны издалека.

Когда вездеход идет из бухты Провидения и спускается на лед пролива Сенявина, еще издали показываются дома Янракыннота и долго-долго манят путника, а в ранние полярные сумерки служат маяком запоздалому путнику.

Остров имеет примечательную историю: на нем долгие годы жил знаменитый шаман Аккр.

До сих пор о нем ходит множество легенд. В них уже много наносного, сочиненного, принадлежащего совсем другим людям. Так, в Анадырском краеведческом музее хранится удивительное сооружение: модель самолета с встроенным в него винчестерным обрезом. Эта модель сегодня не работает, но в детстве мне рассказывали, что внутри «самолета» был некий механизм, который вертел пропеллер и каким-то образом приводил в действие спуск винчестера. Чтобы сделать, в общем-то, из незнакомых механизмов такую сложную для своего времени вещь, надо было обладать недюжинным конструкторским талантом, сообразительностью и умением хорошего слесаря. Этот «самолет-винчестер», сделанный для устрашения земляков, как бы вбирал в себя то «зло», которое виделось в новых явлениях шаману-изобретателю. Приезд первых учителей, организация культбаз и вытеснение шаманов было связано с проникновением авиации на Дальний Север. Музейный экспонат Анадырского краеведческого музея приписывали Аккру, хозяину и шаману острова Аракамчечен.

Этот остров, отделенный от материка островом Сенявина, до сей поры славится изобильным моржовым лежбищем, объявленным сегодня заповедником.

Ранней весной, когда лед в проливе еще достаточно крепок, на остров перегоняют оленьи стада совхоза «Заря коммунизма».

Во времена Аккра на острове паслось небольшое оленье стадо, принадлежащее его семейству, но главным богатством было, разумеется, моржовое лежбище.

Островитянину не надо было думать о том, как обеспечить себя мясом, жиром и кожами для жилища на долгую полярную зиму: моржи все это сами приносили каж-

дую осень, вылегая на галечных косах, омываемых студеной водой Берингова моря.

И это повторялось из года в год многие десятилетия, столетия, а быть может, и тысячелетия в памяти, передаваемой из поколения в поколение. Это удивительное явление заставляло думать, искать объяснения, беречь лежбище, утверждаться в мысли, что соблюдение неких обычаев, смысл которых терялся в дымке прошедших годов, является условием существования лежбища.

В голодные годы, когда морж скудно приходил к материковому берегу, жители Янракыннота, Секлюка, Уназика, Авана и других близлежащих сел шли на поклон к хозяину острова испросить у него позволения добыть моржей на аракамчеченском лежбище.

Делегация, отягощенная подарками и представлявшая несколько сел, на двух-трех больших кожаных байдарах отплывала на остров и, одолев узкий пролив, высаживалась на северо-западном берегу.

Аккр сам встречал гостей.

Он был дружелюбен и добр, и не было случая, чтобы он отказал людям. Ставил единственное условие: чтобы ему оставляли моржовые головы с бивнями, ибо это было залогом того, что моржи и на следующий год приплывут на галечный пляж Аракамчечена.

С годами Аккр стал любопытен к количеству и качеству подарков. Он рассматривал приближающиеся байдары в мощный бинокль и, если ему казалось, что лодки недостаточно загружены дарами, уходил к себе в ярангу, отказываясь показаться гостям.

Догадливые эскимосы с Уназика снаряжали обратно одну из байдар и привозили добавочный груз оленьих постелей, мягких пыжиков, лахтачьих ремней и разного рода тангитанских товаров, от черного кирпичного чая до граммофона.

Аккр почитался шаманом. Шаманом самого высокого класса, который уже не занимается обычным, повседневным врачеванием. Он был шаманом-мыслителем, шаманом-теоретиком. Он объяснял мир, участвовал в самых торжественных ритуальных жертвоприношениях, изрекал истины и избегал делать сомнительные предсказания. Аккр отлично понимал, что его благополучие зиждется на молчаливом признании людьми его мистической власти над моржовым стадом, которое из года в год с неизменностью смен времен года приходило на эти берега.

И он старался укреплять свое положение разного рода обрядами, необычной, непохожей на других одеждой, предпочтительно белыми оленьими шкурами, богато украшенными орнаментом, вышитым из разноцветных ниток или крашенным охрой оленьим волосом... В последние годы он иногда объявлял, что боги запретили бить моржа на лежбище, и тогда над прибрежными стойбищами нависала угроза голода. Но в самое последнее мгновение, заставив людей пережить ужас предстоящих бедствий, смертей близких и детей, милостиво разрешал воспользоваться лежбищем.

Это продолжалось до начала тридцатых годов.

В Уназике молодой эскимосский паренек Ашкамакин ходил в школу и учился грамоте, не обращая внимания на насмешки мальчишек: в его возрасте парни уже не занимались такими глупостями, как распознавание значков речи на белой бумаге. Другой его соплеменник, Каля, собирался ехать в далекий и неведомый Ленинград, в Институт народов Севера.

... В середине семидесятых годов на прекрасном научно-исследовательском судне «Дмитрий Лаптев» мы плыли с Ашкамакином в бухту Лаврентия на празднование пятидесятилетнего юбилея районной партийной организации.

— Шаман Аккр, можно сказать, дал мне свою рекомендацию в партию, — с улыбкой вспоминал Ашкамакин.

Мы сидели на палубе и смотрели на проплывающую мимо нас старую Уназикскую косу, на которой мерцал, посылая нам молчаливый привет, световой навигационный маяк.

— Вон там располагался старый Уназик, — показал Ашкамакин. — Стояли яранги и единственный деревянный домик, принадлежащий богатому эскимосу Уххахтаку. В нем была наша первая школа и первый русский учитель Анатолий Ерженин говорил нам, что шаман Аккр попросту обманщик и плут. Слышать такое было жутко и страшно. Учитель Ерженин доказывал нам, что по декрету Ленина, по постановлению Советского правительства земля не может быть собственностью одного человека. Она принадлежит всем, как воздух, небо, звезды, луна и солнце. С этим соглашались даже старики, но вот что Аккр обманщик... В это было трудно поверить. Я выучился грамоте и стал работать организатором первых артелей по совместной охоте. Непросто было поначалу.

В это время уже многие эскимосы обзавелись личными вельботами, байдарами. Многое было добыто честным нелегким трудом, удачей, которая приходит к самому упорному. И надо было убедить людей, что совместное владение вельботом или байдарой — это для блага всех. Я тогда мало разбирался в революционной теории, в марксизме, и поэтому больше упирал на наши древние обычаи, на то, что людей Арктики всегда отличала сплоченность в работе, в охоте. И это действовало порой сильнее, чем некоторые лозунги, которые я тогда и сам не совсем понимал.

Были и такие, что не согласились со мной, с большинством людей. Они уехали на остров Святого Лаврентия, в Сивукак. Это Атаяхак, Ухкахтах... Добрались и до самого Аккра. К этому времени он уже был стар, но сыновья его выросли и были хорошо вооружены. Первому вельботу они не дали и близко подойти: открыли стрельбу из винчестеров.

— Из самолета-винчестера? — перебил я.

— Нет, самолет-винчестер, который в Анадырском музее, сделал другой шаман, из Янраная... Что было делать? В то время в бухту Провидения привезли несколько самолетов, которые потом должны были перелететь в устье Колымы. Вот тогда я сообразил: а не полетать ли над островом? Время было летнее, моржи еще не вылегли на лежбище, и шум моторов не грозил распугать животных. Я пошел к летчикам и рассказал о замысле. Они согласились, но предложили, чтобы я сам полетел с ними. Отступать было нельзя, и я согласился. Самолеты были на поплавках, и, разгоняясь по озеру Эстихет, они отрывались у самой косы. Когда я увидел перед собой надвигающуюся с быстротой ураганного ветра галечную косу, я решил, что мне пришел конец. Но уже в следующее мгновение почувствовал легкое покачивание и увидел воду открытого моря с белыми барашками на волнах. Это было удивительное ощущение. Вдруг захотелось запеть во все горло. Синие берега моей родины были сказочно красивы. Мы сделали круг, поднялись выше, и я увидел остров Сивукак, куда уехали Атаяхак и Ухкахтак, а прямо под нами — остров Аракамчечен. От непривычного шума оленье стадо разбежалось. Самолет снизился, и мы подошли к острову со стороны Янракыннота, к тому берегу, где располагалось стойбище Аккра. Мы пролетели над ярангами, но не увидели ни одного человека. Ушли в сто-

рону моря и издали заметили, как из яранги выполз сначала один человек, за ним другой... И тут летчик снова развернулся и опять направил самолет на яранги. На этот раз мы промчались, едва не задев верхние жерди из дымового отверстия. Люди, не успевшие уйти в ярангу, попадали на землю, словно сраженные насмерть. Мне даже стало их немного жаль: я представил себя на их месте, вспомнил, как сам убежал в ярангу, когда впервые увидел мчащийся в небе самолет, услышал ломящийся в уши грохот... Прошло несколько дней, и мы снова отправились к Аккру на двух моторных вельботах и прихватили с собой на всякий случай еще две байдары. На этот раз Аккр встретил нас не ружейным огнем, а покорно и почтительно. Он старался всячески угодить нам, чтобы только сохранить себе жизнь. Мы рассказали многочисленным его домочадцам, что такое Советская власть, и тут же торжественно объявили, что моржовое лежбище острова Аракамчечен объявляется всенародной собственностью. Пытались растолковать хозяину, что это такое, а он все беспокоился: кто будет приносить жертвы богам? Поначалу мы не хотели прогонять Аккра с острова и даже возложили на него обязанности как бы председателя артели. Ну, а потом случилось такое, что пришлось его посадить в тюрьму.

...Полная луна повисла над песчаной косой, высветив на фоне чуть светлого неба антенны радиостанции, маяк. То и дело вокруг нас с тяжелым шумом выныривали моржи.

— На Аракамчечен плывут, — заметил Ашкамакин. — Вот и тогда, в то лето, моржи устремились на привычный галечный пляж. Мы слышали выстрелы, шум, громкий рокот бубнов и долго не могли понять, в чем дело. Жители Янракыннота видели по ночам яркие огни, полыхающие на галечном берегу, как раз на том месте, где должны были вылегать моржи. И тогда мы поняли: Аккр отпугивал моржей от лежбища, чтобы они не достались людям. Ты знаешь, как заботятся люди о лежбищах, как хранят, берегут! Это истинные святыни. А тут — вдруг такое! До той поры я не то что продолжал верить шаманам, а как-то не терял окончательно уважения к ним. Но тут будто туман упал с моих глаз. Снарядили мы два вельбота, взял я с собой верных своих товарищей, моло-

дых ребят, комсомольцев. Приплыли мы, опасаясь выстрелов, но их не последовало: видно, хорошо запомнил Аккр рев самолетов над его ярангой. Мы снова собрали всех на сход, и я объявил именем Советской республики об аресте Аккра. Подчинился старик, пошел следом за нами. Всю дорогу молчал. Мне кажется, что переживал он: уж больно диким был его поступок — не дать моржам высадиться на свое лежбище, которое им было известно веками... Увезли Аккра в Уэлен, и вскоре он там и помер, не дождавшись суда. Разные слухи ходили о нем: будто он повесился, удавился или уморил себя голодом...

На металл поручней, на палубу упал предутренний туман, превращаясь на глазах в мельчайшие капельки холодной влаги. «Дмитрий Лаптев» входил в горловину залива Святого Лаврентия.

4

Вертолет в Ново-Чаплине, небольшом эскимосском селении недалеко от бухты Провидения, садится на окраине, подальше от строений и линий электропередач.

В Чаплино можно попасть и на машине: езды всего около часу. Но на этот раз нам надо было взять агитбригаду и лететь дальше — на остров Аркамчечен.

Стоял далеко не редкий в этих краях предосенний летний день: небо ясно во всю ширь, воздух спокоен и прозрачен, открывая взору далекие пространства, берега, бухты, проливы и далекие острова.

Галя Танутина — руководитель национального ансамбля села — пришла прямо в сценическом костюме, который отличался от повседневного тем, что более всего подходил для путешествий, ибо представлял собой национальную одежду: торбаса, цветастую матерчатую камлейку. Среди артистов я увидел и своего старого знакомого Геннадия Каяка. По слухам, он переехал в Уэлен.

Пока мы ждали остальных, Каяк коротко рассказал о последних событиях своей жизни. Да, и вправду он ползимы прожил в Уэлене как семьянин. Встретился как-то в аэропорту в Анадыре с молодой одинокой женщиной. Сидели четыре дня в ожидании самолета, познакомились, понравились друг другу, и в один день все было решено: Каяк прилетел в Ново-Чаплино, объявил удивленной матери о своем решении и отбыл в Уэлен.

Но Каяку семейная жизнь показалась не такой уж

привлекательной, как представлялась в тесном, неустроенном зале ожидания анадырского аэропорта. Прежде всего, в Уэлене зорко смотрели за тем, чтобы человек по-настоящему работал. А Каяк, прямо сказать, работал хорошо только тогда, когда этого ему хотелось. Остальное время он предпочитал созерцать окружающее, подниматься на разные возвышенности, господствующие над окрестностями, и оттуда наблюдать за происходящим на далеком расстоянии. Очевидно, в натуре Каяка были заложены особые задатки, или, как бы сейчас сказали, гены, присущие редкой эскимосской профессии — наблюдателю. Наблюдатель в эскимосском и чукотском прибрежном селении обязан был с утра до вечера созерцать окрестности и сообщать обо всем примечательном своим землякам: о проходе моржового стада вдоль берега, о возникновении китового фонтана, о приближении бури, об изменении течения, о подвижке льдов, о появлении собачьей упряжки зимой, а летом — байдары... Наблюдатель, естественно, должен был обладать хорошим зрением и слухом. Все это у Каяка было, но в сочетании с удивительной ленью и выдающимися музыкальными способностями.

Когда Каяк пел, держа перед собой бубен, он это делал с закрытыми глазами, отдаваясь всем своим существом пению. Танцевал он с не меньшим вдохновением, и вообще по своей натуре он был настоящим поэтом. Эти его качества, однако, казались странными и непонятными для молодой жены, которая, обретя мужа, прежде всего ожидала помощи в житейских делах, видела в нем добытчика и охранителя домашнего очага. Семейное счастье продолжалось менее года, и вскоре Каяк, к великой радости своей матери, которая уже привыкла видеть в нем большого ребенка, возвратился домой и зажил попрежнему в Ново-Чаплине, где все хорошо знали, чего можно от него ожидать, и не требовали большего.

Каяк как-то снимался в кинофильме по моему сценарию «Самые красивые корабли». Он оказался удивительно добросовестным и трудолюбивым актером, хотя исполнял трудную роль — шамана. А может быть, он по своему земному предназначению должен был родиться шаманом и попросту появился на свет не в свое время, чуть-чуть запоздав?

Остальные исполнители в группе Гали Танутиной уже долгие годы по вечерам ходили в небольшой сельский

клуб Ново-Чаплина, пели и танцевали, вспоминая древние напевы и танцы, сочиняя новые, в которых содержание современной эскимосской жизни отражалось в древних формах причудливо, для чужого глаза непривычно и странно.

Большинство песен и танцев прибрежных чукчей и эскимосов тесно связано с трудовыми процессами. Это песни о постройке новой байдары, охоте на кита, моржей и тюленей, о птицах и зверях, о бурях, ветрах, солнечных днях. Сейчас появились песни о прилете самолета или вертолета, об атомном ледоколе, одолевающем льды, и даже о процессе штукатурки стен. Есть песни и танцы о голубых песцах, которых выращивают на ферме, и весьма едкие и критические о разных бюрократах и нечестных работниках торговли.

Казалось бы, перед натиском огромных возможностей общаться с современной культурой через радио, телевидение, книги, собственные поездки на материк, знакомство с сегодняшними эстрадными новинками, у северянина должен был несколько угаснуть интерес к собственному, на взгляд постороннего не очень зрелищному, искусству песни и танца Берингова пролива... Но, к счастью, этого не наблюдается. Наоборот, за последние годы усилился интерес к своему исконному даже среди молодежи. И это видно повсеместно, по всей Арктике — от Северной Скандинавии до севера Сибири, Дальнего Востока, Канады, Аляски и Гренландии.

Концертов даже маленьких групп, как ново-чаплинская агитбригада, с нетерпением ждут в других селах и особенно в оленеводческих бригадах, таких, как бригада Владимира Туккая из совхоза «Заря коммунизма».

Сегодня на острове Аракамчечен нет постоянного поселения. В летнее время сюда прикочевывают оленеводы, ближе к осени, когда «созревает» урожай, на лежбище приезжают морские охотники. В зимнюю пору иногда забредают добытчики белого песца.

Вертолет поднялся над Ново-Чаплином и взял курс на Аракамчечен. Лететь предстояло менее получаса, и весь путь я не отрывался от иллюминатора, любуясь берегами, круто обрывающимися к Берингову морю. Острова Секлюк, Аракамчечен, Сенявина казались впаянными в сверкающую гладь океана.

Далеко на горизонте синими низкими холмами виднел-

ся остров Святого Лаврентия, или, по-эскимосски, Сивукак, возникшей не по их воле.

Всего сорок пять миль его отделяют от советского берега, и раньше жители старого Чаплина-Уназика запросто ездили к своим многочисленным родичам, ибо коренное население этого довольно большого острова, может быть самого большого на севере Тихого океана, своим происхождением тесно связано со своими азиатскими родичами.

С именем Ашкамакина связана одна легенда, которую в разных вариантах я слышал от многих людей. Сам герой этого удивительного случая на мой вопрос ответил как-то уклончиво. Суть в том, что много лет назад, в пору коллективизации, а точнее организации артелей по совместной охоте на морского зверя, Ашкамакин приплыл на остров Святого Лаврентия и почти что создал там колхоз. Осталось только подобрать председателя. Однако когда Ашкамакин вернулся на материк и доложил в райкоме еще об одном коллективе по совместной охоте, и указал место, и назвал селение, на него в ужасе замахали руками: это же другое государство — Соединенные Штаты Америки!

Может быть, и не совсем было так, но ведь и для Ашкамакина, и для его родичей на острове Святого Лаврентия племенная общность, чувство единства народа живет и по сию пору, несмотря на то что люди разделены государственной границей.

Вертолет сделал далекий заход в оленеводческое стойбище, чтобы избежать пролета над моржовым лежбищем. Так что главного священного места на острове Аракамчечен нам не удалось увидеть с воздуха. Это возможно лишь тогда, когда последние моржи покидают галечный пляж и уходят зимовать в теплую часть Берингова моря.

Три яранги терялись среди тундры и каменистого морского берега. Пятнистость рэтэма — покрышки из обстриженной оленьей шкуры — маскирует жилища оленеводов на поверхности такой же пятнистой, кочковатой тундры, и заметить оленеводческое стойбище даже с низко летящего вертолета очень трудно. Самым заметным был большой красный флаг, трепещущий на ветру на высокой антенне, укрепленной у мощного вездехода.

Мы приземлились чуть поодаль, и пока лопасти останавливались, к нам уже подбежали жители острова — оленеводы совхоза «Заря коммунизма».

В основном это были женщины. Пока мы шли к ярангам, я слышал, как кто-то кричал по радиотелефону у вездехода:

— К нам прилетели гости! Ждем вас! Постараемся задержать их до вашего прихода.

Из вездехода выглянула молодая женщина в наушниках, улыбнулась нам:

— Я звоню мужчинам! Они считают оленей в корале, но сейчас вернутся сюда!

Вертолет улетел. Он должен был вторым рейсом высадить на остров киносъемочную группу Мосфильма, которая снимала какой-то эпизод, связанный с моржами. Вместе с киногруппой летела довольно внушительная группа из Общества охраны природы, охотинспекции, проводники.

А мы остались в стойбище Владимира Туккая.

По давно заведенному обычаю запылали костры под закопченными котлами, чайниками: готовилось угощение.

Семьи оленеводов за последние годы заметно помолодели. Хозяйка яранги, в которой я остановился, окончила восьмилетку , а ее муж после семилетки продолжал образование в провиденском профтехучилище и имеет специальность, как написано в дипломе, оленевод-радист.

— Я хоть специально и не училась, но умею обращаться с рацией, при нужде даже могла бы водить вездеход, — сказала Аймина.

По другую сторону костра стоял мальчишка лет пяти и с некоторой опаской посматривал на меня.

— Чего ты боишься? — спросил я его.

— Дети у нас боятся приезжих, — вздохнула хозяйка. — Опасаются, что это за ними... Районные работники народного образования, медики — все в один голос: отдавайте детей в ясли, в детский сад... А потом придет время идти в школу — в интернат. Вот и держим детей при себе сколько можем... Что-то здесь не продумали. Ведь это же главнейшая обязанность человека в жизни — вырастить детей, смену себе. Для чего же тогда рожать? Чтобы родить и тут же отдать государству? Да что мы — звери, что ли?

Хозяйка начала сердиться, и я перевел разговор на другое — на обеспечение, на заработки.

— Грех жаловаться, — ответила Аймина. — Получаем

с мужем достаточно, да еще всякие премии, надбавки... Ведь теперь мы — рабочие совхоза и на нас распространяются северные льготы. Кроме этого, каждые три года имеем право бесплатно ездить на любой материковый курорт. Деньги копятся и копятся, и не знаем, что с ними делать. Все необходимое у нас есть.

— А что бы вам хотелось купить? Может, автомобиль?

— А что с ним делать здесь, в тундре? . . Был тут у нас один, купил «Москвича». Поездил два лета по селу от крайнего дома до зверофермы, а потом машина у него сгнила от сырости и холода. Попросту развалилась... Вот если бы нам снегоходы, которые в кино показывают! Как они на Эльбрус поднимаются, полярников возят... Никаких бы денег не пожалели. Да что деньги! — Аймина махнула рукой.

И тут мне на память пришел случай один. Как-то в моей ленинградской квартире раздался звонок. Я открыл дверь и увидел перед собой загорелого, улыбающегося, по всему видать — очень довольного человека. Я едва узнал его. Это был Гэванто с Восточной тундры.

— Ну, наконец я свою мечту осуществил!

За завтраком мы вспомнили нашу встречу в его родном стойбище. Тогда же он и высказал свою заветную мечту: увидеть, как растет хлеб, как его убирают, и вообще своими глазами посмотреть, как живет российский крестьянин. Он отказался от путевки на курорт. Немного пожил в Тульской области, в толстовских местах, и оттуда перебрался в орловские, тургеневские места. Здесь он прожил до самой осенней страды — водил комбайн, выучившись у местных механизаторов, молотил, вспахал поле под озимые...

— Вот теперь я знаю, за что надо уважать хлеб.

Гэванто был весь переполнен впечатлениями. Незадолго до отъезда на Чукотку, когда были сделаны последние покупки, упакованы чемоданы, он пришел в мою комнату и озабоченно сказал:

— Понимаешь, у меня осталось много лишней, неиспользованной бумаги. Не знаю, что с ней делать. Домой тащить неохота... Может, тебе оставить? Пригодится?

Я не сразу понял моего гостя и поэтому небрежно ответил:

— Да выбрось эту бумагу! Какой резон ее везти обратно в тундру?

— Да и выбрасывать жалко, — заметил Гэванто.

И тут только до меня дошло: в местах, откуда был родом Гэванто, деньги называли словом «бумага».

В небольшом чемоданчике Гэванто, уложенная аккуратными пачками, лежала «бумага» в количестве, достаточном, чтобы купить малолитражный автомобиль.

Я все же убедил гостя увезти с собой эту «бумагу», помог ему положить ее на аккредитив.

Я рассказал Аймине об этом случае, она засмеялась.

— И впрямь мы банкирами становимся: растут и растут деньги, а купить вроде бы нечего...

Как раз к тому времени, когда поспело свежее оленье мясо, на холме показались спешащие в стойбище оленеводы.

Владимира Туккая я встречал и раньше — в Чаплине, в Янракынноте, в поселке Провидения.

Он среднего роста и удивительно красив настоящей мужской красотой в сочетании с застенчивостью. Несмотря на то что ему уже за тридцать, он иногда краснеет, как девушка, смущается, как первоклассник.

Он тепло поздоровался с нами.

Галя Танутина здраво рассудила, что, прежде чем приниматься за трапезу, надо показать концерт.

— В предвкушении хорошей еды я танцую лучше, — откровенно заявил Геннадий Каяк.

Зрители расположились на солнечной стороне большой яранги, а задником для сцены служил простор пролива Сенявина и синеющий вдали материк.

Очень возможно, что раньше именно так и было: все эти танцы и песни исполнялись на вольном просторе, а не в тесноте старого, ветхого клуба. Гром бубнов удивительно гармонировал с шумом прибоя, с размеренным дыханием моря, и песни были предназначены не только слушателям, а всему этому вольному морю, земле, солнцу, пасущимся за холмом оленям, моржам, вылегающим на галечный пляж.

На этот раз Каяк превзошел себя. Не думаю, что это было предвкушением хорошей еды: просто он почувствовал себя в родной стихии, в том естественном окружении, которому более всего и соответствовали его песни и танцы.

Ветер подхватывал слова, мелодию, отмеренную ритмом бубнов, и уносил вдаль, где клочками облаков летели белые чайки, плыли маленькие черные кулички, низко стлались над водой красноклювые топорки.

Песня становилась продолжением звукового фона этой жизни, вплеталась в него и снова выходила, отделялась, чтобы затронуть человеческие сердца, проникнуть в их души.

И сами зрители, и слушатели как бы вживались заново не только в родное окружение, но и заново осмысливали себя, заглядывали в свои души, в сокровенные их глубины.

Те, кто бывал на арктических островах, не могли не заметить удивительно огромного неба. Впечатление это, возможно, объясняется тем, что окружающее водное пространство отражает синеву бесконечной вышины. Земная твердь, кусок тундры, кажется подвешенной между двумя половинками небесной сферы как раз посередине. Линия горизонта, отчетливая, необыкновенно строгая и точная, ровно пополам разделяет сферу.

И в этом бесконечном пространстве, рожденные вдохновением, стремлением выразить не выразимые иными другими способами чувства к бескрайнему небу, облакам, воде, поодаль плавающим льдинам, тундре, скалам, цветам, ягодам, мху, журчащим рекам, музыка и пение сливались воедино со всем окружением, становясь частью того, что называется Природой.

Стихли бубны, замерли звуки песен, но они продолжались в размеренном гуле близкого морского прибоя, в шипении пены, в звоне птичьей песни, журчании ручья.

Мы переместились в ярангу и расположились вокруг кэмэны — деревянного продолговатого блюда, на которое хозяйка водружала огромные куски светлого оленьего мяса.

Начало трапезы священно и не нарушалось разговором. Лишь изредка Владимир Туккай, пододвигая лакомые куски гостям, коротко произносил:

— Попробуй вот это.

Кто-то включил радиоприемник. Радиостанция КНОМ транслировала религиозную передачу. Священные псалмы исполнялись на эскимосском языке, на диалекте, родном для Каяка, Гали Танутиной... Пение было слаженным и мелодичным.

— Ты понимаешь что-нибудь? — спросил я Каяка.

— Очень мало, — отозвался Каяк. — Вроде бы все слова наши, а смысла уловить не могу.

Он помолчал и добавил:

— Наверное, потому, что я безбожник...

За чаем разговор потек свободно, перескакивая с предмета на предмет. Вспоминали историю острова Аракамчечен, но имя шамана Аккра даже не всем было знакомо.

— Вроде слышали про такого, — небрежно бросил Каяк. — Мне всегда казалось, что он человек из литературы.

Каждое свое выражение Каяк дополнительно разъяснял:

— Я думал, что Аккра выдумали пропагандисты и писатели.

Я удивленно посмотрел на него.

— Мне просто невозможно поверить и понять, как это один человек владел целым островом и мог говорить о земле: это мое! Это так же глупо и смешно, как если бы я встал и сказал: мое солнце, мое море, мое небо, мой воздух... Научная фантастика!

Мы с Владимиром Туккаем вышли к вездеходу.

— Вам нравится здесь? — спросил он меня.

— Очень! — искренне ответил я ему. — Было бы время, остался здесь подольше.

— Здесь хорошо, — после некоторого раздумья произнес Туккай. — Просторно и чисто... Мне нравится такая жизнь и эта земля. Прислали бы хорошие машины, да почаще бы прилетал вертолет...

— А как же сменный выпас, новые жилища для оленеводов, переход на оседлость? — спросил я его.

— Знаете, вот приезжает из округа или из области и даже района человек, который работает в учреждении, ведающем оленеводством. Так уж получилось, что они в основном люди, которые родились в городах или в далеких от Чукотки местах... Ну, к примеру, главный ветеринар нашего района — бурят. Он хороший человек, но не понимает всей глубины нашей жизни, как бы этого ему ни хотелось. Я думаю, что морским охотником или оленеводом надо родиться. Или другие работники Сельхозуправления. Приедут, посмотрят... Морщатся. В яранге дымно, нет канализации и водопровода, да и оленевод все время в стаде, бегает там за оленями, совсем умственно не развивается... И начинают думать... Думали много: пытались таскать за оленьим стадом на тракторных санях жилой деревянный домик, который через неделю разваливался, строили на перевалочных базах что-то вроде домов отдыха и вот, наконец, придумали сменный выпас. Но как можно оторвать меня на неделю или на

месяц от моего стада, от моих оленей? Ведь это я их вырастил, принял в пургу, отогревал своим телом... А потом в этих селах — пьянство, безделье. Делать ведь там нечего! Ничего не строят, все глядят, как бы перевести оленевода или морского охотника в город, в большой поселок... Может быть, я тоже, когда приезжаю в бухту Провидения, в Магадан, Анадырь или в какой-нибудь другой большой город, жалею тамошних жителей, которые обитают в скученности, в очередях, в тесных квартирах, в бензиновой гари от множества автомашин... Вот читаю я: люди уже начинают посматривать назад: а может, в том образе жизни, который нам кажется седой древностью, мы оставили что-то настоящее?.. Лучшая жизнь не привносится извне, а делается на месте. Вот пусть изобретут жилище для оленевода, которое имеет все преимущества яранги и в то же время с удобствами! И вот что я скажу: такие жилища есть, в них живут на дрейфующих станциях... Дорого? Мы купим, у нас есть деньги! А лишить нас того образа жизни, который стал для нас частью нас самих, — это значит разрушить цельность северного человека. Надо позволить самим людям решать, как им надо жить.

Солнце уходило за холмы и горы янракыннотской земли. Приближаясь к земле, оно увеличивалось, багровело. Эта небесная загадка, занимавшая мой ум еще в детские годы и смутно объясненная учителем в Уэлене, до сих пор волновала меня красотой своей, неожиданностью превращения яркого, раскаленного добела светила в желтоватый шар морошки в последние дни северной осени.

Вертолет зарокотал с восточной стороны, с той, где расположен остров Святого Лаврентия.

— Мы иногда видим на охоте вдали байдары американских эскимосов, — сказал Туккай. — Увидеть бы своими глазами, как они живут. Любопытно все-таки, как-никак собратья. Здесь, где так мало людей, родичи в цене. Мой отец рассказывал, как они приезжали к нам во время войны, танцевали и пели наши песни... то есть наши общие песни и танцы...

Вертолет увеличивался в небе, и рокот его нарастал, вызывая из яранги людей.

Погрузившись в тесное чрево машины, мы взмыли в воздух, и снова я прильнул к иллюминатору, любуясь красотой земли, облитой розовыми вечерними лучами садящегося за холмы и горы Азии солнца.

Разворачиваясь на курс в бухту Провидения и в Ново-Чаплино, мы взором задели дымку острова Святого Лаврентия, или, по-эскимосски, острова Сивукак.

5

В Номе, как мне показалось, большинство местных жителей выходцы с острова Святого Лаврентия. Во всяком случае, сивукакцы влиятельная и спаянная и семейными, и земляческими узами община. И даже церковь, к которой они принадлежат — пресвитерианская, — самая вместительная и в архитектурном отношении самая интересная, вобравшая, во всяком случае, в свои внешние очертания нечто от нынлю — древнего эскимосского полуподземного жилища. Это помещение служит, по всей видимости, не только религиозным целям, но и клубом, где и мне довелось выступить на приеме-потлаче, устроенном в мою честь.

Сам обычай совместной трапезы — потлача — своими корнями уходит в далекую древность и по своей сущности представляется мне демократичным: каждый приносит то, что он может принести, — какое-нибудь кушанье, напитки.

Дом, в котором я остановился, стоял у самого моря, на берегу закованного в ледовый панцирь залива Нортон, на той стороне городка, которая в объявлениях о продаже, сдаче и найме называется «айс-вью» — «ледовый вид».

Вез нас на встречу Давид Шайнен, плотный мужчина лет пятидесяти в подбитом ватой драповом пальто, в меховой шапке пирожком. Весь облик Давида Шайнена совершенно не вязался с представлением о миссионере, прожившем бóльшую часть своей жизни в глухих эскимосских и алеутских селах, в трудах и заботах по внедрению слова божьего в неподатливые умы аборигенов Берингова пролива.

Давид Шайнен скорее походил на какого-нибудь заготовителя, командированного окружным управлением сельского хозяйства для оказания призрачной помощи в просчете оленей или в каком-нибудь мероприятии.

Давид Шайнен последние годы занят трудным, но на его взгляд большим и благородным делом: он переводит на чаплинский диалект, на котором говорят и на острове Святого Лаврентия, Библию.

По сравнению с православной пресвитерианская церковь выглядит как сарай. Признаюсь честно, мне еще не приходилось бывать в таком скромном по своему убранству храме. Мало того, в задней половине храма располагалась самая обыкновенная кухня с плитой, мойкой и холодильником, возле которых хлопотали женщины.

Здесь я увидел своих знакомых — Тимоти Галяргыргына, Дженни Алова, мэра города Нома Расмуссена с женой, школьных учителей. Больше всего было жителей острова Святого Лаврентия. Они и устроили главное действо вечера — исполнили песни и танцы почти в точности такие же, какие я видел уже на острове Аракамчечен, в Ново-Чаплине и в Сирениках.

В тот же вечер мы прошлись с друзьями по знаменитым кабакам Нома. Они протянулись по главной улице в ряд, перемежаясь с церквами, которых в этом знаменитом городе Аляски приблизительно столько же, сколько и питейных заведений: девять на девять.

В этот поздний час в дымных, полутемных залах уже было полно, и большинство составляли эскимосы. В Номе их около семидесяти процентов от общего числа жителей: около трех тысяч человек населения.

— Здесь много моих земляков, — заметила Дженни Алова. — Они приезжают с острова Святого Лаврентия, где запрещено пить, и здесь отводят душу. Пропивают все деньги, иногда попадают в полицию, обмораживаются... Придут в себя — и уезжают на остров.

— А давно на острове не пьют? — спросил я Дженни.

— Вот уже около трех лет.

Дженни Алова — уроженка второго эскимосского селения на острове — Сивунги.

Ее родичи живут не только на острове, но и на материке, в Номе, и, подозреваю, на азиатском берегу Берингова пролива, в селах Ново-Чаплино, Сиреники, а возможно, даже и в глубинной тундре. Дело в том, что имена некоторых дядей Дженни — чукотские: Галягыргын, Валяна, Ванкытыльын. Они означают — Переходящий, Нож, Имеющий клыки...

Закончив школу, Дженни вернулась на остров и принялась обучать своих маленьких земляков родному языку и грамоте. Пособиями ей служили советские книги, составленные русской учительницей Екатериной Семеновной Рубцовой и изданные в Ленинграде. Это было время, когда преподаватели, посылаемые Бюро по делам индей-

цев, снабжались строгими инструкциями о том, чтобы максимально способствовать языковой ассимиляции эскимосов. Дженни рассказывала мне, как в годы ее учения в школе учителя физически наказывали детишек, если они забывались и заговаривали на родном языке. И все же община острова Святого Лаврентия добилась разрешения изучать родной язык в школе. Через некоторое время в селение Гамбелл прилетел высокопоставленный инспектор Бюро по делам индейцев. Он заметил, что Дженни Алова не имеет диплома преподавателя и по этой причине не имеет права обучать детей в школе, финансируемой правительством...

На большом семейном совете, на который собрались многочисленные родичи Дженни, слово взял дядя Даниэль. Он давно потерял зрение, но почитался самым мудрым среди близких родственников.

— Пусть Дженни кончает университет, — сказал дядя Даниэль. — Мы ей поможем. Я буду посылать ей часть своей пенсии, брошу курить...

Дженни поступила в Гарвардский университет и блестяще закончила его. Она улетала домой с мечтой об открытии специальных классов, где обучение шло бы на родном языке. Однако все места в школе Гамбелла оказались занятыми. Она ждала год, второй. Ей предложили место инспектора в Номе. Здесь она работает уже несколько лет. Вышла замуж за директора медицинской службы Уильяма Данна, построила с помощью родственников дом на айс-вью...

Накануне вылета на остров, на приеме в честь приехавшего в Ном сенатора Тэда Стивенса, меня познакомили с владелицей авиакомпании Джой Галлахер, привлекательной женщиной средних лет. Авиакомпания называется «Манц-эрлайнз».

День выдался ясный и морозный, каким и подобает быть февральскому дню в этом районе Берингова пролива.

Ритуал вылета включал в себя и завтрак в доме владельцев авиакомпании, чаепитие у самовара, и уже затем — выезд в аэропорт, где нас ждал небольшой лыжноколесный самолет «Сессна».

Ном с высоты птичьего полета — а это высота полета двухмоторной «Сессны» — выглядел еще меньше. Всего одна более или менее приличная улица, ряды одноэтаж-

ных домиков — и дальше уже белая гладь покрытого льдом залива Нортон и сияющий простор Берингова моря.

Пилот Гэл Грэхэм часто оборачивается, улыбается и как бы приглашает разделить восторг от этого сверкающего великолепия. Остров Святого Лаврентия от Американского материка отстоит раза в два дальше, чем от Азии. Здесь, на Аляске, пространство нашей страны от Урала до Берингова пролива принято называть одним словом — Сибирь. И советские эскимосы, которые в советской научной литературе называются «азиатскими», здесь зовутся — «сибирскими».

— Сибирь! — воскликнул Гэл, показывая рукой вперед.

— А где же остров Святого Лаврентия? — удивился я.

— А мы его оставили чуть слева... Я хотел показать вам вашу родину, — сказал Гэл, крепко держа штурвал. На коленях у него была разостлана маршрутная карта.

Берега Советского Союза отсюда, совсем с другой стороны, необычной и неожиданной, выглядели величественно и красиво. Я отчетливо видел мыс Столетия и даже вход в бухту Провидения.

Самолет круто развернулся и лег на обратный курс.

Я вопросительно посмотрел на летчика. Он показал глазами на лежащую на коленях карту. «В случае проникновения в воздушное пространство Советского Союза вы можете быть сбиты без предупреждения», — прочитал я на карте.

Теперь впереди был остров Святого Лаврентия и россыпь домиков у подножия прибрежного холма, от которого и шла посадочная полоса.

От домов к краю посадочной полосы, ясно выделявшейся на белом снежном пространстве, мчались на снегоходах встречающие.

Когда я первым выбрался из самолета, ко мне подбежал мужчина с темно-рыжими заиндевелыми усами и, обнимая меня, возбужденно сказал:

— А мы уже испугались, что вы прямым ходом полетели к себе домой!

Один за другим к самолету подъезжали снегоходы.

— Меня зовут Марвин Валянга, — отрекомендовался усатый. — Я — мэр селения Гамбелл, или по-эскимосски Сивукак. Добро пожаловать к нам! Вы — первый гость с той, близкой нам стороны за последние тридцать с лишним лет! Мы рады и взволнованы.

Ледяной ветер мешал громко произносить слова, и Валянга отмахнулся:

— Ладно с речами! Идемте в машину. Вы будете жить у моего родича Джеральда Куннукая. У него хороший дом, поставленный в позапрошлом году.

Машина мэра Гамбелла представляла собой тот же самый снегоход, но с самодельной, крытой кабиной для защиты от ветра. Бросив на прицепную нарту наш багаж, мы двинулись от посадочной полосы, прыгая по застругам и сугробам.

Марвин медленно вел снегоход и не переставал говорить:

— Здешние люди ждут вас с нетерпением! Особенно старики. У нас ведь многие ездили к вам, у иных там остались родичи.

Селение Гамбелл, получившее имя от известного миссионера, прожившего всю свою жизнь на острове и основавшего здесь первую пресвитерианскую церковь, первую школу, за последние годы как бы разделилось на две части. Бо́льшую его часть составляют старые, похожие на яранги жилища, внутри которых сохранились подобия пологов. Меньшая часть — новые дома, построенные в большинстве своем при содействии Бюро по делам индейцев или же состоятельными жителями острова.

Возле одного из новых домов, окруженного затвердевшим сугробом, Марвин Валянга и остановил свой снегоход.

— Вот дом Куннукая. Здесь вы и будете жить.

Дом по островным масштабам очень просторный: большая гостиная в американском стиле, переходящая в просторную кухню-столовую, оборудованную автоматической плитой, питаемой жидким топливом: есть и мойка, и холодильник. Мойка не работала ввиду отсутствия водопровода и канализации. В глубине коридора — дверь в спальню, ванная комната, используемая в качестве кладовки, туалет, оборудованный каким-то сложным приспособлением биологической утилизации, которого я так и не понял. На втором этаже была готова только одна комната, которую и предоставили мне.

Как же теперь живут эскимосы Сивукака? Что у них осталось от прежней жизни морских охотников Берингова пролива, отважных китобоев, добытчиков моржей и других морских зверей?

За несколько дней до приезда на остров я посетил в

номской больнице старейшего жителя острова Линкольна Бласси. Ему уже восемьдесят четыре года. Он рассказал мне:

— Я родился в обыкновенном эскимосском жилище, сколоченном из плавника в виде пятиугольника и покрытом моржовыми шкурами. Примерно на расстоянии одной мили от нашего селения стоит гора, у которой мы ловили птиц с помощью огромных сетей, натягиваемых на шесты длиной до четырнадцати футов. Мясо этих птиц мы ели, а снятую целиком шкурку использовали для шитья верхней зимней одежды. Женщины собирали зелень и коренья на склонах горы. Ребятишки играли на морском берегу, ловили рыбу острогой.

Наша жизнь в старое время строго подчинялась ритму смен времен года. В августе тундровая зелень уже желтела. Подрастали детишки птиц топорков, и они были так жирны, что их можно было ловить руками. Заготавливали впрок птичье мясо, а женщины собирали ягоды, коренья и складывали в особые деревянные сосуды на зиму. Мужчины уходили примерно на милю от берега на плоскодонных байдарах, обтянутых моржовой кожей, и ловили рыбу. Часть рыбы сушилась впрок, часть поедалась тут же. В детстве я видел, как шхуна «Медведь» привезла с Азиатского материка десятка два живых оленей. Вместе с оленями приехали и чукчи, а позднее, примерно в девятисотых годах, к ним присоединилась семья лапландцев.

В сентябре в хорошую погоду мужчины продолжали рыбную ловлю. Шла охота на одиночных тюленей, которые приплывали к острову вместе с восточным ветром. В это же время начинались занятия в школе. Моими первыми учителями были господин и госпожа Гамбеллы. По воскресеньям они произносили проповеди, разъясняя нам учение нового, тогда еще малознакомого бога.

В октябре уже начинались ветреные дни. В штормовые часы на берег выбрасывало дары моря — дохлых моржей, тюленей, а бывало, и кита...

Лед приходил уже в ноябре, ветер менял свое направление с восточного на юго-восточный, даже в зимнее время это часто приносило туманы, оттепели... На льдинах с северной стороны приплывали моржи, больше моржихи с детенышами.

В декабре надо было поторапливаться с охотой, пока не было так много снега и передвижение по льду не так тяжело. С приходом трудного времени люди начинали

более заботиться о своем благополучии, беспечность летних, светлых легких дней уступала место глубоким размышлениям. Мы много молились своим старым богам, приносили им жертвы, и делали это по возможности тайком от мистера Гамбелла, которому все это не очень нравилось. Вместе с молитвами мы пели свои старинные песни. В те годы прийти с бубном в церковь было страшным грехом и святотатством как перед нашими, так и перед богами белого человека. Особенно я любил моления перед птичьими богами, они были веселыми, интересными: целые гирлянды птичьих богов развешивались в яранге.

Мы праздновали христианское рождество, которое нам тоже очень нравилось, так как мы, школьники, получали подарки.

В январе трудно было с охотой: ветры, пурги, снежные ураганы. Поэтому многие мужчины предпочитали не уходить далеко от селения и ловили рыбу. Леска делалась из тонко нарезанного китового уса, и к ней никогда не примерзала вода.

В феврале мы молились лунному богу. Во время жертвоприношения этому богу мой отец разбрасывал на снегу перед молодой луной куски вяленого мяса, рыбы, клал кусочки жевательного табака. Считалось, что боги — и лунный, и птичий, и разные другие — почему-то очень любили табак, и ни одно жертвоприношение не обходилось без этого. Однако главным считалось принести богу в жертву кусочки китовой кожи с салом — мантак. Приближалась охота на кита, и заручиться помощью богов было не лишним.

Приготовление к китовой охоте перемежалось с молениями и продолжалось до самого апреля, до начала главного дела островных охотников — охоты на кита.

В апреле охотничьи байдары снимались с подставок и ставились на лед. Теперь больше пользуются манильским тросом для китового гарпуна, но в мое время лучшим был ремень из моржовой кожи.

Когда удавалось загарпунить кита и отбуксировать к берегу — вот тогда было весело в Сивукаке! Хозяин байдары получал большую часть добычи, а тот, кто загарпунил кита, делил китовый ус по своему усмотрению. К нашему острову приходили китобойные суда белых и покупали китовый ус за патоку, муку, хлеб, ружья, гарпунные

пушки. Наши женщины продавали сшитые за зиму торбаса.

В мае начиналась моржовая охота. Моржа было столько, что выбирали тех, чья шкура годилась на покрышку яранги или на новую байдару.

А в июне подрастали молодые тюлени с мягкой, шелковистой шерстью, из которых потом шились лучшие зимние теплые штаны. Как раз в это время приезжали к нам гости с сибирской стороны — женщины и мужчины. Мы были рады им, потому что они привозили сшитые из оленьих шкур кухлянки и штаны. Они их обменивали на моржовые кожи и ремни. Гости находили здесь своих друзей и родичей. Мы состязались в беге и в борьбе. Конечно, мы каждый раз их побеждали. А затем мы устраивали пиршество и долго слушали новости об их жизни.

Каждый вечер мы заканчивали песнями и танцами. Сначала пели гамбельцы, а потом сибиряки. Гости оставались на несколько дней, а когда они уезжали, наши байдары сопровождали их... И, в свою очередь, оставались там. В тихую погоду приходилось пользоваться веслами, а когда был ветер — плыли под парусами. Первую остановку делали на мысе Чаплин, который по-эскимосски назывался Уназик. Это всего лишь около сорока миль от нашего Гамбелла.

И в этот месяц мы не забывали приносить жертвы богам. Собирались вместе все родственники и шли на место жертвоприношения, не очень далеко от селения. Старики молились и говорили нам, что делать: мы разбрасывали сушеное мясо, ласты детенышей морских зверей, мантак и табак. Специально для этого времени кормчий китобойной байдары сохранял кусок хвостового плавника. Мы зажигали огромный костер и звали своих предков, чтобы они провели время с нами, посмотрели на своих внуков и правнуков. Для этого мы бросали куски жертвоприношений в огонь, где находились души умерших предков.

Это было в годы моего детства, и в бытность мою молодым человеком очень многое уже начало меняться. Так что ты увидишь остров Святого Лаврентия совсем не таким, как я рассказал тебе. Я остался еще в этом мире только для того, чтобы рассказывать о прошлом и предостерегать людей: помните, кто вы, и не забывайте свое прошлое. Не все в нем так плохо, как иногда говорят некоторые...

Старик Бласси покосился на миссионера, который во время беседы молча сидел на стуле в углу палаты, возле окна, и время от времени зевал от скуки.

— А как же вы, мистер Линкольн, так много жертвовали своим богам и почти ничего тому, к которому вас привел мистер Гамбелл? — спросил я.

— Да тот бог в нашем охотничьем деле ничего не смыслил, — с явно богохульной улыбкой ответил Линкольн Бласси. — Сейчас, правда, на нашем острове уже три церкви: кроме пресвитерианской появились храм адвентистов седьмого дня и молельный дом бахай-веры... Однако, когда готовимся к китовой охоте, молимся своим богам.

6

В доме Джеральда Куннукая, моего хозяина в Гамбелле, не было ничего такого, что бы указывало на религиозность хозяина. Джеральд прежде всего — деловой человек, владелец лавки, продавец и покупатель изделий местных мастеров.

У него трое мальчишек: двое школьников, а один — по имени Атаяхак — пока еще играет со щенятами и является самым шумным жителем этого дома. В доме еще живет племянница хозяйки и приехавшая погостить из соседнего села Сивунги мать Джеральда.

Я намеревался пробыть в Гамбелле не больше двух суток, но неожиданная пурга прибавила мне еще пару дней.

В доме раньше всех подымался хозяин и уходил на пробежку в спортивный зал новой школы: он катастрофически полнел и по совету врача из Нома занимался спортом.

— Мы рождены для движения и изнурительного труда, — жалобно говорил Джеральд за завтраком, густо намазывая маслом и джемом блин. — Чуть стоит расслабиться, как тут же начинает расти жир.

И верно: жирные складки на теле эскимосского торговца хорошо подчеркивались облегающим спортивным костюмом.

После завтрака детишки уходили в школу, а я отправлялся с визитами по домам и хижинам Сивукака-Гамбелла, встречался со старыми и молодыми его жителями, заходил в школу, в медицинский пункт, в церковь

и в обе лавки, одна из которых принадлежала моему хозяину, а другая — общине.

Впервые в жизни мне довелось наяву видеть так называемое имущественное расслоение у северян. Примерно такое же начинало складываться и в моем родном Уэлене перед революцией, и отголоски этого мне довелось наблюдать еще в годы моего детства. Люди хорошо помнили, кому принадлежал тот или иной колхозный вельбот, байдара, гарпунная пушка. Правда, лавочники еще не успели народиться, но уже были такие, кто ссужал и деньги, и товары, приторговывал в свободное от охоты время.

Здесь, в Гамбелле, точно так же, как и на других островах американской стороны Берингова пролива, все это видно невооруженным глазом.

Как я уже отметил, селение делится на новую и старую часть. И это разделение идет строго по линии благосостояния: богатые живут в новой части селения, бедные — в старой.

Я уже описал, как выглядит изнутри и снаружи дом состоятельного жителя острова Святого Лаврентия, а вот как живут те, у которых нет вельботов, лавок и паев в кооперативной лавке, мне довелось узнать на второй день пребывания на острове.

Это попросту нищие домишки, часто без отопления. Источником тепла служат мощные керосиновые лампы. Дома эти не имеют ни электричества, ни, разумеется, водопровода. Это те самые дома, которые описал мне в своем рассказе Линкольн Бласси: построенные из плавника, из старых досок, обрезков картона, жести. Внутри — полумрак, застоялый запах старого тюленьего жира, прокисшего моржового мяса, грязь и запустение.

Старый Кемпбелл Маскын живет в таком доме. Над сугробом, наметенным последней пургой, торчала лишь крыша с обгорелой железной трубой, а сбоку в снегу было отрыто отверстие для доступа света в крохотное подслеповатое оконце. Мне пришлось сначала скатиться по уходящему вниз снежному туннелю, чтобы добраться до входной двери.

Ярким пламенем горела керосиновая лампа. Старик поймал мой взгляд и сердито сказал:

— Электричество дорого! Надо платить шестьдесят долларов в месяц. Доллары в море не загарпунишь!

Маскын сохранил в памяти чукотский язык. Свою английскую речь он пересыпает чукотскими выражениями,

особенно когда речь заходит о его путешествиях на азиатский берег Берингова пролива.

— Много у меня было друзей на вашем берегу. Я застал время, когда многое круто изменилось в жизни эскимосов вашего берега. О чем смутно мечталось, вдруг стало возможным, и самое удивительное было то, что за дело взялись молодые люди, а не умудренные опытом старики. У меня в памяти их имена — Матлю, Ухсима, Уйгак, Тынэна, Каля... Раз мы приехали в Уназик поздней осенью. Уже начиналась штормовая погода. Но в это время как раз вылегали моржи на лежбище. Вышли мы на берег, разошлись, как водилось, по своим родичам и знакомым и вдруг услышали новость: кино будут показывать! Тогда это было в диковинку. Это нынче повернул ручку телевизора — и гляди себе в мир. А тогда... Только понаслышке знали, что у лялюрамкынов есть такие белые полотнища, которые вешают на стены, и по ним бегают живые люди, носятся верхом на больших собаках — на лошадях, значит... Ну, оживились мы, заинтересовались. А в то время так и было: как ни приедешь в Уназик — всегда что-нибудь новое услышишь, узнаешь, увидишь. То новую школу построили, то лавку открыли с такими ценами, что боязно было покупать: а вдруг догонят и отберут обратно купленное задешево. А когда мы узнали, что в школе на нашем языке учат грамоте, — набились в класс, пока учитель не попросил нас выйти: мешали мы ему. А так чудно́ было увидеть начертанными свои слова, имена, наш вольный разговор...

— Дедушка, — напомнила внучка Масына, — ты хотел про кино рассказать.

— Да, да,— спохватился старик. — Собрались мы в школе. Две машинки стоят: одна высоко, другая пониже. Каля глядит на стену, на которой и впрямь висит белая ткань. Подошел я, не утерпел, потрогал — ну точь-в-точь как на моей камлейке, только поновее и почище. Засомневался, а тут Матлю снимает кухлянку, будто бороться собрался. Но вместо того, чтобы кинуть клич, уселся на длинную скамью возле одной из машин и принялся ее крутить. Зажужжала машина, и вспыхнул длинный луч. Я заметил, что от машинки, которую крутил Матлю, к другой шли тонкие кишочки, наподобие сушеных нерпичьих. Потушили свет, и, на удивление всем, на белом полотнище и впрямь запрыгали живые люди. Многие закричали от изумления, но страха не было.

Тогдашнее кино было без звука. Человек на экране еще не умел разговаривать, поэтому Матлю приходилось все объяснять. И когда появился один человек, небольшой, но чем-то неуловимым отличный от всех других, Матлю сказал, что это Ленин. Мы много слышали о нем, но видели живым впервые. Лицо простое, да и весь такой обыкновенный. Я придвинулся к Матлю и спрашиваю: вправду ли это Ленин, может учитель ошибся? А Матлю и говорит: он вождь простых людей и поэтому сам такой простой.

Долго мы смотрели это кино.

И я тогда думал вот о чем. За свою жизнь я видел многих лялюрамкынов. Разные это были люди. Были среди них и великие путешественники — как Амундсен, Кук и наш великий родич Расмуссен, который перенял обычай лялюрамкынов бродить по земле. Были и военные люди, замкнутые и озабоченные. Да и, думаю, другим не должен быть человек, чье назначение убивать людей. Самыми многочисленными были торговые люди. И даже среди них были разные люди. Вот, скажем, знаменитый Олаф Свенсон. Он понимал, что на водке и виски хороших отношений с эскимосом и чукчей не установишь. Поэтому он привозил на своих кораблях нужные нам вещи: ружья, патроны, ткань на паруса, дерево для лодок... А иные торговцы были просто хищники. О тех даже и говорить неохота. И еще — китобойцы. Сущие разбойники! Голодные до женщин и вечно пьяные и грязные. Были вежливые и тихие чиновники правительственных учреждений, были миссионеры, которые хвалили своего бога, склоняли нас в свою веру и объявляли все, чему мы всю жизнь верили и чем жили, неверным. Сулили нам хорошую жизнь на небесах. Были ученые, которые выспрашивали про наши обычаи, изучали наш язык и копали нашу землю... Много их было, этих лялюрамкынов. Но никто, ни один человек из них не спросил нас: как вам помочь, чтобы вы жили так, как живут люди нашего времени? Чтобы не мерли детишки при рождении, чтобы от кашля не сгибался человек, чтобы с голоду не гибли целыми семьями. Мы ведь тогда знали и про грамоту, и про докторов, которые лечили куда лучше наших шаманов... Но, похоже, лялюрамкынам не было никакого дела до нас... И вдруг мы видим такое: и школы строят, и доктора приехали. У людей появилась надежда. И надежда на лучшую жизнь не на небесах, а вот здесь, на этой земле, где

ты родился, где ты чувствуешь себя настоящим человеком.

И тогда я спросил Матлю: почему Ленин не пошлет нам учителей и не построит школу и на нашем острове? Оказалось, что и Матлю, и Каля, и Ашкамакин уже думали об этом, но наш остров, как выяснилось, в другом государстве — Юнайтед Стейтс! Вот так! Кто нас спрашивал, когда относил к этому государству, — одному богу известно.

Жилище Самюэля Иргу мало чем отличалось от жалкого домика Маскына, но все же здесь горела электрическая лампочка.

— Ты, значит, оттуда? — сказал Самюэль вместо приветствия. — Слышал. Я тоже бывал на вашем берегу, в четырнадцатом году вместе с предпринимателем Шелтоном Джексоном мы перевозили оленей на остров. Хотели создать хорошее оленеводческое хозяйство, да не получилось... Олени сейчас есть на острове, в Сивунге, но немного...

Жена Иргу, Уви, угощает меня мороженым моржовым мясом.

— Я тоже ездила в Уназик, — вспоминает Уви.

— А ты расскажи, как ты рассердила нашего миссионера Гамбелла, — напомнил старик.

— Так и быть, расскажу... Тогда была молодая, смелая, у меня был громкий голос, далеко слышный. Насмотрелись мы новшеств на вашем берегу, приехали обратно, а тут Гамбелл спустился на берег и зовет нас в церковь молиться богу. Мы мало верили в бога, не то что теперь, — замечает Уви между прочим. — Пришли. Поем псалмы, а я все вспоминаю, как гостили, как пели наши песни под бубен в новой школе, как учились нашей грамоте, как смотрели кино про Ленина...

Встала я в церкви и спрашиваю громким голосом преподобного Гамбелла: почему у нас нет такого человека, как Ленин?

Не понял проповедник поначалу, о ком речь, а как дошло до него — рассвирепел. И такое наговорил про большевиков, что, если бы мы своими глазами не видели правду, ни за что больше не поехали бы на ваш берег.

— Я еще много ездила на ваш берег, — тихо продолжала Уви. — Меня совсем юной взял в жены Самюэль, который тогда еще не имел христианского имени и звался просто Иргу. А родом я с Курупкинской тундры, из

окрестностей озера Аччен. Вот слушай, что я еще помню. Эту песню пела мне мать, в яранге у речки.

Заснула трава и красная морошка,
Заснул баклан и даже рыбка подо льдом.
Заснул олень... И лишь сова не спит.
И ты не спишь, совой глядишь вокруг,
Засни, малыш, усни,
Солнце утром ждет тебя,
Чтобы проснуться вместе с тобой...

Это была колыбельная-импровизация, такая распространенная в нашем народе. В глубинах моей памяти сохранились обрывки этих детских песенок, и Уви напомнила мне материнский голос, ярангу и ослепительное утро, которое, казалось, и впрямь только и ждало твоего пробуждения.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ОСТРОВА В ПРОЛИВЕ *(ПРОДОЛЖЕНИЕ)*

Поэт Владимир Тынэскын читал мне свои стихи в подмосковном поселке Малеевка. Мы шли по мокрому, только что выпавшему снегу, и за нами оставался черный, наполненный влагой след. И вдруг среди деревьев нам открылось заснеженное, в черных берегах озеро. Оно было прекрасно, несмотря на мрачную промозглую погоду, на липкий, как-то по-особому неприятный, холодный снег, порывистый ветер, который дул отовсюду, поминутно меняя направление.

— Смотри, какая красота, — сказал я поэту.

Тынэскын быстро глянул на озеро и вздохнул.

— Настоящая красота — там, — он неопределенно махнул рукой, но я мысленно проследил за направлением его жеста.

Он показывал в сторону далекого острова Врангеля, той невидимой земли, которая является родиной и самой прекрасной землей на всей планете, во всей Вселенной не только для Тынэскына, но и для его немногочисленных земляков, ибо остров Врангеля, несмотря на его относительную отдаленность от Берингова пролива, принадлежит к островам этого района. До начала двадцатых годов

остров был необитаем. Точнее, на нем не было постоянного поселения, хотя его время от времени посещали чукчи, а еще раньше морские охотники — эскимосы. Молодой эскимосский археолог Тасьян несколько лет назад нашел остатки жилищ, которые датируются тысячелетиями...

Владимир Тынэскын не только поэт. Он еще и оленевод, и пока что это занятие он считает в своей жизни главным, хотя пишет много, часто печатается и на своем родном чукотском, и на русском языках.

Он смотрел на замерзающее подмосковное озеро и рассказывал мне об острове, о его просторах, горах и тундрах, на которых по весне гнездятся редкие птицы и среди них знаменитый красавец — канадский белый гусь.

Слушая Тынэскына, я вспоминал свое путешествие на остров Врангеля в начале пятьдесят девятого года.

Историки, исследовавшие эту часть земного шара, утверждают, что первым наличие земли к северу от чукотского селения Рыркайпий предсказал Гаврила Сарычев, являвшийся одним из руководителей русской экспедиции. Потом его догадку подтвердили другие русские путешественники — Фердинанд Врангель и Федор Матюшкин, лицейский друг Пушкина. Название острову дал американский китобой-мореплаватель Т. Лонг, увидевший своими глазами загадочный остров летом 1867 года. Потом остров стали посещать разного рода путешественники: сначала летом 1881 года на него высадились люди с американского таможенного судна «Корвин», и в том же году остров посетило другое американское судно «Роджерс», давшее имя одной из бухт острова.

Уже в начале двадцатого века остров посетило русское гидрографическое судно «Вайгач». Долгие годы после этого остров посещался эпизодически разными полярными экспедициями, однако постоянного поселения не имел, несмотря на то что там располагалось крупнейшее лежбище моржей у мыса Блоссом, огромнейшее гнездовище белого канадского гуся в тундре Академии и водилось много пушных зверей. Для оленеводства остров был просто раем — богатейшие пастбища, отсутствие гнуса, и овода, и волков.

Вдобавок к этому остров довольно велик среди своих арктических собратьев.

Все это наводило всех путешественников, которым доводилось хотя бы ненадолго бывать на этом острове, на мысль о его заселении и колонизации.

Такую мысль о заселении острова лелеял и знаменитый полярный исследователь, автор нашумевшей в свое время книги «Гостеприимная Арктика» Вильялмур Стефансон.

В начале двадцатых годов, надеясь на то, что обескровленная гражданской войной и разрухой Советская республика просто не обратит внимание на это, Вильялмур Стефансон на деньги канадского правительства снарядил экспедицию на остров и поднял на нем английский флаг, объявив эту землю владением британской короны.

Однако Стефансон напрасно рассчитывал на безнаказанность: Советское правительство немедленно откликнулось на эту захватническую акцию дипломатическими нотами, подтверждающими право Советского государства на полярные владения, и в 1924 году направило на остров канонерскую лодку «Красный Октябрь».

В труднейших условиях канонерская лодка пробилась к острову, сняла с него захватчиков, конфисковав у них всю добытую пушнину.

Буквально на следующий год было решено заселить остров. Выбор пал на жителей крошечного селения в бухте Провидения, на ее южном берегу, — Урилыке. В Урилыке жили самые бедные эскимосы. Они ютились в дырявых хижинах, часто голодали. Что-то случилось в окрестностях — зверь обходил стороной, казалось, привычные тропы. Однако людям трудно было покидать свое, пусть голодное, но родное место.

Трудно было решиться плыть на неизвестную, далекую землю.

И все же эскимосы решились ради своих детей, ради будущего: тем более там, на острове, они рассчитывали вести такой же привычный образ жизни, как и здесь, на берегах бухты Урилык.

Основным местом поселения эскимосов на острове Врангеля стала бухта Роджерса, рядом с основанной в те же годы полярной станцией. Да, остров и впрямь был полон жизни. Люди воспряли духом. В начале сороковых годов на остров завезли оленей: вес уже следующего поколения оленей превышал почти в два раза вес материковых сородичей.

Маленький колхоз процветал, люди жили зажиточно и спокойно, пока не началась пора разного рода укрупнений и реорганизаций. Вдруг перестали строить жилье, в лучшую во всем районе библиотеку перестали привозить

новые книги, а кинофильмы доходили в таком виде, что киносеанс превращался в испытание терпения зрителей.

В то время, когда я прибыл на остров, тамошнее хозяйство считалось отделением одного из старейших чукотских колхозов «Пионер», центральная усадьба которого находилась в селе Рыркайпий на мысе Шмидта.

Самолет поднялся в момент короткого рассвета с материковой посадочной площадки и круто взял курс в открытое море, в освещенные розовой зарей торосы. Заря потухла, так и не превратившись в день, и в бухте Сомнительной мы садились уже в густых синих сумерках полярной ночи, в тишине, которая не менее прекрасна и величественна, чем сама природа Арктики.

На наше счастье, в бухту Роджерса, в поселок Ушаковский, отправлялся трактор с прицепными санями. Мы быстро перебрались на сани, угнездились в спальные мешки, что было не лишним. Едва мы отъехали от бухты Сомнительной, как задул ветер и вместе с пургой и метелью, поднимаемой гусеницами впереди идущего трактора, доставил нам немало мучений за те несколько часов, пока мы добирались до бухты Роджерса.

Остановились мы в больнице, в которой не было ни одного больного. Последнего пациента, роженицу, недавно отправили самолетом. Я поместился в комнатке рядом с операционной, благо там круглосуточно горела электрическая лампочка, при свете которой можно было без помех работать.

Поселок состоял из новеньких домиков, поставленных года полтора назад и уже потемневших от ураганных ветров со снегом, действующим на деревянные срубы как прекрасная полировальная бумага. Отчетливо выявлялась фактура дерева, и строение бревна просматривалось в глубину, создавалось впечатление, что на острове Врангеля строят из дорогих сортов древесины.

Ранним утром во время завтрака с сугроба, окружавшего кают-компанию полярной станции, к нам спустился на лыжах знаменитый пастух Тымкылын. Его усы, брови и редкая борода заиндевели.

— Рапыныл? — поздоровался он словами, означающими: «Какие новости?», и уселся с нами пить чай.

— Здешний олень, — рассказывал Тымкылын, — не олень, а драгоценный дар природы. Так бы я сказал. Он умный, спокойный, упитанный и доставляет пастуху радость.

Тымкылын тогда один пас еще немногочисленное в ту пору оленье стадо острова. Сами по себе олени не нуждались в охране: на острове нет хищников. Летом холодные ветры Ледовитого океана не дают гнусу и оводу одолеть довольно широкий пролив Лонга. Забота оленевода состояла в том, чтобы время от времени направлять стадо на новое пастбище.

— Весной, когда телятся важенки, отбиваю их от остальной части стада и перегоняю в защищенные от ветров долины, — продолжал Тымкылын.

Но даже в благополучных случаях труд оленевода далек от идиллической пастушеской картины. Это тяжелая, изнурительная работа.

Тымкылын по неделям не появлялся в поселке, днюя и ночуя в открытой тундре, в оленьем стаде. С собой он носил легкую палатку, которую не часто разворачивал.

Иногда к нему в помощники шел эскимос Нанаун. Надо заметить, что эскимосы оленеводством не занимались. Охота на морского зверя — их история, их исконное занятие, источник пищи, благосостояние, гордость, песни, танцы и сказания... А оленеводство...

— Первое время я старался близко к оленям не подходить, — рассказывал Нанаун. — Как посмотрю на огромные рога, так начинаю сомневаться в их миролюбии. Потом понял: олени тоже не доверяют мне. Сторонятся и боятся меня. Так мы и живем: я им не очень доверяю, они — мне. Нет, эскимосу трудно стать оленеводом. Я слышал, наши родичи привезли на остров Святого Лаврентия оленей и позвали чукчей и даже лапландцев пасти их, а сами — не могут... Не знаю почему, но не могут, — вздохнул Нанаун.

Тымкылын и Нанаун одного возраста. И каждый держался своего образа жизни так, как люди стараются быть самими собой.

Я спрашивал их и каждый раз получал один и тот же ответ на вопрос, нравится ли им жить на острове: нравится, и любят они эту землю, и не собираются менять ее на другую.

— Тут места хватит еще многим и многим людям, — сказал Нанаун и добавил: — Не может быть, чтобы до нас тут никто не жил. Не могли люди обойти стороной этот большой кусок земли. Иногда вот сижу на пригорке, когда охраняю оленей, и чудится мне: ходит кто-то по тундре, проносится у горизонта на легкой нарте, ступает

по морскому льду, а иной раз, когда задремлешь вдруг, вздохнет у тебя прямо над ухом, да так громко, что не только тебя, но и оленей напугает.

— Я даже их видел, — вдруг утвердительно кивнул, подтверждая слова Нанауна, Тымкылын. — Ходят...

— Кто? — с удивлением спросил я.

— Предки предков, — ответил Тымкылын. — Не хотел я тебе говорить, но раз речь зашла об этом, так и скажу: может, не они сами, а их души. Легкие, быстрые, всепроникающие и быстро исчезающие, как дым...

И я представил себе — ночь, широкое, в ярких звездах осеннее небо. Огромный остров такому малочисленному населению кажется настоящим материком с большими и малыми реками, озерами, горными хребтами, долинами и морским бесконечным побережьем, по которому можно долго идти и возвращаться, не меняя направления. Земля, которая заселена человеком на твоей памяти и в которой нет твоих корней. Ты словно в чужом жилище, где видны остатки чужого очага, запах чужой еды и слабые отсветы дымов, застрявшие и не выветрившиеся из жердей, поддерживающих шатер. За темнотой полога, в котором не должно быть никого, ты все равно слышишь чужое сонное дыхание, вскрики и стоны... Может быть, это просто ветер, заблудившиеся порывы его в каменных расщелинах, движение текучей воды, шелест пожухлой травы, а тебе чудится шум человечьих шагов, движение душ, чьи обиталища давно уже истлели, превратились в прах и развеялись, унесенные самыми сильными и свирепыми в мире ветрами.

Да, людям нравился остров, и все же было что-то такое... Во всяком случае, приехавших тянуло взглянуть на покинутые берега Урилыка. Иные, приезжая погостить, оставались, благо в бухте Провидения вырос большой морской порт, работы было вдоволь...

И все же остров обживали и любили. Для многих он стал родиной.

В тридцатые годы начальником острова, или, если воспользоваться чужеземной или старой терминологией, губернатором его, стал эскимос Таян. Он учился в ленинградском Институте народов Севера, был образован и не верил или, во всяком случае, старался не верить в духов острова Врангеля...

В начале семидесятых годов, когда человечество вдруг осознало, что живет на крохотной песчинке мироздания,

мчащейся с огромной скоростью в мировом пространстве, и что ценность арктической тундры не меньше, чем Лазурного берега, и что надо охранять и зверей, и птиц, и облик родной земли, заговорили о создании арктического заповедника.

К счастью, к этому времени «покорители Севера», с мощными землеройными машинами, всесокрушающей взрывчаткой, с бурами, оснащенными алмазными коронками, еще не проникли на остров: здесь только начинали проводить геологические изыскания. Правда, несколько раз уже спугивали моржей на мысе Блоссом, на вертолетах прилетали бить палками линяющих гусей в тундре Академии, стреляли белых медведей, избравших береговые торосы для выведения своего потомства, но очарование красоты острова было так велико, что сами нарушители потом мучились укорами совести и старались по мере своих сил и возможностей больше не повторять содеянного.

Во второй половине семидесятых годов остров Врангеля стал первым в мире государственным арктическим заповедником со всеми вытекающими отсюда правами... Получили права охраны звери, птицы, моржи и тюлени, белые медведи и олени, и даже овцебыки, которых завезли сюда с американского острова Нунивак. Вот только не знали, что делать с людьми. Отделение совхоза ликвидировали, часть людей все же взяли работать егерями заповедника, а остальные остались не у дел: охотиться, как известно, в заповеднике не полагается... Хотя, как известно, тысячелетия человек Севера уживался с экологическим окружением Арктики, не нанося ему ущерба... Была великолепная возможность продемонстрировать это на примере острова Врангеля, но почему-то решено было возвратить остров ко временам необитаемости, хотя...

Сначала в газете «Советская Чукотка» появилась коротенькая заметка об окончании полевого сезона археологической экспедиции. Вскользь было сказано о том, что экспедиция обнаружила следы стоянок человека на этом острове.

Спустя некоторое время я встретил молодого археолога Тасьяна. Родом Тасьян из Наукана, что стоял на самом берегу Берингова пролива, и его интерес к истории родичей, населявших берега арктических островов, мысов и других земель, — это подлинный интерес к собственной

истории, не отягощенный разного рода привходящими обстоятельствами — получением ученой степени, опубликованием научной статьи, хотя Тасьян, думаю, относится к этому не совсем безразлично.

У меня было небольшое подозрение, что в газетной заметке речь шла об остатках лагеря американо-канадских колонизаторов острова из экспедиции Вильялмура Стефансона.

— Нет, — сказал Тасьян, — мы нашли стоячки древнего человека, самого что ни на есть нашего предка, который пользовался теми же орудиями труда, что и наши материковые предки на Чукотском полуострове... Так что остров Врангеля — наш остров и принадлежит по полному историческому неоспоримому праву северному человеку.

Я не хочу умалить заслугу Сарычева, Врангеля, Лонга и других европейских и американских мореплавателей, считавших себя открывателями острова Врангеля. И все-таки... Наш предок далеко-далеко до всех этих людей, оснащенных крепкими кораблями, заполненными запасом продовольствия часто на несколько лет, способных без ущерба для своего здоровья зимовать во льдах, на кожаной байдаре, вооруженный гарпуном с костяным наконечником, пересекал пролив Лонга, жил и осваивал землю, историю которой почему-то начинают лишь с момента, когда Сарычев услышал о ней от чукотских охотников на мысе Рыркайпий. Открытие Тасьяна говорит о многом: человек нашей планеты не был дремучим и трусливым дикарем, предпочитающим только теплые края, изнеженное тепло южных морей, легкую, податливую землю и спокойствие мягкого климата. Еще в те далекие времена, когда он только начал познавать окружающий мир, его пытливый ум стремился проникнуть далеко за горизонт. Он понимал, что так называемые трудности окружающей среды закаляют характер, ведут его по пути прогресса. Ведь развитие человека определяется не только разного рода техническими изобретениями, открытием новых видов энергии, но и теми невидимыми глазу приобретениями, которые копятся в душе, в разуме и опыте человека. Идущий вперед, в неизведанное, преодолевающий препятствия, испытывающий лишения, холод и часто голод, но приносящий людям новые знания, новый опыт, — почитался героем.

Конечно, велико разочарование, когда кто-то опере-

жает тебя. Вспомним англичанина Скотта, обнаруживщего норвежский флаг на Южном полюсе, воздвигнутый на вечном льду его более удачливым предшественником Амундсеном, бесконечные споры о приоритете открытия Северного полюса и другие географические свары, в которые часто примешивались отнюдь не географические страсти, особенно когда дело касалось открытия новых земель. В известном романе Жюля Верна «Приключения капитана Гаттераса» путешественники находят на Северном полюсе следы пребывания человека, и их волнует прежде всего вопрос: европейцы это или же эскимосы... Потому что если это эскимосы оставили свои следы, то это ровным счетом ничего не значит, поскольку они не могут явиться открывателями.

Этот географический расизм, общеевропейский патернализм в отношении коренных жителей якобы вновь открытых земель — довольно распространенное явление даже и теперь.

Мне кажется, что превращение острова Врангеля в охраняемый необитаемый остров — это отклонение от его естественного предназначения, которое уготовано ему судьбой и испытано на протяжении старых и новых веков.

Пусть будет и заповедник, и остров, где люди научились бы жить в ладу с природой, используя древний и современный опыт.

Мое давнее путешествие на остров Врангеля имело неожиданное продолжение в Америке.

Я прилетел в Вашингтон из Сан-Франциско, ощутив в многочасовом полете протяженность страны в долготном направлении. Номер был заказан в «Джорджтаун-инн» на Висконсин-авеню, и вместе с ключом от номера портье вручил мне письмо, в котором извещалось, что миссис Эвелин Стефансон устраивает прием и приглашает меня присутствовать на нем. В письме был указан адрес, время и день приема.

Это было недалеко от гостиницы «Джорджтаун-инн», и до дома я добирался пешком, удивляясь по дороге совершенно не американской архитектуре этой части столицы Соединенных Штатов Америки. Квартал скорее напоминал загородные постройки в два, редко в три этажа. Только что выпал снег, и в тишине вдруг я услышал голос.

Это была сама хозяйка, которая звала меня с высокого крыльца.

Великий покоритель арктических просторов, считавший себя не без некоторого основания другом эскимосов, Вильялмур Стефансон присутствовал в доме в бронзовом облике — бюст стоял на небольшом столике на первом этаже у гардероба в мирном соседстве с бюстом теперешнего мужа Эвелин, известного историка Нефа. Он изображал молодого, худощавого, энергичного человека рядом со стариком Нефом. Странная была композиция. Конечно, это был дом Вильялмура Стефансона, полный его фотографий, предметов полярного снаряжения и многочисленных изданий его книг на самых разных языках народов мира, кроме... эскимосского. Особенно много было экземпляров его нашумевшей в свое время книги «Гостеприимная Арктика», в которой Вильялмур Стефансон, опираясь на опыт своих многочисленных полярных путешествий, и в особенности на опыт жизни коренных жителей Арктики, доказывал, что эта часть земли не менее пригодна для жизни человека, нежели другие ее части. Доказательством, самым убедительным, служили в его книге эскимосы. Помню, как еще в школе я читал книгу Амундсена, где великий норвежец пытался спорить со Стефансоном.

Эвелин Стефансон бережно хранит все, что связано с деятельностью ее знаменитого первого мужа. Она, не без основания, хочет, чтобы память о Вильялмуре Стефансоне была жива, чтобы его имя интересовало современников.

— В жизни моего мужа была одна роковая ошибка, — призналась Эвелин, подведя меня к окну, где за большими стеклами, начинающимися на уровне пола, искусно подсвеченная, сияла и переливалась удивительными красками большая картина-фреска Марка Шагала, друга дома, нарисованная прямо на кирпичной ограде небольшого садика.— Ошибка эта — провозглашение острова Врангеля владением британской короны... Его ввели в заблуждение разного рода авантюристы, которые окружали его. Да и деньги нужны были для снаряжения экспедиции... Вы бывали на острове Врангеля?

Я кивнул и рассказал о том, как выглядит остров, что за люди там живут...

— У Вильялмура было какое-то болезненное пристрастие к этому острову, — произнесла миссис Эвелин. — Он мог часами рассказывать о нем, о его берегах, моржовых лежбищах, белых медведях, удивительных полярных сия-

ниях, ярких, долгих и переливчатых, каких, как он говорил, нет нигде в другом месте Арктики... И он вселил в мою душу мечту об этом острове. Я уже стара, а мечта до сих пор жива в моем сердце, и мне кажется, что я буду жить до тех пор, пока она не осуществится... Скажите, будет это когда-нибудь возможно? — спросила напрямик миссис Эвелин.

Я пожал плечами. Я бы мог, конечно, произнести знаменитое и универсальное чукотское слово «ко-о», что означает «не знаю», «кто знает», «возможно»...

— Все зависит от того, каковы будут отношения между нашими странами, — ответил я, исправляя свою невежливость.

— Только бы не было войны, — вздохнула Эвелин. — Арктика, несмотря на свою суровость, еще чиста, невинна и беззащитна, как девушка...

Я уходил из гостеприимного дома, осененного тенью человека, отдавшего Северу свою жизнь, в снег и морось города и мысленно видел осиянные полярным светом, луной, северным сиянием мерцающие купола нетающих ледников арктических островов — жемчужин планеты Земля.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

НЕНАРУШЕННАЯ БЕЛАЯ ТИШИНА

Мылыгрок сидел на низком стульчике у столика-верстака и говорил:

— Даже совсем маленькая обыкновенная бомба сотрет с лица земли наш Иналик и десятки других эскимосских селений, разбросанных по берегам Берингова пролива. Это безумие — держать атомное оружие в Арктике и размахивать им над головами бедных северян... И поэтому, когда мы обсуждали устав Корпорации Берингова пролива, куда входит и наша община Иналика, мы настаивали на включении пункта о том, чтобы Арктику объявить безъядерной зоной мира...

Если взглянуть на карту северного полушария, а еще лучше — на хороший глобус, то видишь, что внушительный на других обычных картах Ледовитый океан, в сущности, совсем невелик и циркумполярный населенный пояс не так уж и широк.

И другое: через полярную шапку расстояние между материками и главнейшими центрами Европы, Азии и Америки оказывается куда меньшим, чем через просторы Тихого или Атлантического океанов.

Все эти соображения, разумеется, не ускользнули от внимания людей, планирующих авиационные маршруты. Почти все американцы сегодня летают в Японию через Аляску, и Анкоридж, узловой пункт авиатрассы, заполнен японцами — служащими авиакомпаний, аэродромными техниками, отдыхающими пилотами и хорошенькими стюардессами.

Но еще большее внимание привлекают арктические районы стратегов, военных специалистов, мыслящих категориями дальностей полетов ракет, бомбардировщиков, возможностями расположения аэродромов... Эти люди рассматривают Арктику прежде всего как поле сражения в гипотетической войне, и в первую очередь как плацдарм для нападения на нашу страну. Органы массовой информации Соединенных Штатов Америки не скрывают того, что речь идет о размещении военных баз на арктических островах, об использовании арктического пространства как наиболее выгодного при прокладывании трасс и маршрутов доставки ядерного оружия к цели — городам и промышленным центрам европейской части СССР.

И это планируется в том районе, в котором люди давно отказались от войн.

Многочисленные сказания и легенды сохранили повествования о героях, защитниках родной земли от чужеземных захватчиков.

В прошлом бывало и так, что какие-то междоусобные споры между чукчами и эскимосами приходилось решать силой оружия. Воинственные настроения сохранились в укромных уголках памяти людей, и даже еще в годы моего детства они порой давали себя знать взаимными упреками и словесными уколами... Но до оружия дело уже не доходило.

— Мы помним места сражений, — рассказывал мне Атык в последние годы своей жизни, — но не делаем из них святыни... Здесь, где ценность каждого человека отчетливо видна и осязаема как нигде в другом месте, потому что здесь каждый человек на счету в силу малочисленности населения, жизнь — величайшая драгоценность. Мы искренне скорбим об уходящих сквозь облака, каким бы прекрасным ни рисовали потусторонний мир, и подчи-

няемся необходимости смерти, когда она неизбежна... Но если в силах человеческих сохранить жизнь, надо стремиться всячески к этому. Это долг и перед жизнью самой, и перед человечеством.

Мы сидели с Атыком на возвышенном месте, за световым маяком, откуда перед нами как на ладони лежал Берингов пролив с двумя островами — Имаклик и Иналик. Приближалась осенняя пора, и нескончаемые птичьи стаи летели над водной гладью, направляясь в теплые, южные края. Внизу шумел прибой, и к нему по расщелине, по дну которой весной бежал ручей, змеилась яркая полоска пожелтевшей зелени.

Через долину Вээма — источника питьевой воды для Уэлена — за холмом возвышался другой холм, который назывался Лин-линней — Гора Сердце. Место успокоения, уэленское кладбище с торчащими из тундровой земли столбиками, увенчанными жестяными звездочками.

— По своей значимости и загадочности смерть равна рождению, — продолжал размышлять вслух Атык...

Сейчас, задним числом можно предположить, что старик чувствовал приближение своего жизненного конца и мысль об этом часто приходила ему в голову...

— Смерть — естественное окончание жизненного пути, достойное его завершение. Но война, насильственная смерть... это унижает не только жизнь, но и смерть... Смерть стала проклятием, потому что ее превратили в таковую. Даже наказывают лишением жизни... И прошедшая война... Я даже мысленно представить себе не могу — двадцать миллионов убитых в нашей стране. Я попросил внука сосчитать: это полторы тысячи таких народов, как наш — чукотский! Полторы тысячи! Да что же это такое? Значит, если разразится другая война и она коснется вот этих земель, нас попросту не будут брать в расчет и мы с нашей тысячелетней историей, с нашим языком, обычаями, песнями и танцами навсегда сгорим в огне, как одна маленькая щепочка! Ни дыма, ни копоти не останется от нас в памяти оставшихся людей, если вообще таковые будут...

Атык содрогнулся, будто под его теплую кухлянку забрался студеный ветер с северо-запада, который бежит впереди ледовых полей.

Несколько лет назад на русский язык была переведена книга известного французского ученого, исследователя Арктики Жана Маллори «Загадочный Туле». В ней

рассказывалось о жизни эскимосов острова Гренландия, формально принадлежащего Дании, но широко используемого Соединенными Штатами Америки как огромная военная база, нацеленная против Советского Союза, как полигон для испытания военного снаряжения, специально предназначенного для использования в условиях низких температур и ураганной снежной пурги. Ледяные плато Гренландии нередко служили полем для военных маневров, размещения наземных целей для учебных бомбардировок.

В книге описывается, как хрупкая в своем экологическом равновесии природа Арктики разрушается под воздействием грубого вмешательства, превращается в настоящую безжизненную пустыню.

Но самым губительным оказалось воздействие близкого соседства военной базы на местное население. Поначалу, когда велось строительство военной базы в Туле, в поселке, созданном при непосредственном участии и заботами знаменитого полярного путешественника и исследователя истории своего родного народа Кнуда Рассмуссена, местное население привлекалось при выполнении работ, не требующих высокой квалификации. Но даже такая работа оплачивалась довольно высоко, и эскимосы, забросив охоту и рыболовство, переселялись поближе к объектам военного строительства. Деньги в основном тратились на выпивку. Появилась проституция, наркомания, участились случаи насилия. Словом, окрестности Туле, расположенные за оградой военного городка, превратились в типичный для такого рода «спутник» военных баз, с обилием питейных и других увеселительных заведений, с нищетой, грязью и полным упадком нравов.

Участь «загадочного» Туле разделили и другие эскимосские поселения, начиная от Гренландии, Аляски и кончая Северной Канадой.

Как-то мне в руки попала книга одного бойкого американского писателя, специализирующегося на подаче дежурных эротических блюд массовому читателю под разными экзотическими соусами. На этот раз таким соусом была полярная экзотика, полярная ночь, белые медведи, сполохи северного сияния... Действие романа происходит на военной базе, на которой молодого эскимосского парнишку развращают его белые хозяева, супермены с отравленным наркотиками мозгом, с сильно разбавленной алкоголем кровью.

Время от времени на страницы газет и журналов попадают леденящие душу истории о групповых изнасилованиях, совершаемых озверевшим от одиночества, безделья и пьянства персоналом военных баз, разного рода «станций слежения» за мифическими ракетами, якобы нацеленными на важнейшие и крупнейшие города США.

Еще не сделано ни одного выстрела, ни одна бомба не взорвалась над белым безмолвием Арктики, а военное разрушение природы, потери местного населения лишь от присутствия огромных разрушительных сил, созданных человечеством, уже имеют место в северных широтах, в циркумполярном районе Америки.

И во многом именно этим объясняется беспокойство коренного населения Арктики, которое они выражают в разного рода петициях своим правительствам, и то, что в уставах эскимосских корпораций обязательным пунктом стал пункт о разоружении, об объявлении Арктики безъядерной зоной, ареной сотрудничества в сохранении окружающей среды, о рациональном использовании природных богатств, в развитии самобытных культур арктических народов.

На одной из лекций во время моей поездки по Аляске мне пришлось отвечать на многочисленные вопросы о миролюбивой политике нашего Советского государства, о предложениях, выдвигаемых неоднократно, о всеобщем и полном разоружении, о запрещении испытания и применения атомного оружия, о создании подлинного доверия и благожелательности между нашими странами.

Эти простые истины каждый раз вызывали небольшое замешательство в аудитории. Поначалу я не понимал, в чем дело, а потом стал догадываться, что подавляющее большинство американского народа не знает ровным счетом ничего о мирных предложениях Советского Союза. Наоборот, среди американского народа вот уже многие годы стараниями мощнейшей индустрии массовой информации — радио, телевидения, множества газет и журналов — создается образ нашей страны как страны, стремящейся к мировому господству, к захвату новых территорий. Измышления подобного рода печатаются даже в порнографических изданиях типа «Плейбой»!

В мою задачу не входило обсуждать уровень страте-

гических вооружений нашей страны по сравнению с США. Но уже одно упоминание огромного количества военных баз, расположенных по всему миру, и их явный наступательный характер заставляли многих задумываться.

...В бухте Лаврентия посадочная площадка рядом с поселковой столовой. Поэтому большинство пассажиров предпочитают проводить тягучее время ожидания своего самолета за чашкой чая, долгим обедом, часто, когда нет летной погоды, переходящим в ужин.

Здесь я встретил Нутетеина. Он радостно кинулся ко мне, обнял и тихо сказал:

— Помоги мне улететь в Уэлен...

Он показал на медаль, прикрепленную прямо к камлейке:

— Получил в Москве за выступление в Кремлевском Дворце съездов... У кассира окошко маленькое, он не видит медали и требует стать в общую очередь. А меня в Уэлене ждут... Жена ждет, друзья ждут.

Пока мы ожидали нашего полета, Нутетеин рассказывал о Москве.

— С годами мне понравилось бывать там, — признался он. — А в первое время, когда сошел на московскую землю, а это было летом пятьдесят седьмого года, мне стало страшно. Я подумал: сумею ли я выдержать эту жару, не потеряюсь ли в огромной толпе куда-то спешащих людей... Скопище каменных домов, шум, гам, нестерпимо удушливый воздух, множество незнакомых запахов... В первую ночь не мог уснуть — болела голова, болели ступни от долгого хождения по каменным городским дорогам, болело все тело от горячих тугих струй гостиничного душа, болели ноздри от незнакомых резких запахов, и душа болела по родине, по простору, по тишине осеннего утра над инчоунским моржовым лежбищем. Оказалось, что эта бессонница от перемены часового пояса. Мне это объяснил Юрий Анко. Он тоже приехал тогда вместе со мной в Москву в составе молодежного ансамбля, из которого потом вырос «Эргырон». Юрий Анко только начинал публиковать свои первые стихи. Тогда в Москве проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов за мир. Я руководил ансамблем молодых чукчей и эскимосов, которые привезли на московский фестиваль никогда не виданные и не слыханные

разными людьми мира песни и танцы. Мы немножко беспокоились: а поймут ли нас, понравятся ли песни и танцы, рожденные на берегу студеного Берингова пролива? Наши беспокойства и страхи были напрасны: нас поняли и, бывало, нам даже подпевали. Иногда с Юрием Анко мы прямо после выступлений шли пешком через всю Москву к себе в гостиницу у Сельскохозяйственной выставки. На концерт мы ехали на автобусе, обливаясь потом: ведь наша одежда для холода. Ты можешь себе представить, как мы выглядели, возвращаясь в нерпичьих штанах через многочисленные улицы и площади! Мы мертвыми валились на кровати, и у нас не было даже сил выпить чаю.

Тогда, в Москве, я впервые почувствовал и понял, что то, что я любил и делал всю жизнь для своих земляков и соплеменников, является близким и понятным и для других людей. То смутное, о чем мы все догадывались, и Атык, и Мылыгрок, — единение людей в движении, которое диктуется музыкой, — рождает не только понимание красоты и соразмерности, но и братство между людьми, мир и согласие. Я тогда много думал. Оказавшись среди молодежи, у которой были свои заботы и развлечения, я часто оставался один и размышлял. В чем причина того, что люди, в громадном большинстве своем хорошие, разумные, понимающие друг друга, не могут договориться о простых вещах — о жизни в мире? В чем дело? Может быть, все дело в том, что эти истины слишком просты и наглядны? Приходишь к такой мысли и начинаешь думать о человеке плохо. А этого мне не хотелось никогда... Раньше, потому что я жил в Наукане, который наполовину сроднился с уэленскими чукчами... Ты знаешь, что в тебе течет эскимосская кровь? — неожиданно спросил меня Нутетеин.

Я кивнул.

— Тогда я старался отогнать дурную мысль о человеке потому, что был среди дружелюбно настроенной молодежи, в красочном шумном празднике, который нелегко было мне выдержать. В тогдашних беседах было много разговоров о мире. О том, чтобы не было войны. И я рассказывал всем, с кем доводилось беседовать, о твоем двоюродном брате Лайвоке, который погиб на войне...

Я помнил Лайвока.

Впервые я увидел его в Наукане, куда мы ездили с ба-

бушкой навестить родичей. Я управлял собачьей упряжкой, пока мы медленно тащились под скалами, направляясь на мыс Пээк. Стоял ясный день, и за торосами синели острова Имаклик и Иналик, а за ними, в синем воздухе, висел уже материковый мыс Принца Уэльского.

Бабушка рассказывала сказки и легенды Берингова пролива, повествовала о деяниях великих женщин и слабых мужчин, крохотных людей и великанов, обитавших на этих берегах, называла мне исчезнувшие стоянки и стойбища...

— А вот эти берега щедро политы кровью чукчей и эскимосов, которые бились на мечах, кололи друг друга копьями. Когда солнце садится и низкие лучи пронзают снеговой покров насквозь, ты можешь увидеть проступающую сквозь снег красноту древней крови...

— Отчего ссорились люди? — спросил я бабушку.

— Из-за всяких пустяков, из-за глупостей, — ответила она. — Ибо ни одна даже кажущаяся самой веской причина не оправдывает кровопролития...

Это была точка зрения бабушки Гивэвнэут, отличавшейся независимостью и необычностью своих суждений.

Красивый и застенчивый юноша Лайвок, мой двоюродный брат, ехал вместе с нами. Даже не ехал, а бежал по другую сторону нарты, я — справа, он — со стороны моря. Бабушка сидела на нарте и расспрашивала Лайвока о его жизни. Лайвок кончил курсы радистов и направлялся в Уэлен, на нашу полярную станцию.

Там он сменил обыкновенную кухлянку, нерпичьи штаны и торбаса, малахай, отороченный росомахой, на форменную тужурку работника полярной станции, украшенную на рукавах золотыми нашивками, надел на голову черную шапку с гербом, поселился в комнате, освещенной электрическим светом, и стал спать на кровати, застеленной девственно белой простыней.

Лайвок часто приходил к моей тетке с работы, принося с собой незнакомые запахи другой жизни, другую уверенность и удивительные новости о войне, услышанные по радио. Он рассказывал о зверствах немецких оккупантов, о повешенных партизанах, сожженных городах и селах, и все-таки война была далеко от нас, за десять с лишним тысяч километров...

Но вот наши учителя стали появляться на уроках с заплаканными лицами, в черном трауре: в далеком заледенелом Ленинграде от голода умирали их близкие и

родственники. И маленькое сердце застывало в бессильном ужасе: не доехать отсюда на собаках до Ленинграда, не довезти только что убитую нерпу, мясо белого медведя...

Уходили на войну работники полярной станции, учителя.

И однажды мы проводили Лайвока.

Он садился в самолет и улыбался нам. Прежде чем завертелся пропеллер и отбросил нас, ребятишек, струей тугого воздуха, Лайвок снял форменную шапку с гербом и помахал нам.

Мы долго следили за улетающим самолетом, пока он делал круг над Уэленом, над утонувшими в снегу черными кругами яранг, над мысом Пээк. Он исчез за мысом, в стороне Наукана, я тогда подумал, что летчик решил на прощание показать Лайвоку его родное селение с невообразимой высоты.

С тех пор я больше не видел Лайвока. Не видели его ни моя тетя, ни его сестры, ни мать, ни отец. Он исчез в том огненном дыму войны, которая гремела вдали от Чукотки, вовлекая в число жертв и далеких людей.

Нутетеин не зря вспомнил о нем, потому что так уж получилось, что другие молодые люди Чукотки, отдавшие жизнь за родину в годы Великой Отечественной войны, известны, их имена увековечены в названиях художественных мастерских, улиц, начертаны на музейных стендах, а вот имя Лайвока забыто... Но в памяти народа он живет.

...Наш вертолет вышел прямо на мыс Дежнева, показавшийся в круглом иллюминаторе черной со снежной проседью громадой. За крепким припаем, намертво «припаявшимся» к материковому берегу, отчетливо виднелась граница дрейфующего льда. Острова в проливе медленно проплыли слева от нас, и большой остров Имаклик как бы прикрывал собой меньший — Иналик.

Нутетеин не отрывался от иллюминатора, глаза его были прикованы к лику родной земли, которую он никогда не видел с этой высоты и с этой точки зрения. Он впитывал в себя еще и еще раз эту неповторимую красоту, которая заключала в себе не только этот ослепительный вид, полный воздуха, простора, сияния и умиротворения, но и мысли о прошлом и будущем этой земли, величие и красоту человека, который избрал эти места

местом своей жизни, украсил их своим живым присутствием. Быть может, его воспоминания о молодежном фестивале перемежались с мыслями о смертельной угрозе, нависшей и над этими берегами. Воздух Арктики слишком чист, чтобы на нем не были заметны следы реактивных самолетов... Кто знает, может быть, на некоторых из них, затаившаяся под толщей металла как спящий зверь, дремлет всесокрушающая огненная смерть, которая в одно мгновение растопит льды, превратит в пепел камни и заставит вскипеть и испариться вечную мерзлоту.

— Мы должны что-то сделать, — возвращаясь к этому разговору, задумчиво произнес Нутетеин.

Мы сидели в его домике на уэленской галечной косе, погребенной под зимним снегом, и рассматривали фотографии, привезенные Нутетеином из его последней поездки в Москву.

— На этот раз я ехал в Москву как в знакомое стойбище и ожидал увидеть многих знакомых. Помню, в пятьдесят седьмом дорога наша в Москву заняла несколько дней, а в этот раз — всего несколько часов. Я уверенно сошел на московскую землю и поселился в гостинице, уже не удивляясь и не тревожась о разных вещах... Не это главное. Я ходил по каменным улицам Москвы и читал приятный моему сердцу лозунг «Миру — мир!».

Беспокойство людей Севера, жителей Арктики о мире и безопасности этих районов земли еще раз свидетельствует о том, что здесь живут люди, отнюдь не оторванные от беспокойств и нужд всего человечества, не равнодушные к обстановке в мире, которая часто определяется погодой в Беринговом проливе.

— Посмотрите на карту, — Мылыгрок раскрыл передо мной потрепанный атлас мира. — Глядите: вот Советский Союз, вот Соединенные Штаты Америки. Где у нас проходит граница? Где мы соседствуем друг с другом? Только в одном-единственном месте. И тут нам с тобой не надо смотреть на карты.

Мылыгрок встал и подвел меня к окну. Сквозь редкие разрывы летящего снега в пурге мелькал Имаклик, советский остров Большой Диомид, или остров Ратманова.

— От моего дома до советского берега, до вашей земли, четыре километра и сто метров, а до государственной границы, которая проходит чуть дальше посадочной по-

лосы на льду пролива; всего два километра и пятьдесят метров, если уж быть совершенно точными, — продолжал Дуайт Мылыгрок. — Это единственное место на земном шаре, где наши страны соприкасаются, смотрят друг на друга. Насколько я понимаю, у нас нет взаимных территориальных претензий, хотя остров Ратманова намного больше нашего Иналика. Соперничество в других частях мира? Взаимное недоверие и подозрительность? Но разве не мудрые государственные деятели стоят во главе наших стран? Простой человек никогда не поверит, что нельзя столковаться человеку с человеком. Если мы собираемся общаться с инопланетянами и мечтаем с ними жить в мире, то почему мы не можем договориться здесь, на своей родной планете? Вот этого я никак не могу понять!

Мылыгрок разволновался, отошел от окна и хватанул из большого алюминиевого бака горсть чистого снега.

— Мир сошел с ума! Накопить чудовищное оружие, способное несколько раз уничтожить человечество, — разве это не безумие? Ты знаешь, у нас на острове нет телевидения и кино. Привозят записи старых развлекательных передач, и это все. Но в Номе и в других городах Аляски я насмотрелся военных кинофильмов. И все — о нападении русских. Вот-вот они придут, вот-вот они нагрянут со своими атомными бомбами, подводными лодками, ракетами! И люди верят этой чепухе и с опаской посматривают на меня, когда я говорю, что не только знаю русских, советских людей, но и всю жизнь живу рядышком с ними, всего лишь в двух милях... Знаешь, для американца две мили — не расстояние, и некоторые мои собеседники даже думают, что я приехал из России. Начинаю объяснять им, где я живу, как ездил в Уэлен, Наукан до начала холодной войны, а раньше встречался с русскими летчиками во время второй мировой войны, когда они перегоняли самолеты через Арктику и делали остановку в Номе... У иных еще больше подозрений: ездил в Советскую Россию, общался с военными летчиками да еще живет с русскими по соседству... У меня есть такая мечта. Она родилась недавно. Было это так. Мы охотились на моржа севернее оконечности Чукотского полуострова, в нейтральных водах. Увлеклись погоней за зверем и ушли далеко. И еще одна причина была: в тот год морж появился только поздней осенью... На-

полнили мы байдару мясом, жиром, клыками и вдруг обнаружили, что горючего у нас не хватит, чтобы добраться до дому... Мотор у нас чихнул последний раз, когда мы были на траверзе Уэлена. Пришлось взяться за весла. Большое было искушение — взять и повернуть байдару в Уэлен и попросить взаймы горючего..,

Мылыгрок вдруг оборвал свой рассказ и пытливо посмотрел на меня:

— А как ты думаешь — дали бы горючего?

— Заправили и еще про запас бы налили канистру, — уверенно ответил я, помня о щедрости своих земляков. — Хотя не уверен, что отпустили бы сразу...

— Я понимаю, — кивнул Мылыгрок, — все-таки это было бы нарушением государственной границы.

— Не поэтому, — сказал я. — А оттого, что давно вас не видели... А что касается нарушения границы — для человеческого сочувствия и помощи нет государственных границ.

— Ну, тогда я не был уверен, — с сомнением и с оттенком сожаления в голосе сказал Мылыгрок. — Поэтому я и сказал своим товарищам: будем грести до самого Иналика. Семнадцать часов продолжалось наше плавание домой. Времени для размышлений было достаточно. И, глядя на близкие, но недоступные берега Уэлена, Наукана, я мечтал. Мечтал о том, чтобы эти два берега и пространство между ними, что зовется древним словом Ирвытгыр, и другим — Берингов пролив, стали символом хороших отношений между нашими двумя великими странами. Вот пишут в научных журналах, будто климат Арктики сильно влияет на климат южных районов земного шара. Как было бы хорошо, если бы климат в Беринговом проливе, который всегда был мирным и спокойным благодаря мудрости наших предков, каким-то образом влиял и на общий климат между нашими странами... Я смотрел на птичьи стаи, которым так легко и просто жить здесь, в нашем краю: они могут по своему птичьему разумению выбрать место гнездовья, вырастить новое потомство и отправиться в дальний путь, на место зимовки. Я вспоминал наши летние поездки в Наукан и Уэлен. Как мы готовились к ним загодя, еще в темные зимние дни, соревнуясь с воем ураганной пурги, мы разучивали новые песни и танцы в тесных ярангах. Я вспоминал Атыка и Нутетеина, моих братьев, моих друзей, которых я не видел уже более тридцати лет. И много-

много раз за время этого долгого плавания на веслах у меня было искушение повернуть румпель и причалить к галечному берегу Уэлена, ступить на берег юности.

В начале семьдесят восьмого года на Аляске, на острове Святого Лаврентия, на Иналике, в Коцебу, в Фэрбенксе и Анкоридже часто предметом нашего разговора был мир, мир, который нужен и эскимосам и чукчам, может быть, более, чем остальным, ибо даже малая война в Беринговом проливе грозит полным уничтожением нашим народам...

Могу с уверенностью сказать, что подавляющее большинство жителей Аляски, с которыми мне довелось встречаться, ее эскимосов и представителей других народностей — алеутов, индейцев, белых; людей редких и «нередких» профессий — охотников на морского зверя, китобоев, резчиков по моржовой кости, торговцев, рабочих, официантов, портье в гостиницах, летчиков и шоферов, простых учителей, пенсионеров, барменов и сенаторов, — все они в той или иной мере говорили о желании иметь хорошие отношения с Советским Союзом.

— Тогда мы могли бы организовать туристские рейсы для представителей местного населения, для всех желающих посетить соседнюю Чукотку, — сказала владелица местной авиакомпании «Манц-эрлайнз», вручая мне символический билет на будущий первый полет по маршруту: Ном — Малый Диомид — Уэлен — Малый Диомид и Ном.

Об этом же мы беседовали с сенатором Тедом Стивенсом, который приезжал с кратким визитом в Ном для встречи со своими избирателями. Маститый государственный деятель в окружении простых людей старался быть неофициальным. Он подходил к детям, бедно одетым старикам эскимосам и участливо расспрашивал их о житье-бытье. Многих сенатор знал по именам, окликал, обнимался, хлопал их по спине, плечам... Как бы то ни было, это создавало атмосферу доверия и некоей раскованности.

— Штат Аляска, — сказал сенатор Тед Стивенс, — это ближайшая к вашей стране земля, и именно по этой причине жителям Аляски, как никому другому в Америке, нужны хорошие, прочные, добрососедские отношения. Тем более что в этом районе, на стыке двух великих материков, никогда не было вооруженных конфликтов между нашими странами, да и напряженность если и суще-

ствовала здесь, то она диктовалась напряженностью совсем в других областях, нежели в области прямых отношений между Аляской и Чукоткой.

Примерно то же самое мне сказал на обеде другой сенатор от Аляски (каждый штат США имеет в сенате двух представителей), мистер Майк Гровелл. Обед был устроен в сенаторской столовой в здании Капитолия в Вашингтоне. Из конторы сенатора в сопровождении его помощницы Хайди Бачер и нашего посла в США Анатолия Добрынина мы спустились в сенаторском лифте в подземный этаж, откуда проложен специальный тоннель с небольшими вагончиками наподобие тех, на которых возят экскурсантов на Выставке достижений народного хозяйства в Москве. В обеденный час ресторан высшего законодательного учреждения Соединенных Штатов переполнен отнюдь не сенаторами, хотя их тут довольно много. Еще раньше мне кто-то советовал: если доведется когда-нибудь побывать в ресторане сената США, попробовать знаменитый бобовый суп. Суп как суп, в меру вкусный, но ничего особенного... Зато разговор опять же зашел о том, что наши страны граничат в примечательном районе земли и хорошо было бы, чтобы эта граница, как это уже повелось исстари, никогда не пересекалась с оружием в руках.

На этом обеде я старался поменьше говорить, лишь изредка отвечая на вопросы нашего посла и сенатора.

Я слушал. Слушал и дивился тому, как все это просто на словах и как неимоверно трудно на самом деле в сложной современной политической обстановке.

Я вспоминал разговоры с Мылыгроком на Иналике, его удивление, когда я сказал, что у нас издан специальный закон, карающий за пропаганду войны и насилия над другими народами, и то, что первым декретом Советского государства, подписанным Лениным, был Декрет о мире.

Я путешествовал по Америке в тот год, когда на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций обсуждался вопрос о всеобщем и полном разоружении, когда наша страна предложила конкретные мероприятия по разоружению, которые можно было бы претворить в жизнь лишь при одном условии: при наличии доброй воли и искреннего стремления к предотвращению ядерной катастрофы, угроза которой вот уже три десятилетия висит над миром...

Как известно, словно бы в насмешку над всемирной озабоченностью угрозой ядерной войны, безудержной гонкой вооружений, отнимающей силы и средства, которые можно было бы использовать на улучшение жизни миллионов голодных и обездоленных, на превращение пустынь в цветущие сады, строительство школ и больниц, домов, — в то же время, когда проходили заседания Организации Объединенных Наций, в Вашингтоне заседали натовские генералы и обсуждали проблемы создания новых видов разрушительного оружия, средств доставки бомб и ядерных боеголовок...

Однажды в мою ленинградскую квартиру почтальон принес объемистый пакет со штемпелем ООН. Он был послан из Нью-Йорка Терезой Робинс, эскимосской общественной деятельницей, которая принимала участие в добровольной, неправительственной поддержке сессии Организации Объединенных Наций по разоружению.

В пакет была вложена статья Терезы, где она убедительно и горячо говорила о необходимости объявления района Арктики безъядерной зоной и предлагала заинтересованным государствам обсудить вопрос о демилитаризации этого района земного шара. В самом деле, зоной мира и сотрудничества многих государств земного шара уже является Антарктика, земля, по-видимому никогда не имевшая населения, а вот Арктика, население которой из года в год растет, лишена такого статута, хотя нуждается в этом не меньше южной сестры.

Я жил в бухте Провидения в одном доме с Ухсимой. Так зовут эскимоску, которая хорошо известна на Чукотке. Сейчас она на пенсии, но ее большое сердце полно тревог и забот о судьбах и близких ей людей, и тех, кто населяет даже далекие от арктического побережья Берингова пролива места.

— В детстве я часто слышала хвастливые легенды о походах наших предков на тот берег Берингова пролива, о войнах и победных сражениях. Я хорошо помню, что даже тогда, когда не было никакого движения за мир и закона о запрещении пропаганды войны, мои родители говорили: не надо тебе слушать этого, это плохие рассказы... Они заботились, чтобы наши души не отравились пусть полузабытыми, но жестокими картинами...

Ухсима Ивановна, как ее запросто зовут в бухте Провидения, в окрестных эскимосских и чукотских селениях — в Ново-Чаплине, Янракынноте, Сирениках, Энмеле-

не, Уэлене, — одна из тех, кто лично участвовал в строительстве новой жизни на советском берегу Берингова пролива.

— Я была совсем еще девочкой, когда мы услышали о революции, о новой жизни... Поначалу было страшновато и непонятно: то ли мы будем жить совсем как тангитаны, то ли все поголовно станем владельцами байдар и вельботов. Постепенно мы узнавали, что новая жизнь — это жизнь по справедливому закону: кто работает, тот и имеет право на добычу. Это нравилось нашим эскимосам и чукчам, ибо в этом правиле был отголосок древних охотничьих обычаев. В те годы к нам зачастили наши родичи с островов Берингова пролива и даже из Нома. Я скажу открыто: тогда мы гордились тем, что мы идем вперед, идем в будущее. И мы далеко бы ушли, если бы не война с фашистами.

На Иналике Мылыгрок показал мне томик в темно-синем твердом переплете. Это был список погибших в войнах жителей Аляски начиная со времени второй мировой войны. Там были и имена жителей Нома, острова Святого Лаврентия, Барроу, Уэльса и других поселений Аляски.

— Вот видишь, — Мылыгрок показал мне последние страницы. — Вроде бы большой войны не было, а погляди...

Да, на полях бесславных сражений в Корее и во Вьетнаме погибло эскимосов больше, чем за всю прошедшую историю со времен окончания межплеменных стычек. И аккуратный их список с приличествующими случаю словами — слабое утешение для тех, кто лишился сыновей, отцов...

— На этом список должен быть закончен, — сказал Мылыгрок.

...Я улетел с Иналика в жестокую пургу. На лед пролива чудом опустился маленький одномоторный самолетик «Сьюард пенинсила эйр-сервис». Его пришлось придерживать за крылья, пока я торопливо протискивался в кабину и устраивался на месте второго пилота.

Мы оторвались ото льда, и ветром нас понесло на громаду острова Ратманова. Я зажмурил глаза.

Открыв их через некоторое время, я не увидел в иллюминаторе ничего, кроме летящего снега, временами залепляющего стекла кабины.

— Страшно? — пилот положил мне руку на плечо.

Я молча кивнул.

Самолет швыряло из стороны в сторону, словно он был подвешен на гигантской веревке между небом и землей.

— Ничего, — сказал мне в утешение пилот. — Бывало и пострашнее: я семь лет летал над Вьетнамом...

Он сказал это спокойно и даже как-то деловито, просто в подтверждение своего умения.

Я с изумлением посмотрел на него.

— А что тут такого? — пожал плечами летчик. — Я был военным и подчинялся приказам.

— Дело в том, — сказал я, — что мне довелось побывать во Вьетнаме дважды: в семидесятом и совсем недавно, в конце прошлого года.

— В семидесятом? В каком месяце? — деловито спросил летчик.

— В ноябре. Я ехал на юг по дороге номер один...

— В это время я несколько раз вылетал бомбить именно эту дорогу, — летчик посмотрел на меня. — А ведь вполне могло случиться так, что я... Да-а... А теперь везу вас. Ну и мир!

Летчик покачал головой.

А когда мы приземлились в Номе в сплошном снегопаде, увидев лишь за несколько секунд до касания посадочную полосу, и подрулили к ангару, летчик, пожимая мне руку на прощание, решительно сказал:

— К черту все войны! Чтобы их никогда не было на нашей земле!

Он сказал эти слова более энергично, и этим словам есть точные и не менее выразительные эквиваленты на русском языке, но смысл один: мир!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ПОИСКИ ПРЕДКОВ

1

Праща была сделана из сыромятной моржовой кожи. Ложе, в которое укладывался круглый галечный голыш, умято до мягкости оленьей кожи, выделанной для бего-

вых штанов. Две длинные струны, тонко и ровно вырезанные из нерпичьей кожи, оканчивались одна листком из мягкой беленой нерпичьей же кожи, а другая — кожаным кольцом. Выстрел из хорошей пращи звуком своим напоминал звук огнестрельного оружия, и ударная сила камешка была такова, что ею можно было убить средней величины тюленя. Умение стрелять из пращи достигалось упорной и длительной тренировкой на берегу пустынного моря, чтобы кого-нибудь ненароком не задеть. Праща была коварной, и случалось иной раз так, что камень попадал в того, кто его запустил.

При южном ветре в мелководной уэленской лагуне вода вскипала рыжеватыми от пены мелкими волнами, зато утихал прибой на море и стаи морских куличков усаживались вдоль низкой прибойной черты, становясь прекрасными мишенями для стрельбы из пращи.

Белые вельботы, подпертые палками, чтобы не валились набок, отдыхали от недавней весенней охоты. Льда не было до самого горизонта, о белизне снега напоминали лишь оставшиеся под скалами нетающие снежницы, в которых хранилось добытое моржовое мясо и доходили кожи, предназначенные на байдару.

Иногда в Уэлене было так тепло, что люди снимали летние кухлянки и разгуливали по улице в рубашках.

Гудел ветер в проводах антенн, крылья ветродвигателя со свистом рассекали воздух, устрашая прохожего. Высоко в небе таял шар метеорологического зонда.

Иногда я подходил ближе к воде и в ее прозрачности рассматривал разных мелких медуз, воображая себя жителем подводного царства, глядящим на мир как бы снизу вверх. Морским обитателям мы с дядей Кмолем приносили жертвы, одаривая их мелким крошевом из сушеного моржового мяса, прошлогоднего желтого оленьего сала, табачных крошек, добытых из папирос «Пушка».

Ду́хи морского царства вместе со мной любовались из зеленой холодной глубины проплывающими над ними цветными куполами медуз. Они просвечивали, показывая зыбкую границу воды и воздуха, за которой синело далекое и высокое небо.

Я вспоминал о том, что рассказывалось взрослыми о морских обитателях в долгие зимние вечера при угасающем жирнике, когда борешься с наваливающейся дремотой, чтобы дослушать до конца рассказы о подвигах великанов, о путешествующих в далеких морях, пересе-

кающих океаны и посещающих другие земли, в которых жили неведомые странные существа — огромные клыкастые сухопутные моржи, передвигающиеся на толстенных ногах, гигантские черви, ползающие в непроходимых зарослях травы, которая вырастает выше человеческого роста, о родине Китов, расположенной в краю огнедышащих гор, внутри которых клокочет варево великанов, веками готовящихся к своему последнему пиру.

Начинала обычно тетя Рытлыргин, происходившая из эскимосского села Наукан. За долгую жизнь, прожитую в чукотском селении, она так и не научилась чисто говорить по-чукотски, но почему-то акцент придавал ее рассказам дополнительный интерес. Продолжала повествование бабушка Гивэвнэут. Это были не те сказки, которые рассказываются, чтобы утешить плачущее дитя, занять внимание, отвлечь его путешествием в иной мир. То, что повествовалось в сумерках зимнего вечера и часто под вой бушующей пурги, предназначалось для взрослых.

Уши детей широко открыты для всего, о чем говорится вокруг, и особенно для того, что якобы не нужно слышать и знать.

Под покровом темноты происходили ожесточенные тайные стычки в застывающем пологе нашей яранги.

— Что вы кичитесь своим чукотским происхождением! — громким шепотом огрызалась тетя Рытлыргин. — Поглядите на себя как следует — все вы эскимосы! Все до одного! Все уэленские семьи в родстве с науканскими!

— Ну что из того? — возражала бабушка. — Еще надо посмотреть, эскимосы ли живут в твоем Наукане. Носят-то они чукотские имена! Как и ты!

Имя Рытлыргин по-чукотски значило «сучок».

— Имя еще ничего не значит, — ловко отбивала удар тетя. — Вот нынче дают же в школе русские имена, а никто не становится от этого русским. Даже если и отчество прибавляют. Вон Рыпэль взял себе имя Василия Корнеевича, а как был чукчей, так им и остался!

— В языке, который вы называете эскимосским, полно чукотских слов, — продолжала стоять на своем бабушка. — Ынкам, чама, ыннатал. . .

— И все равно вы ничего не понимаете! — торжествовала тетя. — А песни, танцы? Слушаешь уэленских и даже янранайских — так это же наши песни!

— Ну уж и ваши! — со смешком заметила бабуш-

ка. — А вот оленей у вас нет! — добавила бабушка Гивэвнэут.

— Оленей нет! — со вздохом соглашалась тетя уже сонным голосом (она вставала в яранге раньше всех, и задолго до того, как просыпались остальные, жирник уже горел ярким пламенем и нагревал остывший за ночь полог. Над огнем висел чайник, и из холодной части яранги — чоттагина доносились глухие удары: тетя толкла на завтрак нерпичью печенку с тюленьим жиром).

— Оленей нет, — повторяла она с громким зевком. — Зато морские боги, которым вы приносите жертвы, — все до одного наши, эскимосского происхождения.

В эти длинные зимние вечера я услышал не только о явном соперничестве между нашими народами, но и почувствовал, что за этим стоит что-то серьезное, отголоски каких-то отдаленных междоусобиц, донесшихся до моего времени эхом ночных споров.

Это родило у меня любопытство к своим предкам, к народам-братьям, сроднившимся в туманной дали прошлого перед лицом арктической пустыни. Слишком явно было преимущество совместных согласованных действий перед разобщенностью, чтобы не воспользоваться этим.

Сознание необходимости соединять усилия пришло вместе с началом охоты на морского великана — кита.

Быть может, именно в это время был изобретен поворотный гарпун, сыгравший такую же роль в дальнейшем развитии арктической культуры, как паровая машина в промышленной революции в Европе. Охотничья терминология, применяемая в морской охоте у чукчей и эскимосов, одинакова.

Узкое горло Берингова пролива невольно сталкивало народы на одной охотничьей тропе, и, видимо, далеко не сразу родилось особое братство в этом районе земли.

Очевидно, в первое время имели место совсем не мирные столкновения из-за охотничьих угодий, и в особенности моржовых лежбищ. Еще совсем недавно (о чем свидетельствуют названия мысов, поселений, гор, озер и рек, простирающихся почти до мыса Шмидта по побережью Ледовитого океана и до Камчатки по побережью Тихого океана) народ эскимосов занимал гораздо большую территорию, чем сегодня, и численность его на азиатском берегу была весьма значительной.

. . .Две байдары, покрытые полупрозрачной моржовой кожей и сшитые тонкими сыромятными ремнями лахтака,

уже два дня и две ночи преследовали тяжелораненого кита. У охотников уже не оставалось гарпунов и воздушных поплавков-пузырей, которые помогали следить за ускользающей добычей. Силы охотников были на исходе от долгой гребли. К тому же ветер стих и надежды на его появление не было. Кит уходил в пелену надвигающегося тумана, и это означало, что добычи не будет. Вместе с раненым китом уйдут навсегда воздушные поплавки, с таким трудом сработанные наконечники из драгоценного металла, купленного у далеких южных племен за баснословные цены.

И вдруг из-за кромки тумана показались еще две байдары. Они были не так велики, как байдары эскимосов. Это были чукчи, которых морские охотники эскимосского племени остерегались встречать на пустынных морских путях. Сначала все четыре байдары двигались параллельным курсом. Чукотские охотники тут же сообразили, что отобрать добычу у эскимосов, как они иногда делали, они смогут безо всякого труда, но вот привести кита к берегу силой гребцов двух байдар будет невозможно. Для этого нужно усилие хотя бы четырех байдар.

Эскимосы тоже смекнули это, и нашелся человек, который знал чукотский язык.

И вот в Беринговом проливе начались первые переговоры.

Выгода от соединения усилий людей двух байдар была так очевидна, что охотники быстро столковались: кит был убит и отбуксирован к берегу.

Пока байдары медленно двигались к земле и весла мерно окунались в воду и поднимали гирлянды брызг навстречу поднимающемуся солнцу, в сердцах людей росло какое-то ранее не изведанное чувство, которому еще не было названия. Какой-то возвышенный подъем от сознания совершенного, от соединения сил. Люди смотрели друг на друга глазами доброты, просветленные простым открытием, может быть, величайшей истины жизни: объединение усилий даже разных по языку народов сулит добычу во много раз большую, нежели грабеж.

Это поднимало дух, согревало кровь, остывшую во время долгого пребывания на студеной поверхности океана, в липком холодном тумане, в котором даже дышать было трудно...

Прояснилось все вокруг, и краски неба, приближающейся земли стали ярче, насыщеннее, да и те люди,

которые сидели в чужих байдарах и о которых чаще говорилось как о коварных, кровожадных, хитрых, злобных, способных обидеть старого и малого, отобрать у него добычу, а то и захватить и сделать рабом, вдруг оказались самыми обыкновенными, даже не лишенными привлекательных черт.

Кита притащили на берег, к чукотскому поселению. Вышедшие встречать были крайне удивлены тем, что бывшие враги работали так, словно это были братья.

И сказали люди людям:

— Отныне мы братья, ибо познали великую истину: люди должны быть вместе.

В тот вечер, когда кит был разделан и по справедливости поделен, на берегу был возжжен огромный благодарственный костер и люди принесли жертвы единому богу, предку Киту.

Может быть, все было совсем по-другому, но не это главное. Главное же в том, что в Беринговом проливе ко времени так называемых географических открытий европейцев в этих районах, начала колонизации северовостока царским правительством, сложились дружественные и добрые отношения. Свидетельством то обстоятельство, что путешественники, не знавшие местных языков, долгое время объединяли в одно племя береговых чукчей — охотников на морского зверя — и эскимосов. А жизнь шла своим чередом, и межплеменное взаимопроникновение продолжалось из года в год.

Опорой таких дружественных отношений стала семья: многие мужчины из чукотских селений брали себе жен в эскимосских поселениях, распространяя экспедиции по поиску невест до коренного американского материка, благо Берингов пролив сам по себе неширок. Для мореходов, привычных преодолевать ледовые поля, открытая вода не была большим препятствием.

В моем родном Уэлене почти каждая семья имела своих родичей в эскимосских семьях. Дядя Кмоль был женат на эскимоске из Наукана, знаменитый косторез Гэмауге взял себе в жены уроженку острова Имаклик, мои родичи по материнской линии, как я уже говорил, простирали свои родственные связи далеко за Иналик через Атыка, Памья...

Женщины приносили свои песни и напевали их своим детям, в тоске вспоминая покинутое эскимосское селение,

своих родичей. Мужчины хмуро прислушивались к этому пению, слыша в нем тревожащие душу ноты, вспоминая о древних обидах. Растревоженное сердце и совесть внимали невысказанным чувствам, и затем в песнях о мужестве и отваге вдруг проскальзывала нежность чувства, отзвук затаенных радостей, о которых не принято говорить вслух, но чье присутствие ощущается всеми, кто слышит настоящую песню.

Ранними утрами, когда воздух в стылом пологе еще холоден и пламя жирника только начинало разгораться, под мерный стук каменного молотка в каменной же ступке, в которой тетя толкла мороженое нерпичье мясо, она напевала негромко, как бы про себя. Слова были эскимосские, многие из которых были мне непонятны, но эта непонятность придавала еще большую загадочность и тайную прелесть пению.

Отголоски этих мелодий я услышал много лет спустя.

Я летел в Ном, город, известный всему миру знаменитой золотой лихорадкой.

Многие мои земляки старшего поколения, которым довелось посетить неофициальную столицу Аляски, приезжали более логичным и удобным путем, пересекая Берингов пролив. Мне же, чтобы добраться до Нома, пришлось совершить почти кругосветное путешествие. Сначала мне надо было пролететь всю нашу огромную страну от Анадыря до Москвы. Из Москвы самолет Аэрофлота за меньшее время, чем мне пришлось затратить на полет из Анадыря до Москвы, доставил меня в Нью-Йорк.

Нью-Йорк конца января семьдесят восьмого года более походил на Магадан после очередной пурги, чем на Город Желтого Дьявола: он весь был занесен снегом — обрушился небывалый снегопад, который частично парализовал жизнь города. Включив рано утром телевизор, я услышал предостережения водителям машин и объявление о том, что занятия в школах отменяются.

Пробившись сквозь снежные завалы, я добрался до аэропорта Нью-Йорка, откуда мне предстоял путь на Аляску. Лететь пришлось почти весь день, и вот тогда я понял по-настоящему, как огромна и велика эта страна, которая на карте вроде бы и не такая большая.

Уже поздно вечером, измотанный непрестанными посадками и взлетами, я вышел в аэропорту Фэрбенкса. Однако Фэрбенкс еще не столица Аляски, точно так же

не являются столицами штата ни Ном, ни Анкоридж — самый большой город северо-запада Америки. Честь быть официальным центром и резиденцией губернатора штата принадлежит небольшому живописному городку Джуно.

Фэрбенкс еще не напоминал мне Чукотку. Эта часть Аляски скорее похожа на Южную Сибирь на границе распространения вечной мерзлоты.

Короткий день подходил к концу, и яркая алая полоска вечерней зари долго светилась на том берегу, откуда я прибыл сюда, обогнув земной шар. Холмистая местность полуострова Сьюард, на котором расположен Ном, уже напомнила мне окрестности Анадыря.

В первый же вечер хозяйка дома, где я остановился, эскимосская учительница Дженни Алова, похожая на своих сестер в Уэлене, Ново-Чаплине, Сирениках мягкими манерами, способностью создавать вокруг себя атмосферу доброжелательности и особого, ненавязчивого северного гостеприимства, вдруг предложила:

— Хотите послушать песни жителей острова Кинг-Айленд? Сегодня они дают представление туристской группе, прибывшей сюда с Низа... Аляскинцы южные штаты для простоты называют — Низ.

Мы промчались по слабо освещенному вечернему Ному и приехали в отель, где десятка полтора возбужденных встречей с экзотикой лялюрамкынов толпились в ожидании диких песен и танцев. На небольшой сцене невозмутимые эскимосы готовили бубны, смачивали их туго натянутые поверхности, пробовали звучание тонкими гибкими палочками из китового уса. Я вглядывался в лица — они ничем не отличались от таких же лиц в Сирениках, в Уэлене или Нунямо, и лишь озабоченное выражение как-то не вязалось с будущим весельем.

Потом мне стало понятно: эскимосы с Кинг-Айленда работали. Работали на туристскую компанию, в программу которой входило увеселение заплативших за арктический тур жителей южных штатов.

И все же, когда перед рядом поющих на пол легли перчатки — приглашение к танцу — и зазвучали знакомые с детства мелодии, среди которых были и те, что я слышал студеными утрами от поющей тети, колотившей каменным молотком по затвердевшему нерпичьему мясу, из глубин моей памяти поднялись полузабытые воспоминания, что-то волнующее, трогательное и щемящее. Это была память и об оставленной в прошлом жизни, в кото-

рую уже больше не возвращаются, и о сладком пробуждении от прикосновения горячего солнечного луча, о трепетном ожидании чуда и открытия мира.

И вместе со всем этим — высокое благодарное чувство общности с этими людьми, ощущение великих корней, которые уходили в туманные дали изначальной жизни, во времена, где остались лишь легенды и сказания о потрясениях в Ирвытгыре, о Ките Рэу, о тэрыкы-оборотнях, о Великой Прародительнице Нау... И тогдашние люди, в которых еще только зарождались черты, присущие современным людям, пели эти же песни, та же мелодия изливалась из напряженных, вибрирующих глоток и разносилась вокруг, уносясь с ветром в море, поднимаясь на вершины гор и скатываясь оттуда на зеленые тундровые равнины.

Движения рук, мерное притоптывание, деление танца на быструю и медленную части — все это удивительно чисто было сохранено в этом небольшом ансамбле.

Старая женщина с изможденным благородным лицом рассказала собравшимся о смысле танцев, показала несколько простейших движений, а потом тут же на сцене началась распродажа сувениров...

Я вышел на улицу.

Было по-зимнему тепло и тихо. Откуда-то доносилось пьяное пение, иногда прерываемое незамысловатыми ругательствами, больше обращенными к самому себе, чем к кому-то другому.

Было грустно и странно. Древняя песня вместе с древним танцем оказались проданными тут же, не сходя с места, за деньги. Песня не разлилась вольно и широко по окрестностям Нома, по заснеженному, закованному в лед заливу Нортон, она осталась в тесном зальце, на пыльной сцене и продавалась...

И все же это была песня о жизни, о человеческой стойкости, о братстве людей, объединенных трудностями и нашедших общий язык.

Потом я улетал на остров Святого Лаврентия на маленьком, казавшемся игрушечным самолетике. Он скользнул на лыжах по летному полю Нома и поднялся легко на могучей спине встречного ветра и закачался, как байдара на океанской волне.

Позади оставалась Америка, а впереди уже синели берега бухты Провидения, освещенные недолгим, невысо-

ким, но ярким февральским солнцем. И как-то невероятно было подумать о том, что ведь еще минут двадцать — и можно было приземлиться между сопок на хорошо знакомой полосе, увидеть друзей, обнять их, сесть в машину и через десять минут оказаться в своей квартире на набережной Дежнева, в доме тридцать девять... А потом на следующий день сесть на вездеход, и отправиться через Красивое Ущелье в Ново-Чаплино, и услышать эти же песни и танцы...

Грейс Силвука, эскимосская писательница из Гамбелла, глядя мне прямо в глаза, расспрашивала меня:

— Это правда, что там танцуют эти же самые танцы и поют песни? Да, я слышала о том, что лет тридцать назад наши ездили туда и ваши приплывали к нам на байдарах... Тридцать лет, а кажется так далеко, так далеко в прошлом.

Она смотрела на меня так, как, видимо, будут смотреть на инопланетянина, если вдруг он окажется похожим на землянина.

— Как странно устроен мир, — сказала Грейс в задумчивости. — Американцы и русские встречаются в космосе, преодолев земное притяжение, космический холод и тысячу других трудноодолимых препятствий, а мы, люди Берингова пролива, не можем пересечь эти сорок пять миль... Сорок пять миль, а такое ощущение, будто между нами безмерные пространства.

Танец, который исполнила Силвука, танцевала под пение Атыка моя мать Туар в молодости.

Потом с литератором Роджером Агилуком мы оставили позади дома Гамбелла и спустились к морю, где у припайных торосов на высоких подставках возлежали отдыхающие от летней страды кожаные байдары и вельботы. Береговой пейзаж чукотских и эскимосских сел содержит непременно вот такие хозяйственные постройки, одинаковые на всем побережье Ирвытгыра. Под стойками ветер менял свой тон, и его голос был уже иной, приглушенный, словно голос одомашненного зверя.

Мы говорили о поисках общих предков, об общности культуры Ирвытгыра, которая простирается далеко к северо-востоку от мыса Принца Уэльского, или Кыгмина, до мыса Барроу и идет дальше за залив Прудхо, побережье которого утыкано нефтяными вышками.

— Из арктических глубин нашей земли лялюрамкыны качают нефть, — мрачно сказал Агилук. — Сок земли.

Мне порой кажется, что это из меня, из сосудов моих родичей качают живую горячую кровь и мы слабеем от года к году, становимся покорными любым приказам, поддаемся любому уговору. Нас уже легко споить, накачать каким-нибудь наркотиком, а потом заставить подписать любую бумагу. Вот так мы подписали себе смертный приговор, согласившись с Земельным актом семьдесят первого года. Вы помните: права на исконные земли имеют лишь эскимосы, родившиеся до этого срока. А что будет делать наше будущее поколение? Гадать тут нечего: оно будет лишено исконных земель на самом законном основании... А наша кровь течет вниз, в южные штаты, по гигантскому нефтепроводу, истощая нас... Сначала они выкопали все золото, а теперь качают сок земли...

Здесь, на берегу Ирвытгыра, обращенного в сторону бухты Провидения, было тихо и лишь изредка с припая доносился выстрел одиночного охотника.

Из-за торосов показались двое парней. Они тащили одну убитую нерпу. Ноша, прямо скажем, необременительная и для одного охотника.

Что-то в облике этих парней меня насторожило: уж очень тщедушными показались они мне, несмотря на внушительное полярное одеяние — отороченную мехом парку, солидную крепкую обувь на толстой подошве.

Агилук заметил мой взгляд и сказал:

— Это гавайцы...

— Как гавайцы? — удивился я.

— Так... У нас ведь люди живут долго в одном и том же месте. Мы не можем ездить к своим соплеменникам на другой, на ваш берег Ирвытгыра. Здесь, в Гамбелле и в Сивунге, мы давно породнились между собой, и девушкам приходится искать мужей даже на Гавайских островах... Ничего ребята, и похожи на эскимосов, — с оттенком снисхождения продолжал Агилук, — только слабоваты для нашей трудной охоты... Да и мерзнут...

Гавайцы вежливо поздоровались с нами и потащили нерпу дальше.

Мы побрели следом, разговаривая о проблемах близко родственных семей, о здоровье будущих поколений.

— Когда наши люди решили закрыть дорогу алкоголю на остров — это была прежде всего забота о будущих детях. Замечать стали — появляются умственно отсталые, с физическими недостатками, да и многое другое... Лялюрамкыны смеялись и держали пари — сколь-

ко времени мы продержимся. Вот уже три года — и наш остров не пьет. Как люди воспряли! Будто протерли глаза после долгого сна и наконец увидели мир таким, какой он есть на самом деле. Не рай, конечно, но это наша жизнь, и надо прожить ее с достоинством...

Гавайцы подтащили нерпу к домику. На крыльце появилась молодая женщина в туго облегающих джинсах, в яркой кофточке, с ковшиком в руке. По старому ирвытгырскому обряду, она облила морду нерпы водой, а потом медленно, торжественно подала ковшик охотнику. Тот с достоинством принял сосуд, отпил воду и остаток выплеснул в сторону моря, туда, откуда он принес добычу...

Роджер Агилук с едва заметной улыбкой наблюдал за мной.

— Вы знаете этот обычай? — спросил он меня.

Я кивнул и сказал:

— Я знаю этот обряд с самого детства, и он сохранился у нас даже в современных селениях, где не осталось и следов старых яранг... Я пытался выяснить значение и смысл обряда, спрашивал у своих, но в ответ получал лишь туманные, маловразумительные объяснения вроде того, что нерпа, пока ее волокут по льду, начинает испытывать такую же жажду, как и утомленный долгим переходом с тяжелой добычей охотник.

— С годами мне кажется, что чем больше тайны в каком-нибудь действии, тем оно прекраснее... Как искусство... Искусство, как любовь, потому и прекрасно, что и в том, и в другом есть тайна.

С трудом, но все же образ жизни морского охотника меняется, приспосабливаясь к сегодняшней жизни, и современный эскимос — это не пришелец из неолита, в удивлении взирающий на разного рода чудеса техники, с разинутым ртом застывший перед синим оком телевизора, а человек конца двадцатого века. Наоборот, в силу, может быть, особого географического положения человек Берингова пролива остро ощущает причастность своей судьбы к судьбе человечества. Он довольно легко перенимает многие технические новшества, способные облегчить ему жизнь, облегчить тяжесть охотничьего промысла.

Я помню, в детстве, когда Уэлен еще представлял собой поселение, состоящее из яранг, за исключением двух-трех деревянных зданий, среди моржовых и оленьих шкур находилось множество вещей, пришедших из другого ми-

ра, часто уже не выполняющих своего назначения, вроде многочисленных часов-будильников, граммофонов. Но это были вещи, которыми дорожили, которые берегли и которым отводили место рядом с самыми могущественными идолами. Так относились к огнестрельному оружию (впрочем, орудия охотничьего промысла вообще находились под особым присмотром, и обращение с ними было полно глубокого затаенного смысла), к биноклям и, в последнее время, к барометрам, предсказания которых часто соперничали по точности с шаманскими предсказаниями погоды.

С помощью новых материалов — досок, рубероида, стекла — чукчи и эскимосы пытались модернизировать старые яранги: прорубали окна, вместо моржовой кожи настилали линолеум и даже поверх мездры оленьих шкур, составляющих спальный полог, наклеивали бумажные обои. Но под этой поверхностью с размеренностью постоянного морского течения шла своя издревле устоявшаяся жизнь, которая диктовалась особенностями промысла морского зверя: китов, моржей и тюленей.

В слегка модернизированных ярангах совершались те же древние обряды, что и тысячелетия назад: быть может, отличие заключалось лишь в том, что жертвенное мясо резалось не каменным ножом, а стальным.

Даже обращение эскимосов Аляски и островов Ирвытгыра в разные формы христианства не коснулось философии, основанной на опыте тысячелетий. Христианская мораль удобно пригонялась к взаимоотношениям между белым человеком и эскимосами. Тут она была нужна и даже в какой-то мере помогала. А что касается отношений человека и природы, которая олицетворялась в десятках богов, духов и едва уловимых человеческими чувствами сил, для этого была создана и веками существовала старая вера с полузабытыми, но непререкаемыми обрядами, такими, какие, к примеру, совершали молодые гавайские ребята, попавшие путями любви на остров Святого Лаврентия, из тропиков в Арктику.

Роджеру Агилуку немногим больше сорока лет. Дом его так же беден, как дома большинства жителей острова, и он, похоже, еще не подвержен притягательной и закабаляющей силе современного комфорта. Быть может, он даже питает к нему своего рода презрение, как к заразному явлению, изнеживающему человека, которому силы нужны для охотничьего промысла.

Худощавое лицо Агилука напряжено, и он, разговаривая, часто смотрит в окно, не выпуская из поля зрения торосистую поверхность океана.

Это не проявление невежливости или пренебрежения к собеседнику, а привычное состояние приморского человека, у которого взор всегда должен быть обращен на море: вдруг на гладкой поверхности блеснет китовый фонтан? Охотник всегда начеку, настороже. Это касается и Агилука, который, конечно, главным образом, живет трудом морского охотника, а отнюдь не литератора. Да и облик его ничем не отличается от облика его земляков, китобоев и охотников на моржа. На стенах его дома развешаны ружья, гарпуны, мотки сыромятного лахтачьего ремня, бинокли, и лишь в комнате, в углу, стоит в чехле старенькая пишущая машинка.

— Не знаю, как у других писателей, — задумчиво говорит Агилук, — у меня на душе тревога. Не только в связи с тем, что большая промышленность двинулась к нам в виде нефтепровода, огромных танкеров и атомных ледоколов... Иногда мне кажется, что нам осталось жить совсем недолго. И даже то, что за последние годы рождаемость среди эскимосов поднялась, даже это не утешает... У меня такое чувство, что скоро все это кончится. Знаете, как бывает у умирающего: перед самой кончиной ему становится лучше, и всем кажется, что он начал поправляться... И я ищу в том, что люди сохранили в памяти своей, в легендах и сказаниях, в образе жизни, новые силы, доказательства жизнестойкости нашего народа. Ищу предков не только во времени, но и в пространстве, в братстве между всеми арктическими племенами. У нас есть братство, которое даровал создатель, каким бы словом он ни назывался. И мы должны быть вместе, чувствовать локоть друг друга. Я перечитал множество книг, написанных разными лялюрамкынами, и решил, что надо писать самому...

На уэленской полярной станции однажды мне в руки попала книжка шведского мореплавателя Эрика Норденшельда. Книжка чем-то напоминала пушкинский томик и показалась мне сначала сборником стихотворений.

Это было новое открытие удивительной северной земли, погребенной большую часть года под тяжелыми снегами, дремлющей под долгими осенними дождями и ярко и бурно просыпающейся в короткое прохладное лето. Это

было равносильно тому, что я заглянул на привычный лик луны с обратной стороны и эта обратная сторона была наша же жизнь.

Норденшельд встречался с моими земляками, жившими около столетия назад. И что удивительно: в главном они были такими же, какими были сейчас.

С тех пор я начал искать книги, описывающие Север, рисующие жизнь моих сородичей. К сожалению, их оказалось не так уж много: дневники путешественников, которые были заняты более описаниями трудностей, которые они преодолевали, и мимолетные встречи с местными жителями описывались неглубоко и вскользь.

К сожалению, чем больше я вчитывался в эти описания «встреч с дикарями», тем больше обнаруживал в них за внешними проявлениями понимания, восхищения выносливостью, непритязательностью, наивностью в торговых и прочих делах этакое снисходительное отношение, которое в лучшем случае можно было сравнить с отношением к несмышленым детям. Часто описывался примитивизм во всех областях «дикой жизни». Особенно это касалось языка и искусства. Причем о языке судили люди, не знающие языка, рассуждали об искусстве, не понимая его значения в жизни этих людей.

Даже у Богораза-Тана, наиболее серьезного и умного исследователя жизни народов, населяющих берега Берингова пролива, иногда можно прочитать об ограниченной способности мышления северян.

Уже в студенческие годы я получил доступ к книгам, написанным и на английском языке. Здесь положение было еще хуже. Наиболее здраво и без предвзятости судили о чукчах и эскимосах Берингова пролива, как ни странно, торговцы и промышленники. Возможно, это объяснялось тем, что они вели чисто деловые разговоры, без стремления проникнуть в глубины философии и мировоззрения северян.

Лишь советским писателям — здесь я имею в виду совершенно определенные имена: Тихона Семушкина и Николая Шундика, да, к сожалению, не так широко известного Наума Пугачева — удалось проникнуть достаточно глубоко в психологию оленного человека и охотника на морского зверя. Эти люди, пришедшие на студеные берега, были совершенно не похожи на прежних лялюрамкынов, чьи намерения были ясны и определенны — побольше взять и поменьше дать, да еще при этом делались

попытки навязать чуждые жителям Арктики воззрения на мир и даже навязать непонятных и странных богов.

Люди, пришедшие вслед за вестью о революции, впервые в истории взаимоотношений между местными жителями и белым человеком заявили, что они пришли сюда прежде всего, чтобы дать людям новую жизнь, достойную настоящих людей.

Само название и чукчей и эскимосов значит «люди в истинном значении этого слова» или же просто — «настоящие люди». Вполне понятно, что этим людям хотелось жить согласно своему представлению о человеческом достоинстве.

Большевики принялись учить грамоте — стали делать то, чего трудно было ожидать: передавать самое сокровенное, что отличало коренным образом белого господина от местного жителя.

И Тихон Семушкин, и Николай Шундик, и Наум Пугачев описывали моего родича в момент его пробуждения, раскрытия неисчерпаемых человеческих возможностей. Возможно, этим и объясняется некая приподнятость героев книг русских советских писателей о Чукотке: люди описывались и впрямь в пору необычайного духовного подъема, высокого начала социальной активности.

К сожалению, Роджер Агилук не знает этих книг: книга Тихона Семушкина издавалась на английском языке давно. . .

— Теперь мы сами ведем поиск своих корней и предков, — продолжал Роджер. — Я слышал об эскимосском поэте Юрии Анко по радио.

«Радио Анадырь». . . Никогда не думал, что скромная редакция, расположенная на первом этаже, в тесной комнате, окажется такой популярной в Америке. Во многих эскимосских домах я видел коллекции записей, сделанных по передачам анадырского национального радио, ведущего передачи на эскимосском и чукотском языках.

Я, естественно, заинтересовался причиной популярности наших передач с Чукотки. Объяснение мне дала Линда Бадтен, старая учительница, ныне живущая в Фэрбенксе.

— Да это очень просто. . . Если слушаете радио Нома или какое-нибудь другое, вещающее для местных жителей Аляски, то большую часть занимает религиозная передача — молитвы, песнопения, проповеди. Затем идут ан-

тиалкогольные передачи. А что касается новостей, то они главным образом нерадостные — кого-то убили, побили, искалечили... Случился пожар, и погибли беспомощные старики и малые дети... Изнасиловали, предварительно напоив, молоденькую девушку... Замерзли путники на снегоходе — кончилось горючее...

— А что же привлекает вашего слушателя в передачах нашего радио? — спросил я.

— Как что? Ну прежде всего песни и танцы. Не забывайте, что это и наши песни и танцы. Многих ваших исполнителей мы знаем даже по именам. Так что можете передать приветы и пожелания успехов Тагъёку и его товарищам по ансамблю «Эргырон». Очень популярны литературные передачи. Стихи Юрия Анко, Зои Ненлюмкиной, Таисии Гухугье... И передачи о жизни людей. О том, как они охотятся, пасут оленей, строят дома, путешествуют. Вот это настоящая жизнь!

Я подробно рассказал Роджеру Агилуку об Анко, которого я хорошо знал, о его яркой, но короткой жизни.

— Нам всю жизнь со всех сторон внушают: вы малый народ, и, стало быть, ваши притязания, ваша амбиция должны соответствовать вашей численности, — продолжал Агилук. — Для этого даже привлекается наука. Наши эскимосские языки изучаются не с точки зрения их общности, а всячески подчеркивается различие диалектов... Да, это верно: житель острова Иналик с трудом понимает жителя моего острова, материковые эскимосы едва-едва разумеют нашу речь, а алеуты почти не различают знакомых слов в других эскимосских диалектах... И все-таки мы — великий и огромный народ, ибо место нашего обитания простирается на громаднейшие пространства, а время нашей жизни уходит в неразличимые глубины веков... И мы бы хотели, чтобы измерение нашего народа продолжилось и в другую сторону — в сторону будущего... Несколько лет назад вышел специальный номер «Курьера ЮНЕСКО», целиком посвященный арктическим народам, их судьбе — прошлой и настоящей, и в нескольких статьях весьма пессимистически описывалось будущее жителей Севера... Причем заметно было следующее: в тех статьях, которые были написаны самими представителями северян, к сожалению их было очень мало, высказывалась надежда на возможность выживания арктических народов в будущем, а вот в статьях лялюрамкынов такая возможность отрицалась и о нас го-

ворилось в похоронных тонах. А мы должны выжить и показать миру, что мы не пришельцы из прошлого, не живые остатки неолита, достойные только изучения, а живые современники современного мира, имеющие право на человеческое достоинство, на человеческую жизнь, на ресурсы и богатства своих земель. Я бы хотел написать об этом книгу, — сказал в заключение Роджер Агилук, житель острова Святого Лаврентия, писатель и морской охотник.

2

В доме канадского писателя Фарли Моуэта перед камином в гостиной расстелена нерпичья шкура. От нее чуть-чуть пахнет ярангой, костром в чоттагине, кожаной байдарой, утренними сборами на охоту...

— Ты увидишь своих родичей по происхождению, по арктической культуре, по тому величию, что отличает человека, по-настоящему, а не на время своего короткого пребывания, покорившего Север, — напутствовал меня Фарли Моуэт, автор книг «Люди оленьего края», «Отчаявшийся народ», посвященных судьбе эскимосов канадского Севера. — Ты убедишься в том, что они ведут такую же жизнь, как и вы в далеком прошлом, поют такие же песни и поклоняются тем же богам.

В ту поездку, мне, к сожалению, не довелось много и тесно общаться со своими северными земляками.

Я прожил неделю в Йеллоунайфе, в маленьком городке, центре северо-западной территории. На окраине городка несколько семей эскимосов ютилось в продуваемых насквозь тонкостенных деревянных домиках, и оттуда в город, на промысел в помойках, уходили чумазые ребятишки. Из редких встреч со здешними эскимосами, чернорабочими в золотодобывающей шахте, я вынес тяжелое впечатление: люди были вырваны из привычной обстановки и брошены на произвол судьбы. Отныне их жизнь качалась маятником между шахтой и кабаком...

— Мы стараемся поменьше общаться с ними, — сказал мне один из белых чиновников этого круга, — среди них много плохих людей.

— А чем они плохи? — спросил я.

— Они пьют и не работают...

— Как не работают?

— Все, что заработают, тут же пропивают. — Ответ

был непоследователен, но с разъяснением:— Пока не пропьют заработанного, не выходят на работу...

Я с грустью уловил в этих словах отголоски рассуждений о якобы присущей эскимосам и другим северным народам беспечности, необязательности, что, мол, ограничивает их способность к регулярному труду.

Может быть, доля истины в этом и есть: не любит северянин работать от и до... Но это не от нелюбви к труду, а от отношения к труду как к неотъемлемой части жизни, от неприятия странного разделения: по одну сторону работа, то, за что следует вознаграждение в виде денег, пищи, удовольствий, которые и относятся к другой стороне существования человека. Труд его отличается тяжестью, неприятностью по сравнению со светлым праздником ничегонеделания. Вольный сын широких северных просторов регулярный труд логически связывает с несвободой, а это хуже всего. Уж лучше ничего не делать, испытывать нужду, обходиться минимумом, но быть свободным, нежели, пусть временно, закабалять себя ради извлечения больших выгод.

Эти тонкости векового воспитания, исторических напластований на психологию северянина не учитывались людьми, которые пытались привлечь эскимосов к регулярному труду на создаваемых на канадском и аляскинском Севере предприятиях — горных, военных, изыскательских, промысловых. Отсюда и непонимание, разочарование и раздраженные обвинения в лености и нелюбви к труду.

И все-таки эти люди, с которыми я встречался на окраине Йеллоунайфа, были моими далекими соплеменниками, и в их сердцах горел неугасимый огонь, согревший холодное окружение, вдохнувший жизнь в пустыни, на первый взгляд лишенные признаков деятельности человека.

Я входил в эти жалкие жилища, выросшие наподобие злокачественной опухоли вокруг чистенького, продуманно выстроенного городка, где белый человек мог наслаждаться комфортом, теплом и благополучием. В однокомнатных домиках эскимосов, без водопровода, канализации и электричества, часто ютилось до одиннадцати человек взрослых и детей.

Один из жителей Йеллоунайфа, Ангмарлорток, с которым мне довелось познакомиться, рассказывал:

— Родился я на побережье Ледовитого океана, и мои

предки издавна занимались охотой на морского зверя. Мы били в основном тюленей и моржей: к сожалению, киты в наши края не заходят. Да, наши жилища там, на берегу моря, были не лучше этих домиков, но все-таки в них с помощью жировых светильников можно было держать тепло. Наша жизнь не была богата внешними событиями, нам приходилось часто голодать, но мы не теряли своей гордости морских охотников, растили своих детей в уважении и почтении к нашему прошлому. Да, мы знали о другом мире, о мире белого человека, сталкивались с ним и очень хорошо представляли опасности более тесного общения. Сначала невдалеке от нашего селения был построен большой отель для туристов. Поначалу мы радовались: будет кому продавать сувениры, меховую одежду, изделия из мыльного камня, вырезанные нашими мастерами... Первым делом нас стали впускать в бар. Раньше алкоголь был редкостью в нашем селении, а тут хлынул потоком. Многие мои земляки до того пристрастились к этому зелью, что чуть ли не последние штаны обменивали на бутылку. Потом туристы обратили внимание на наших девушек...

Ангмарлорток задумался...

— Вы знаете, у нас нет таких строгих моральных запретов, которые существуют у белого человека в отношениях между парнями и девушками: любят, нравятся друг другу, что тут препятствовать? Это обернулось для многих наших дочерей трагедией: появились признаки дурной болезни... А затем стали рождаться беловолосые, голубоглазые детишки, которых даже стали называть — «турист-бэби»... Ну а дальше было уже невыносимо: построили поблизости военную станцию якобы для отражения ракетной атаки со стороны Советского Союза. Солдаты довершили то, что начали туристы. Появились самые настоящие проститутки, которые не трезвели не то что неделями, а годами. Сами понимаете, при такой жизни их хватало ненадолго. Гордые, высоко державшие голову морские охотники начали попрошайничать. Они теряли навыки умелых следопытов, добытчиков. Иногда в виде подачки к нашему берегу промысловые корабли выбрасывали полуободранные туши китов и моржей. И тогда мы, вместе с ожиревшими чайками, кидались на берег, растаскивая по хижинам даровое угощение. О справедливом дележе не могло быть и речи... Я решил уйти. Сами понимаете, каково эскимосу покидать род-

ную землю, землю, куда в назначенное время приходят духи умерших, наши далекие предки. Прибыли мы сюда, и я нанялся работать в шахту. Она тут очень глубока, и работать в ней опасно. Мой двоюродный брат так и остался навсегда там...

Ангмарлорток показал глазами на землю.

— Обвал. Откопать никакой возможности, да и кто будет этим заниматься? Компания откупилась. Мы на эти деньги пили целый месяц. Кончились поминки тем, что меня выгнали с работы.

Ангмарлортоку было немногим более тридцати лет. Высокий, когда-то крепко сложенный, с прямыми темными волосами, присыпанными пеплом ранней седины, он выглядел осунувшимся, больным, и руки его дрожали, когда он брал стакан с сильно разведенным виски.

— Я долго держался, — сказал он каким-то извиняющимся голосом. — Знал, что алкоголь — это гибель. И все же, как видите, пришел к нему. И многие мои земляки рано или поздно приходят к бутылке. Все же забвение, и воспоминания о прошлом, греза об ушедших навсегда из этой жизни... Да, да, многие уходят: кончают самоубийством. А вот такие, как я, еще сохраняют какую-то надежду и мысль: если мы выжили в условиях таких, в которых не всякий зверь может жить, неужто нам не устоять и в этой жизни, в которой жестокость убийственнее арктической стужи? Вот я встретился с вами, услышал о другой жизни и воспрял духом: нас все-таки много, и по протяженности земли, что мы населяем, мы величайший народ мира.

3

В своих путешествиях по Ирвытгыру во времени и пространстве я чаще всего, естественно, был на своей родине, на Чукотке. За последние годы я пропутешествовал и в далекое, покрытое радужным туманом, сказочное прошлое, в изначальные времена появления нашего народа на этих берегах, написав современные легенды «Когда киты уходят» и «Тырыкы». У нас нет исторических архивов, писанной истории, и даже археологические открытия принадлежат не народу, а разного рода научным институтам и ассоциациям. Мы пишем свою собственную историю, пользуясь теми источниками, которые доступны нам, — устное народное творчество, сказки, леген-

ды, сказания, воспоминания, и это дает нам возможность путешествия во времени, в отдаленное прошлое и в близкие уже нашей жизни годы. О первых годах становления Советской власти на Чукотке мной написаны книги «Конец вечной мерзлоты» и «Белые снега». Путешествия по Ирвытгыру приводили меня и в места, описанные мною в книге «Сон в начале тумана»... Все эти книги — результат путешествий по чукотскому берегу Ирвытгыра, и поэтому пусть читатель не удивляется, встретив на страницах этой книги многих знакомых, уже известных по другим моим книгам-путешествиям.

И все же, несмотря на всеохватность таких жанров, как роман, повесть, мне не удавалось заключить в их рамки многие и многие впечатления и размышления. Настоятельность написания этой книги возникла с особой остротой после поездки на Аляску в начале семьдесят восьмого года. Тогда, по возвращении, я и решил написать ее, точнее говоря, привести в порядок многочисленные записи, разговоры, рассуждения, документы, сведения, полученные как лично, так и прочитанные в книгах.

Мы, люди, осознавшие свое место на земле в результате огромного экономического, социального и политического движения вперед благодаря Великой Октябрьской социалистической революции, нуждаемся в том, чтобы оглянуться и понять многое, ибо культура — это сумма отобранных веками ценностей, груз которых облегчает поступательный шаг народа, вхождение в будущее.

Мы пережили период отрицания, пренебрежения к собственной истории, культуре, языку и образу жизни, видя в них лишь признаки прошлого. В этом сказалось неправильное понимание будущего, и это, возможно, несколько замедлило движение вперед.

Возникновение литературы даже в таких отдаленных местах, как Ново-Чаплино, с одной стороны, и остров Святого Лаврентия, с другой, — это не только попытка заглянуть в прошлое и осмыслить настоящее, это путешествие к самому себе.

Арктика больше не отдаленная окраина земного шара, не далекая романтика, а близкий, доступный каждому рядовому человеку земли край. Долгая географическая и климатическая изоляция, конечно, наложила своеобразную печать не только на образ жизни человека Арктики, человека Ирвытгыра, но и на его восприятие мира, на взаимоотношения между людьми. Житель Бе-

рингова пролива оказался мало подготовленным к такому резкому изменению своего образа жизни. Тому примеров я привел множество в этой книге.

Есть и другие примеры. И эти примеры обнадеживают оптимистов, выбивают аргументы у пессимистов, которых хватает, особенно когда дело касается прогнозов на будущее. К сожалению, при написании этой книги я имел возможность путешествовать только в пространстве, а время позволяло мне заглянуть только в прошлое, где картина глубиной в столетие уже настолько искажена, что приходилось призывать на помощь воображение и здравый смысл.

А будущее оказалось трудно предсказуемым даже на короткие отрезки времени.

4

Все трое отчаянно любили путешествия: и Атык, и Нутетеин, и Мылыгрок.

Но каждый раз, когда кожаная байдара отчаливала от берега, когда самолет отрывался от земли, тут же рождалась печаль. Сначала маленькая, едва заметная, как одинокая сладкая ягода в тундровой осени, она наливалась по мере удаления от родного очага горечью расставания, тоской по покинутым жилищам, голосам и облику близких и родных, по привычному очертанию горизонта, по холмам, далеким горам или безбрежным морским просторам, наконец по каким-то, на первый взгляд привычным, мелочам.

Любознательность и жажда узнавания утолялись, впечатления укладывались в новые рассказы, новые песни, и мысленно я уже пересчитывал оставшиеся дни, и по ночам снилась обратная дорога, нарастающая радостью встречи с близкими, я уже предвкушал удовольствие видеть родные лица и слышать родные голоса.

Я помню возвращения Атыка после его поездок в Кыгмин, на Аляску, на острова Имаклик и Иналик, в Уныин и Анадырь и, наконец, в поселок Лаврентия, на культбазу.

В своей яранге, у потухающего костра, над которым кипел чайник, Атык медленно и размеренно, наслаждаясь не менее самих слушателей, описывал, как он танцевал вместе с Мылыгроком, слушал песни жителей мыса Бароу. Нам, многочисленным своим племянникам, он увле-

ченно повествовал о чудесах, увиденных на первой чукотской культбазе в заливе Лаврентия.

— От берега проложены железные полосы, и по ним бежит железная нарта на колесах, которую толкает пекарь, — рассказывал Атык. — В поселке нет ни одной яранги, если не считать жилища единоличника Пакайка, который до сих пор живет в одинокой яранге на мысу Кытрыткын... В больнице все ходят в белом, будто вышли в снежную тундру выслеживать зверя. Но выслеживают они зверя болезни и разят его маленькими блестящими остро отточенными ножичками. И еще там есть интернат, в котором ребятишки спят на подставках-кроватях...

Я боязливо мечтал о том, чтобы забраться на кровать-подставку и уснуть меж двух белоснежных простыней, но рассказ Атыка уже переходил на окружной центр Анадырь, где у берегов рыба шла так густо, что ее можно было запросто ловить короткими ставными-сетями.

— Собак тамошние жители кормят сушеной рыбой, — замечал Атык, — оттого они тощи и слабосильны против наших, которые питаются настоящим моржовым копальхеном.

О Номе Атык сказал:

— На берегу в палатках живут эскимосы и гости, а там, на косе, — лавочники и множество полицейских...

Я вспомнил Ном, описанный Атыком много лет назад. Быть может, что-то и осталось от того облика, но эскимосы в сегодняшнем Номе составляют большинство, и среди них есть даже торговцы и полисмены...

Мылыгрок рассказал о недавней поездке на мыс Бароу, куда он возил показывать песни и танцы острова Иналик.

— Наш тур был оплачен тамошними богатеями... Да-да! И среди нас начинают расти капиталисты, миллионеры! Они там живут у начала нефтяной реки, и к их рукам кое-что прилипает. Ты представляешь, какие богатства выкачиваются из нашей земли, если позволяют двум-трем эскимосам богатеть! Словом, полетели мы туда из Нома в Анкоридж, из Анкориджа на север. Жили мы у знакомых или в школе. Там есть отель, но наши земляки заломили такие цены за комнату безо всяких удобств, что даже стыдно назвать, — семьдесят пять долларов в сутки! И все-таки было интересно и поучитель-

но! Песни жителей Пойнт-Барроу примерно такие же, как и наши, но ритм несколько другой...

Дуайт Мылыгрок вставил кассету в проигрыватель.

— Слышишь? Та мелодия, по-моему, сочинена Нутетеином... Да, в ней явно слышится песня о Чайке. Вот видишь? Живет песня Нутетеина, пересекает границы и вольно путешествует по нашей земле настоящих людей!

На горе Линлинней, название которой переводится просто — Гора Сердце, и лежит успокоившееся, остановившееся навеки сердце Нутетеина. Сердце, в глубинах которого, по не изведанным еще наукой законам, родилась одна из великих песен-танцев Ирвытгыра — песня-танец Чайки.

Я медленно шел от Уэлена, от его ровных рядов домов к Линлиннею, оставляя позади шум машин, ребячьи голоса возле новой двухэтажной школы, широкие сверкающие окна знаменитой косторезной мастерской, белые вельботы на разноцветной гальке на морской стороне селения.

Возле нового интерната я пересек косу в том месте, неподалеку от ручья, где когда-то стояла яранга Атыка, и остановился.

Сколько раз я подходил к этому ручью в весенний яркий день, когда он просыпался после долгого сна под тяжелыми, плотными, холодными снегами. Он сначала пучил подспудными водами синий лед и потом с грохотом взрывался, кидая в весеннее голубое небо осколки тин-тина. Летом, в жаркие дни, когда ртуть в термометре на полярной станции пересекала отметку пятнадцать градусов выше нуля, ручей истощался, нить потока становилась тоненькой и иногда подолгу надо было ждать, пока в яму наберется достаточно воды... Тогда приходилось идти далеко, на другой берег лагуны, к полноводным тундровым рекам. Но там вода не была так вкусна...

Осенью ручей взбухал от долгих, нудных дождей, вода теряла прозрачность, но по-прежнему была необыкновенно вкусной и как бы отполированной на многочисленных камнях.

Я ходил к ручью до самых последних дней его жизни, пока мой старенький жестяной ковшик не начинал уже попусту скрести по ледяной безводной ямке... Но даже в зимние дни, когда пурга напевала долгие песни над

заснеженным Линлиннеем, над звездочкой, сверкающей на могиле Нутетеина, я чувствовал, что есть пусть тоненький, слабый ток старого уэленского ручья.

Я поднимаюсь выше, обхожу чуть стороной Линлинней, чтобы не тревожить прах ушедших сквозь облака, и оставляю Уэлен внизу, на узкой Галечной косе.

Белая полоска прибоя — как оторочка из белого оленьего волоса, которым украшают праздничную кухлянку.

Позади остается и световой маяк, на котором когда-то работал Тэнмав, первый чукча, зажегший своими руками электрический свет.

Вот уже раздвинулся горизонт и открыл перед моими глазами чуть выпуклую поверхность Ледовитого океана. Сегодня море спокойно, небо чисто и далеко на горизонте видны дрожащие в перспективе силуэты проходящих кораблей. Чуть ближе стелются над волной птичьи стаи, одинокие птицы. Они взлетают откуда-то из-под меня, со скальных своих гнездовий, молодые птицы нового поколения, выросшие за это лето. Они готовятся к путешествию на зимовку. Большую часть года они проведут в других, теплых землях, и со временем у них будет нарастать тоска и желание вернуться на родину. И к весне оно станет неодолимым, превратится в силу, способную перенести их через весь земной шар, через материки и океаны на свою прекрасную родину... Родина-мать. В этом определении весь смысл.

С этой вершины я вижу весь Ирвытгыр как на ладони. Русский Поэт, ходивший вместе с Атыком на китовую охоту и увидевший его последний танец Кита, написал:

...Я слева видел Ледовитый,
А справа — Тихий океан...

Вот здесь они соединяют свои воды, перемешиваются в водоворотах у берегов двух островов — Имаклика и Иналика — и текут дальше.

У каждого человека есть своя вершина мира.

Моя вершина здесь — на берегу Ирвытгыра. И здесь, в точке, откуда видны острова, мыс Принца Уэльского, где начинались мои путешествия во времени и пространстве, в пожухлой траве ранней арктической осени я каждый раз нахожу сладкую ягоду возвращения, вечную радость, которая всегда со мной, где бы я ни был, — радость и гордость иметь свою родину.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕГЕНДЫ БЕРИНГОВА ПРОЛИВА

ИРВЫТГЫР,

*

Юрий Сергеевич Рытхэу

СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕГЕНДЫ

*

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1980, № 67. 336 стр.
План выпуска 1980 г.
Редактор Ф. Г. Кацас. Худож. редактор А. Ф. Третьякова. Техн. редактор Г. В. Белькова. Корректоры Т. С. Харыкина и И. Г. Клейнер. ИБ № 2280. Сдано в набор 2.07.80. Подписано к печати 26.11.80. М 15295. Бумага тип. № 3. Формат 84×108¹/₃₂. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 17,64. Уч.-изд. л. 18,44. Тираж 150 000 экз. Заказ № 1856. Цена в переплете № 5 1 р. 30 к. (120 000 экз.), цена в переплете № 7 1 р. 40 к. (30 000 экз.). Из-во «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000. Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.

1р.30к.


ЮРИЙ РЫТХЭУ